ЛУБЯНКА-ЭКИБАСТУЗ

Лагерные записки



ДИМИТРИЙ ПАНИН

ДИМИТРИЙ ПАНИН

ЛУБЯНКА — ЭКИБАСТУЗ

Лагерные записки



МОСКВА
1991

Художник
Владимир Медведев

Панин Д.

П 16 Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки./Вступительные статьи В. Максимова, И. Паниной; художественное оформление В. Медведева. — М.: Скифы, 1991. — 384 с.

«Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки» — автобиографическая проза христианского философа и ученого Димитрия Михайловича Панина, в которой он повествует о своем заключении в сталинских лагерях, размышляет о гибели Святой Руси, о трагедии русского народа, о противлении личности Злу.

П $\frac{4702010000-027}{91}$ без объявл. ББК 84Р6

ISBN 5—8230—0027—8

ВЫСОКИЙ СТРОЙ ЕГО ДУШИ

В этом человеке все было по Чехову: и лицо, и душа, и одежда. Одного в нем никогда не чувствовалось — лагерного налета. Пройдя, пожалуй, все девять кругов гулаговского ада, он сохранил в себе врожденную интеллигентность, чистоту языка и душевный покой подлинного мыслителя. Этот высокий покой и отличает книгу Димитрия Панина «Лубянка — Экибастуз» от многих книг, написанных до него и после него на подобную тему.

Вместе с автором мы поднимаемся по винтовой спирали лабиринтов ГУЛАГа, с каждым новым витком все более очищаясь от житейской суетности, сиюминутных страстей, словесной шелухи. Более пятнадцати лет длился этот многотрудный путь через следственные изоляторы и пересылки, этапы и лагеря, шарашку и ссыльную тмутаракань, выведя в конце концов автора на вершину собственной судьбы, откуда он оглянулся на пройденное с мудрой незлобивостью и сердечным сопереживанием.

Оглянулся, и душа его «страданиями человечества уязвлена стала». Глазами автора мы вдруг увидели не только великое множество людей со своими, отдельно взятыми и неповторимыми судьбами, но и стоящую за ними огромную страну, распятую на кресте бесчеловечной идеи. И вместе с ним мы приходим к неизбежному выводу, что после всего увиденного и пережитого уже немыслимо остаться равнодушным к ее доле в нашем не столько прекрасном, сколько яростном мире.

Поэтому «Лубянка — Экибастуз» лишь (простите за невольную банальность!) верхушка панинского айсберга. Его литературное и научное наследие гораздо весомей и значительней этой автобиографической книги. Читатели убедятся в этом, когда познакомятся с такими его работами, как «Созидатели и разрушители», «Теория густот. Опыт христианской философии конца XX века», «Держава созидателей», «Механика на квантовом уровне», «Мир-маятник», «Вселенная глазами современного человека», «Как провести революцию в умах в СССР». Одно только перечисление этих названий может свидетельствовать о глубине и универсальности внутреннего мира Димитрия Панина. Уверен, что приобщение к этому удивительному миру поможет многим

и многим читателям найти свое место в судьбоносном противоборстве нашей эпохи между Добром и Злом.

В первоначальном варианте предлагаемая книга называлась «Записки Сологдина», но «Лубянка — Экибастуз» представляется мне намного объемнее и точнее, ибо шарашка «В круге первом» лишь эпизод в почти шестнадцатилетней панинской Голгофе и далеко не вбирает в себя всего ее восхищающего душу содержания. Познакомившись с книгой, читатель сможет сам убедиться в этом.

В заключение снова (я уже делал это) не могу отказать себе в удовольствии процитировать Александра Солженицына из «В круге первом»: «...Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. (...) Сологдин прошел чердынские леса, воркутинские шахты, два следствия — полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в каптерке в ожидании худших времен. Денег он получал в месяц тридцать рублей — на три килограмма сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия».

В этом, на мой взгляд, весь Димитрий Панин — Человек, Мыслитель, Христианин.

Владимир Максимов

ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАНИН

Димитрий Михайлович Панин родился 11 февраля 1911 года в Москве, в семье адвоката. Во время первой мировой войны его отец стал армейским офицером. Предки Панина со стороны отца были стрельцами, мать принадлежала к старинному дворянскому роду. Путь в институт был закрыт Димитрию Панину как «лишенцу» (лишенному прав после 1917 года) из-за его происхождения. По окончании техникума, с семнадцати лет, он работает рабочим на цементном заводе в Подольске. Однако параллельно он учится заочно в Московском институте химического машиностроения (МИХМ), защищает там диплом инженера-механика и заканчивает аспирантуру. В 1940 году, перед защитой диссертации, его арестовали по доносу человека, которого он считал другом, — потому и поверял ему свои мысли в коридоре московской коммунальной квартиры, где жил. Особое Совещание осудило его по статье 58^{10} за разговоры против режима. Когда пятилетний («детский») срок подходил к концу, Панину в лагере добавили еще десять лет, сфабриковав дело об организации вооруженного восстания, а по окончании этого нового срока отправили на вечное поселение в Кустанай. В 1956 году он вернулся в Москву, где и работал до пенсии главным конструктором в одном из научно-исследовательских институтов.

В Вятлаге в 1943 году Панин дал обет Богу, услышавшему его молитву и спасшему его от неминуемой смерти: «Постоять за выполнение Его святой воли» и тем самым помочь рядовым труженикам. Во исполнение своего обета Панин в 1972 году уехал на Запад, чтобы иметь возможность завершить работы, задуманные еще в заключении. Им и посвятил он себя целиком до своей внезапной смерти 18 ноября 1987 года в Париже.

Задолго до перестройки, в 1973 году, на Западе была издана на русском языке брошюра Панина «Как провести революцию в умах в СССР», где он делал ставку на радиостанцию, способную правдиво информировать миллионы «микробратств» в СССР, и на забастовочное движение, могущие сокрушить режим насилия.

На Западе на русском и французском языках вышли и другие работы Панина.

«Теория густот» представляет собой опыт христиан-

ской философии, где автор на основе современной науки доказывает создание вселенной Творцом. Марксистское понимание материи, пространства и времени, сознания, происхождения жизни, противоречащее универсальным законам природы, рассмотрено в работе «Постулаты марксизма и законы природы», примыкающей к «Теории густот». Научному поиску на основе этой теории посвящена работа «Механика на квантовом уровне».

«Мир-маятник» был издан в 1974 году на французском языке, затем в 1977 — на русском. Панин сравнивает развитие человечества с движением огромного маятника, приближающегося к конечной точке своего размаха: При всеобщем изобилии начинается духовная порча. Однако возможно новое мироустройство, в котором при всеобщем изобилии возрастут и духовные возможности. Предлагаемое им Общество Независимых разделено на секторы в зависимости от наклонностей населения. Сектор энергии осуществляет индустриальное производство, развивающееся благодаря свободной конкуренции рынка и воздействию Палаты регулирования. В секторе жизни разрешаются вопросы, связанные с созданием и распределением материальных благ; основной его состав — мелкие предприниматели. В секторе духа формируется душа под воздействием ряда факторов, главный из которых — мировоззрение людей. В основе социально-экономического устройства — созданная Паниным новая политэкономия, опирающаяся на закон сохранения энергии. Отличительная особенность общества — этический контроль, порученный элите людей доброй воли — людям благородного духа. Их основные принципы: благородство души, быть бесстрашным согласно завету Спасителя, свобода через полусвободу (ибо путь к высокой свободе требует самоограничения человека), частная собственность незыблема.

В своей работе «Созидатели и разрушители» (1983) автор рассматривает причины катастрофы в России в 1917 году и духовного оскудения Запада. Люди доброй воли, действуя согласно этическим законам, могут не дать остановиться миру-маятнику. Если благородное начало не одержит победы над стремлением к разрушению, то человечество неизбежно придет к гибели. Только этический контроль способен остановить его погружение в бездну. Большую роль должна играть Совещательная Дума, состоящая из отраслевых дум, «созданных на ос-

нове драгоценного опыта земств, вполне оправдавших себя в российской действительности».

«Достижение сложной цели, — пишет в 1982 году Панин в «Теории густот», — возможно при последовательных приближениях». Неустанно возвращается он к мыслям о новом мироустройстве и в «Державе созидателей», которую успел закончить перед смертью. Этический контроль общества он предлагает поручить службе защиты из рыцарей духа. «Созидатель достигнет прочного правового сознания, когда произойдет слияние сознания правоты его поведения с правами, на которые он заслуженно претендует по закону. Право вне правоты открывает путь разрушителям для достижения их целей», — пишет он в главе «Правота и права человека». Разбирая слабость сегодняшней демократии, он возлагает ответственность на Церковь за воспитание подростков в школе и считает возможным вернуть женщину в семью, повысив заработок ее мужа.

В главе «Как наладить жизнь в новой России» предложены конкретные меры для сегодняшней России, которые заслуживают внимания руководителей перестройки, если они хотят вывести страну из хаоса и анархии, которые ей угрожают.

В опубликованной в СССР в 1990 году брошюре Солженицына «Как нам обустроить Россию?» много мыслей Панина. Солженицын тоже говорит, что всеобщее изобилие не может быть венцом человечества, что необходим этический контроль в обществе и регулирование монополии производства, подчеркивает роль духовного благородства, предлагает Совещательную Думу, Думу от сословий (по отраслям), земства, комиссию экспертов (у Панина — институт экспертов), возврат женщины в семью при должном мужском заработке, преследование уголовно тайных союзов (у Панина — запрет тайных объединений), призывает явить пример бесстрашия по завету Христа, следовать свободе, включающей добровольное самоограничение, считает, что задача высокой трудности может быть достигнута рядом последовательных приближений. Как и Панин, он обеспокоен здоровьем сегодняшней демократии и не всегда обоснованным повторением самого модного лозунга «права человека». Список можно удлинить.

Димитрий Михайлович Панин считал, что сильные идеи должны привлечь к себе людей. С брошюрой Сол-

женицына идеи Панина пришли в сегодняшнюю Россию, светлые идеи Добра смогут победить Зло. И это — главное.

В 1973 году на Западе на русском, а в 1975 — на французском и английском языках были опубликованы лагерные мемуары Панина — «Записки Сологдина». Молниеносно распроданная книга стала раритетом, но не была переиздана. Сегодня она выходит в СССР под названием «Лубянка — Экибастуз», согласно воле автора. В этой книге о победе Добра над Злом нет мстительных чувств. Для Панина-христианина, согласно Евангелию, «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4. 16). «На этом держится мир», — пишет он в своих «Записках», занимающих в силу этого особое место в лагерной литературе. По собственной воле сменил Панин относительно благополучную тюрьму для специалистов (шарашку) на каторжный лагерь в Экибастузе, но не изменил своим принципам. Там, в зените сталинского террора, он был одним из руководителей одной из первых забастовок, за которой последовали другие в других лагерях, сокрушившие империю ГУЛАГа и вынудившие Хрущева освободить более 15 миллионов заключенных. Задуманную вторую книгу своих «Записок» — «От Спасска до Кустаная» — Панин не успел написать. Времени не хватило.

Димитрий Михайлович Панин — мыслитель, ученый, философ — в своей борьбе против произвола и насилия был всегда мужественным рыцарем без страха и упрека. «Он посвятил себя, — писал после его смерти писатель Владимир Максимов, — служению Богу и прекрасной Даме, коей была для него Россия... Его творчество является общенациональным достоянием... После него остались книги... а также многочисленные рукописи. Наш долг — сделать все это достоянием... в первую очередь отечественных читателей».

Поэтому я глубоко признательна издательству «Скифы», публикующему сегодня лагерные записки моего мужа, и уверена, что в скором времени советский читатель сможет прочесть и другие его труды.

Исса Панина

«Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи».

(2 Петр 2 : 22)

ВСТУПЛЕНИЕ

Я решил написать эти «Записки», ибо вижу, что мой долг не только довести до сведения людей результаты своих многолетних размышлений, но и показать условия, способствовавшие их созреванию и становлению. Это имеет смысл, потому что мое поколение попало в гущу развала, ломки традиций, уничтожения сословий и целых классов населения, когда сокрушали Церковь, добивали старые авторитеты, а на их место пытались поставить вновь созданные кумиры...

Ошибки и преступления моего поколения нашли свое отражение и в моей жизни, несмотря на то, что своим воспитанием — хотя бы до 1917 года — я был значительно лучше защищен от них, чем многие мои сверстники, пришедшие в жизнь из дымящихся развалин деревень, нищенского быта городских низов, местечек, железнодорожных полустанков и глухих окраин.

В каждом факте, как в живой клеточке, содержится — и часто это удается разглядеть — что-то яркое, интересное, поучительное или загадочное...

Даже голые факты тех жутких лет производят сильное впечатление и помогают иногда разобраться в обстановке не хуже, чем когда дано их подробное истолкование. Но для меня они, главным образом, отправная точка в стремлении осмыслить эту эпоху и вынести ее на суд современного читателя.

Краски я никогда не сгущаю, но называю вещи своими именами, так как не смею ничего сглаживать, прикрывать, замалчивать.

В этих «Записках» я буду стараться писать только правду. В отношении самого себя я считаю это обязательным и выполнимым, в отношении других сделаю все возможное, чтобы избежать ошибок.

Человеку, пожелавшему изложить перипетии своей жизни, полагая, что этим он сумеет принести пользу людям, придется для их объяснения передавать различ-

ные точки зрения своих собеседников и делиться своими размышлениями. Моим судьей будет читатель.

По приезде в свободный мир новые друзья посоветовали мне отложить издание моей рукописи «Осциллирующий мир», написанной еще в Советском Союзе, и предварить ее этими «Записками» с тем, чтобы:

— изложить современному читателю некоторые страницы пережитого, которые могут представлять общий интерес;

— рассказать об участи рядовых тружеников после катастрофы 1917 года, имевшей последствия не только для России. Я заслужил право считать себя выразителем и защитником интересов этих людей, так как сорок лет отработал по найму и принуждению, испытал все виды советской эксплуатации, подвергался уничтожению в сталинских лагерях, видел, как рядом погибали тысячи. Я обязан поделиться опытом и рациональными решениями, возникавшими в ходе борьбы за жизнь — свою и близких.

Первая книга охватывает тринадцать лет тюрем, лагерей, каторги из шестнадцати проведенных мною в заключении. Во второй книге этих «Записок» я постараюсь рассказать о своей жизни до ареста в 1940 году, о трехлетнем пребывании в ссылке и о периоде после возвращения в Москву в 1956 году.

Иногда мне самому кажется невероятным, что я выдержал выпавший на мою долю жребий. Но мой тяжелый путь был все-таки не из худших. В тюрьмах и на этапах я пробыл три года. Благодаря специальности механика я сумел сократить пребывание на общих работах до шести месяцев. В лесном лагере я не попал на лесоповал, в угледобывающем не спускался в шахты. Меня не заслали ни на строительство дорог, ни в медные рудники, ни на Колыму. И тем не менее, уже не говоря о пережитом, достаточно было одного сталинского пайка в течение тринадцати лет, чтобы загубить здоровье очень крепкого и выносливого человека.

Но следует сразу предупредить, дабы не создалось ошибочного мнения, что лагерь — приволье для инженеров, место диспутов и споров. Огромное число людей с высшим техническим образованием погибло. Лишь совпадение внутренних качеств и везения могли помочь

выдержать: надо было быть двужильным и тянуть воз на ничтожном пайке.

События тридцатилетней давности врезались в сознание и стоят перед глазами, как будто произошли вчера. Но фактор времени благоприятно повлиял на два обстоятельства:

— ничто больше не мешает объективному восприятию, исчезли личные переживания и накал обид. События отстоялись, и я давно спокойно взираю на прошедшее;

— выводы и решения, приводимые в ходе повествования, прошли суровую проверку.

Глава 1
НЕМНОГО ИЗ ПРОШЛОГО

После катастрофы: как добили Святую Русь

В этой главе я останавливаюсь на главных вехах своего развития лишь схематически, так как подробно собираюсь осветить этот период во второй книге этих «Записок»*. Но мне представляется необходимым коротко объяснить читателю, в какой обстановке возможен был мой арест. Как получилось, что двадцатидевятилетний инженер, не вор, не убийца, не аморалист, попал в тюрьму и вернулся в Москву только через шестнадцать лет, да и то потому, что благодаря смерти Сталина отменили его пожизненную ссылку и его самого частично реабилитировали — к счастью, не посмертно — как большинство других зэков.

Мне уже за шестьдесят, здоровье мое надломлено, но я не теряю надежды, если будет на то воля Господня, рассказать подробно об этих годах во второй книге моих записок. А пока мне хочется пройти с читателем по тюрьмам, этапам, лагерям, познакомить его с заключенными, которые встретятся на нашем пути, вместе думать и спорить.

После 1917 года с первой, как ее называют, белой эмиграцией выехала бóльшая часть активной, протестующей и интеллектуальной России. Порабощенная коммунистической диктатурой страна оказалась лишенной людей, способных возглавить освободительную борьбу. Бóльшая часть бывших царских офицеров погибла в гражданскую войну, уехала за границу или была уничтожена чекистами во время расправ. Те из них, кто уцелел благодаря службе в Красной армии, были деморализованы, не обладали нужными волевыми качествами и производили впечатление людей, покорно ожидавших своей очереди. Из других слоев населения «образован-

---

* Вторую книгу автор не успел написать. (*Прим. ред.*)

ные», как их называли в просторечии, были тоже самыми смирными, безропотными и умели только шипеть и хихикать. Именно среди них я провел детство, отрочество, юность. Вначале я жадно слушал разговоры, позже понял, что это поколение банкротов, не имевших идей, идеалов, решимости бороться.

Так называемая «февральская революция» ознаменовалась в моей детской памяти резким нарушением порядка, вежливости, обходительности. Началась эра грубости, ругани, дерзости, хамства, зловещих митингов, грязных неподметенных улиц, налузганных семечек под ногами, застреленных собак, валяющихся на кучах снега, потерявших выправку солдат, шатающихся толпами, напряженных разбойничьих лиц вооруженных молодых людей, исчезновения московских городовых, непрестанного звучания слова «слабода», оправдывающего любую низость...

Это были цветочки, ягодки были впереди. Октябрьская «революция» началась с «октябрьской перестрелки», как ее тогда окрестили москвичи. Только горстка юнкеров сопротивлялась; остальные, переодевшись в штатское, отсиживались и охраняли подъезды своих домов. Среди них был также мой отец — опытный боевой офицер. Я пошел в мать, и, не сговариваясь, в глубине души мы стали иначе к нему относиться. Вслед за этим позором как из рога изобилия посыпались обыски, облавы, аресты, расстрелы; тюрьмы переполнились, началась разруха, голод, холод в нетопленых жилищах, грабежи, эпидемии, смерть людей на улицах, продажа на базарах пирожков из человечьего мяса, превращение храмов в стойла для лошадей, издевательства, бесчестие, бесправие, принудительный труд, произвол преступников, подавление протестов и недовольства руками иностранных наймитов, закабаление населения, погром религии...

Десятилетним мальчиком я видел незабываемые сценки, слышал трагичные сообщения. Как губка, впитывал я разговоры взрослых, происходившие дома, дававшие ответы на мои недоумения и расширявшие мой кругозор. Центр тяжести высказываний лежал в критике коммунистов, которых тогда называли большевиками, и насмешке над их действиями. Суть дела часто оставалась в то время недоступной детскому восприятию, но сохранилось общее впечатление о Ленине, Троцком

как о маньяках, не понимающих жизни, дилетантах во всех вопросах, кроме насилия и угнетения, наглых обманщиках, ненавистниках России, ярых безбожниках...

Моя среда и окружение состояли из московских интеллектуалов, как их следует назвать на теперешнем языке. У нас дома собирались профессора, инженеры, высокообразованные учителя и артистки. Никто из них к революционным партиям отношения не имел, с марксизмом был знаком, в лучшем случае, в самом поверхностном виде, политикой не занимался. Это же общество в свое время ругало царское правительство, смаковало сплетни о Распутине, вздыхало о революции, хвалило левых ораторов в Государственной думе... После катастрофы они сосредоточили огонь красноречия — на сей раз абсолютно обоснованный — на захватчиках власти и их преступлениях. Я до сих пор помню передаваемые подробности о производимых зверствах, радостные сообщения об ожидавшемся бегстве большевиков, об аэроплане, который вывезет их из Кремля, и угрозе Троцкого, обещавшего хлопнуть на прощанье дверью, то есть взорвать Москву. Ждали войск Антанты в Россию, возлагали надежды на Деникина, потом Врангеля и назначали близкие сроки падения режима. Потирая руки, передавали усиленно циркулирующие слухи о сифилисе Ленина, окончившемся прогрессивным параличом и полным безумием. Через несколько лет о многом смешно уже было вспоминать, и, хотя говорился тогда не только вздор, мальчиком именно его я усваивал легче. Однако осколки значительных мыслей осели в сознании, и впоследствии я к ним неоднократно возвращался, обдумывая, постигая их смысл.

Западному читателю трудно себе представить, до какой степени учащаяся молодежь в СССР была в то время оторвана от источников мировой культуры.

В 1972 году, на Западе, я набросился на книги, о которых мы всю жизнь только мечтали, ибо в Москве мне удалось познакомиться лишь с небольшой их толикой, да и то в последние пять лет. В каком сверхпривилегированном положении оказались мои ровесники — белые эмигранты!

— Их духовными наставниками были герои Белой армии, овеянные славой недавних боев.

— У них была возможность знакомиться с произве-

дениями всемирно известных русских писателей и философов.

— Они посещали независимую Церковь.

— Воспитывались в атмосфере великой культуры, имели доступ к сокровищам библиотек, читален, музеев.

— Пользовались благами демократических свобод.

На нашем пути в Советской России были:

— бывшие офицеры, полностью лишенные инициативы, продавшиеся приспособленцы и перерожденцы. Большинство из них стыдилось своей службы в Красной армии и на вопрос, почему не ушли к белым, они отвечали, ссылаясь на мобилизацию, или отмалчивались;

— оставшиеся мыслящие люди, которых не вывели еще в расход сразу после 1917 года. В первые годы после катастрофы удавалось в узком кругу родни или хороших знакомых воспринимать их откровенные, справедливые и верные оценки происходивших событий. Но машина террора была направлена в первую очередь против таких людей. Они замолкали, исчезали; те, кто помоложе, перекрашивались. На жизнь страны их мнения совершенно не влияли;

— грубое искоренение религии. На Церковь были обрушены страшные гонения; в результате власти добились отхода от нее многих людей и стали насаждать безбожие;

— массовое уничтожение неугодной режиму богословской, религиозной, философской литературы. В топках котлов сжигали целые библиотеки, хотя теперь об этом забыли. Даже в столичных городах мы жили, как дикари, в отрыве от русских и от всех современных умственных течений. За хранение книг безобидного философа Владимира Соловьева отправляли в Соловки; зато нас накачивали политграмотой и вредоносным вздором в атмосфере предательства и тотального сыска.

Мои сверстники в Париже разбились на кружки младороссов, евразийцев, солидаристов... кипела борьба идей и разрабатывались пути помощи нашему несчастному народу. В это же время среди образованных людей Москвы царили полная растерянность, покорность навязываемым событиям, отсутствие помыслов к сопротивлению, в лучшем случае — подспудное брюзжание.

А режим не дремал, и на чекистов непрерывно тра-

тился не один миллиард рублей: ковались опасные специалисты своего ремесла.

В 1928 году я окончил техникум и стал работать рабочим в Подольске на цементном заводе. В Москву приезжал только на воскресенье. Год был страшный. В Москве был организованный погром, одновременно ломали сотни церквей. В моем районе, вокруг теперешнего американского посольства в Москве, в то время были следующие церкви: Иоанна Предтечи на углу бывшего Кречетниковского переулка, Казанской Богоматери, Покрова (с необыкновенной архитектурой), Девяти мучеников, Иоанна Предтечи на Пресне, а также старинный храм, кажется, пятнадцатого века, на бывшем Новинском бульваре. Кроме двух предпоследних, все церкви снесли, церковь Мучеников разгромили, церковь Предтечи осталась действующей. В полукилометре от посольства на бывшей Кудринской площади и в одном из особняков на Никитской улице были две домовые церкви. Они были закрыты и перестроены в начале двадцатых годов.

Деформированные русские люди под гнетом диктатуры превратились в непротивленцев. Я не слышал ни об одном открытом групповом протесте в Москве. Лишь однажды я видел своими глазами пожилую женщину на коленях перед разрушаемым собором. Она истово молилась, осеняла его крестными знамениями. Говорили, что это попадья, а попа той церкви давно уже сгноили. У огромного храма в Дорогомилове один паренек не выдержал, кинул кирпич в кого-то из разрушителей. Мальчика тут же схватили, скорей всего расстреляли, и, вероятно, пересажали за этот проступок всю семью. Знаменитую высокочтимую часовню Иверской Божьей Матери у Красной площади даже сами чекисты побоялись ломать днем, и напрасно, — все равно некому было вступиться. В 1931 году снесли Храм Христа Спасителя — памятник Отечественной войны 1812 года. Лишь в деревнях оказывали сопротивление при закрытии церквей.

В 1929 году началась коллективизация в деревне.

Я был городским жителем и своими глазами коллективизации не видел. Но половину рабочих цементного завода составляли сезонники, не порвавшие связи с деревней, и я наслушался их рассказов. Многие возвращались из командировок в сельские местности и привозили новые сообщения и факты, от которых волосы станови-

лись дыбом. Со времен Аттилы и Чингисхана мир не был свидетелем подобного людоедства, зверства, тупой нерассуждающей жестокости в столь колоссальных размерах. После уничтожения так называемых кулаков во время коллективизации было специально организовано истребление голодной смертью жителей ряда областей на Украине, Кубани, Дону... Число погибших превышало шестнадцать миллионов. Цвет крестьянства вывозили из родных деревень, погружали вместо скота в телячьи неотапливаемые вагоны, не разрешали почти ничего с собой брать... В дороге часто не поили и не кормили. Красные составы ревом оглашали станционные пути. «Пить! Пить!» — разносило эхо по округе. В первую очередь гибли дети. Мужчин часто отделяли и сажали в лагерь — тогда их семьи быстро умирали. Некоторым удавалось зацепиться за землю, вырыть землянки, чудом раздобыть пищу, весной обработать делянку. Но появлялись чекисты и увозили дальше на север... Спасались единицы — те, кто бежал или скрывался. В областях, осужденных Сталиным на голодную смерть, творилось что-то адское: целые селения вымирали, матери пожирали детей, дотащившихся до станции пристреливали за саботаж коллективизации.

Мыслящих людей взяли под особое наблюдение и оказывали на них устрашающее воздействие. Решающий погром Церкви и крестьянства чекисты предварили в 1928 году процессом «вредителей-шахтинцев». Параллельно с основной задачей — добивания основ Святой Руси — непрерывно наносились удары по всем слоям образованных людей, и в первую очередь по инженерному сословию, наиболее тогда сильному и сохранившемуся. Преследовали одну цель: запугать мыслящую часть общества и полностью нейтрализовать ее влияние. В искусственно созданной атмосфере население смотрело на инженера и любого образованного человека как на врага и потенциального вредителя. Непрерывный террор сделал свое дело: сами помыслы пойти наперекор диктатуре казались немыслимыми, нереальными, незрелыми.

При таком состоянии умов я считал себя в восемнадцать лет созревшим для вмешательства в происходившие события. Я рвал и метал, спорил, доказывал, убеждал в необходимости перейти к активным действиям и как-то помочь крестьянам и Церкви... Старшие то-

варищи отмахивались от меня как от строптивого мальчишки. Они думали о женитьбе, об окончании университета, о том, чтобы тихонько пережить гонения, и поэтому мои доводы щелкались ими, как семечки. В ушах звучало: «Сопляк, жил с папой и мамой, жизни не знаешь». Мне советовали окунуться в действительность, понять расстановку сил и выражали уверенность, что тогда все бредни сами улетучатся.

Сверстникам мои призывы нравились. Всех нас тогда не принимали в высшие учебные заведения — требовали рабочий стаж; семьи наши были в опасности, до нас тоже добирались... В те годы арестовали моего школьного друга и двух его товарищей. Если бы я не так редко с ними встречался, потому что работал, то меня, скорей всего, забрали бы за компанию. Мне ясно было, что мы представляем хороший материал в руках опытного конспиратора, знающего, что следует делать, и мои усилия были направлены на поиски такого человека. Я спрашивал отца, просил его мне помочь. Он пожимал плечами, но не ругал — видимо, в глубине души моя горячность ему нравилась. К тому времени мать умерла, и я потерял возможность связаться с подпольными религиозными кругами, которые она, вероятно, знала, так как последние годы жизни посвятила Церкви. Все поиски ничем не увенчались: я встречал испуганные лица да увещевания одуматься и не губить своих близких. Весной 1930 года я услышал от товарищей, что на Кубани было восстание. Посоветоваться было не с кем; ехать неведомо куда, не зная в тех местах ни одного человека, было безрассудством. Я попробовал все же взять отпуск на заводе, но настойчивости не проявил, так как к резкому прыжку в неизвестность подготовлен не был. Наконец, в начале сентября я выехал в Новороссийск и в пути познакомился с парнем, лежавшим без билета на третьей багажной полке. Он оказался участником только что разгромленного на Дону восстания казаков. Я узнал, что на Дону и Кубани полным ходом шло выселение всех подозреваемых, нагнали войска, сломили танками и авиацией сопротивление защитников, многих перебили, лишь небольшая часть разбежалась. Я поделился с молодым казаком деньгами, и на этом мы расстались. Вернувшись в Москву, я перестал призывать к немедленным действиям, ибо понял, что людям, лишенным руководства, опыта, знаний, в

тех жутких условиях можно было только готовиться и ждать сигнала, которым должен был явиться толчок извне. Мы часто обсуждали той зимой необходимость освободительной войны Запада с диктатурой, которая, как нам тогда казалось, окончательно уже себя скомпрометировала людоедством. За два года — двадцать девятый и тридцатый — я и мои сверстники повзрослели и здорово поумнели.

Об истинных виновниках, приведших страну к веренице непрерывных трагедий, мы тогда не говорили. Мы склонны были скорей бросать обвинения тем, кто нас оставил без руководства, без идей, без духовной помощи. С мальчишеской прямолинейностью мы возмущались представлявшими жалкое зрелище царскими офицерами, которые перешли в Красную армию. Но главный огонь наших обличений был направлен на Деникина. Мы ошибочно считали, что Белые армии Деникина из Новороссийска эвакуировались в Константинополь, а не в Крым. Нам казалось, что у Врангеля в Крыму осталась лишь часть Белой армии. Мы восхищались его блестящими победами и не в состоянии были понять, почему не удалось отстоять хотя бы Крым, так как считали, что надо было его удержать ценой любых жертв. Война с Польшей и крестьянские мятежи, охватившие огромные территории, давали блестящие возможности для реализации наступательных планов и исправления ошибок Белого движения в земельном вопросе. В крайнем случае в руках белых остался бы треугольник из Крыма, Кубани, части донских станиц, Новороссийска, Кавказа. И этот кусок земли стал бы для русских очагом свободы. Эмиссары белых проникали бы в страну, и мы знали бы, куда пробираться за защитой и руководством. При таком положении коллективизация и искусственное вымаривание населения стали бы невозможными. Деревня накопила бы силы, и объединенными действиями было бы покончено с диктатурой Сталина. При этом у Запада был бы энергичный и деятельный форпост борьбы с распространением красной заразы.

Разговоры того времени приводили также к следующим размышлениям и выводам:

— Сталинская деспотия через своих наймитов — чекистов и членов партии — все годы разжигала так называемую классовую ненависть. В эти годы ее особен-

но взвинчивали: она была искусственно придуманной и потому, как никогда, отвратительной.

— Естественной зато была ненависть к советским палачам, и мы иногда задавали друг другу вопрос: «Что ты сделал бы с ними в случае нашей победы?» Подавляющее число ответов не было свирепым: преобладало презрительное отношение. Мы считали их нелюдью, вырвавшейся из повиновения и толком не понимающей, что она творит. Необходимо было вернуть чекистов в исходное состояние, обучить полезному труду, поставить под жесткий контроль и в случае рецидивов расправляться на месте преступления. Я думал, что тем самым проверялись наши моральные устои: тот, кто был согласен с такой оценкой, принадлежал к числу людей, стоящих на стороне Добра.

— Классовая оценка человека коммунистами нас тоже смешила. Чекист, купающийся в крови своих жертв, или сатрап, уморивший миллионы, считались лучшими членами партии, достойными занять высокие должности в галерее зодчих социализма. От такой коммунистической морали впору было бежать к каннибалам на Соломоновы острова. Странно только, что через ссрок лет эти античеловеческие критерии не только не исчезли, но даже расползаются по лицу земли. Многие организации судят о добродетелях человека не по канонам вечной Божественной морали, а по его расе, нации, партийной и классовой принадлежности, преследуя при этом соображения выгоды.

— Вопрос о возврате к капитализму в нашей стране не вызывал у нас никаких сомнений. Мы были бы согласны даже на его первоначальную форму девятнадцатого века. Все-таки рабства тогда не было, труд был добровольным, с капиталистами можно было бороться, парламент и филантропы помогали... «Язвы капитализма» не шли ни в какое сравнение с открывшейся перед нашим взором системой «победившего социализма», которая породила голодную жизнь, принудительный труд, людоедство в деревне, погром духовной культуры, свирепые нравы, тотальный террор, сыск, доносы... Нас не раз удивляло, как люди могли идти на смерть, жертвовать собой, спасая систему, основанную на запугивании и насилии. Достойна восхищения гибель человека за великую идею, но идти на подвиг во имя поддержания кошмара и ужаса представлялось недомыслием, было

чудовищным. Непонятно было нам, юношам, почему не послушали умных людей, которые обо всем предупреждали, писали, убеждали, а поддались обещаниям демагогов и сами себе и другим надели аркан на шею.

— Большое осуждение вызывало у нас отношение союзников России по первой мировой войне к Белому движению. Белые спасали Россию — а с нею и весь мир — от надвинувшейся катастрофы, были верны своему долгу и принятым на себя обязательствам, состояли в большинстве из хороших, честных людей, с которыми можно было подписывать договора, устанавливать отношения. Запад отвернулся от белых, полагая, что красная держава будет слабой и неопасной. Тем самым он потерял друга, обрел лютого непримиримого врага своего строя — коммунистическую власть — и способствовал созданию очага разрушения своего общества. Союзники потеряли рынки сбыта, все капиталовложения, и им не выплатили все царские долги.

Огромная, в основном христианская, страна превратилась в питомник выращивания новой породы людей, сформированной в обстановке тотального террора и массового безбожия. Принципиально новая нелюдь начала корежить и разрушать все человеческое и духовное, топить жизнь в зверствах. Выкристаллизовалось новое общество, управляемое питекантропами. Рядом с нами, на необъятных просторах страны спущенные с цепи злодеи, не спрашивая согласия крестьян, нагло навязывали им рабство, угодное партийной олигархии.

Наше поколение было воспитано еще на книгах, пронизанных христианской моралью, и нам внушали необходимость уважать чужие убеждения... А Ллойд-Джордж разрушал в нас веру в высокие принципы: утешая англичан, объяснял им, что торговать можно и с каннибалами.

Тридцатые годы

В двадцатые годы Франция и Англия производили еще словесный нажим на правительство СССР. В 1927 году прозвучал знаменитый и, кажется, единственный за все время ультиматум Чемберлена. Но все это было несерьезно и не пугало советских диктаторов. Они про-

должали плести свои интриги, так как были вполне уверены в нежелании Запада начать с ними войну — иначе вряд ли отважились бы на проведение коллективизации и истребление крестьян, — и как в воду глядели: Запад упустил эти столь благоприятные для военного разгрома красной деспотии годы. Все это вызывало в нас удивление, потом наступило разочарование.

Сама советская власть внушала населению, что война неизбежна. У нас тоже было естественное стремление ее дождаться и получше к ней подготовиться. В этой связи мы еще не теряли надежды на помощь со стороны руководства белой эмиграции. Я рисовал себе картину приезда к нам нашего одногодки, вооруженного до зубов практическими указаниями и идеями. Я строил планы его длительного пребывания у нас. Он, вероятно, вступил бы в комсомол, чтобы легализовать свое положение и получить доступ к сердцевине многих событий. Сказалась моя неопытность и незнание жизни. Как раз этого делать не следовало, так как среди молодежи, выдрессированной в духе классовой ненависти и поэтому стремящейся проявить бдительность, выискивая вражеские вылазки, он был бы быстро расшифрован.

В тридцатом году, когда по заводам пронеслась кампания вступления в партию сразу целых цехов, аналогичное соображение проникнуть в стан врагов взяло верх над всеми остальными моими доводами. От партии я отбрехался, ссылаясь на молодость и незрелость, но в комсомол вступил.

Впоследствии я убедился, что те же наблюдения вполне мог произвести, не пребывая в рядах комсомола, тем более что относился к числу самых «липовых» его членов: не был активным, пропускал собрания, не участвовал ни в одном серьезном мероприятии, короче — считался балластом. Свою ошибку я понял, но демонстративный разрыв с этой организацией грозил тюрьмой. Надо было дождаться, когда по возрасту тебя сочтут «механически выбывшим». Поэтому все эти годы я жил с ощущением грязи.

Последующие годы я рассматривал как хождение по канату, протянутому над поверхностью смрадной, страшной трясины. Человек балансирует, старается не сорваться, но во время бури и дождя комки бьют по ногам, и он теряет равновесие, оступается, тина его затя-

гивает; держась за канат, он выкарабкивается, идет дальше...

— Система безбожной диктатуры уродует и марает людей.

— Только высокий религиозный накал души может создать стойкую броню человека.

— Когда Церковь разгромлена, люди, предоставленные самим себе, легко поддаются проискам зла.

Юноши в Париже и Берлине имели информацию и представление о национал-социализме Гитлера и о фашизме Муссолини. С 1932 года в советских газетах стали появляться ругательные статьи, направленные против нацистов. Нацизм, презиравший на основе своей расовой теории другие народы и стремящийся поживиться на их счет, вызывал у нас, естественно, резко отрицательное отношение. Я не встретил ни одного подсоветского человека, который оправдывал бы нацистов. Но Гитлер обещал войну против Сталина, и это давало надежду и силы переносить жуткие условия существования, терпеливо дожидаясь своего часа. Разные слои населения ждали войны как освобождения, и им было все равно, кто ее развяжет. Мечтали только о том, чтобы она поскорей началась. Поддержка Гитлером антикоммунистических сил Испании говорила тогда в его пользу. Германия и Италия оказали помощь национальной Испании, в то время как ведущие западные державы приняли странное решение о невмешательстве в ее гражданскую войну. Против Испании был составлен явный коммунистический заговор, она была наводнена советскими агентами, чекистами, летчиками. Из СССР гнали оружие и снаряжение. Коммунисты многих стран вливались в интернациональные бригады. В этих условиях невмешательство означало выдачу Испании на растерзание международным коммунистам, которых вооружили за счет пота и крови российских народов. Немцы и итальянцы оказали испанскому народу ту помощь, в которой так нуждалась Россия в 1918—20 годах.

Нас совершенно тогда не интересовало, насколько режим Франко отличался от классических демократий Западного мира. Для нас, рабов диктатуры, недопустимой роскошью было разбираться в этих тонкостях. Поэтому мы одобряли испанцев — несгибаемых антикоммунистов — и были на их стороне. Мы были против рабства и угнетения и не могли согласиться с насилием, под

каким бы флагом оно ни происходило. Порабощенные народы дают наибольшее число поборников свободы.

Гражданская война в Испании совпала с периодом, когда сталинский террор был в разгаре. Люди были настолько перепуганы, что прекратили разговоры, в которых был хоть намек на политику; связи рушились, знакомства прекращались, люди замыкались в свою скорлупу. Скупые строчки сообщений об испанских событиях в газете «Известия» были для меня ежевечерней духовной трапезой. При всей скудости и тенденциозности советского освещения испанская армия, марокканцы, иностранный легион вызывали восхищение. В мечтах я был с ними. Сильные положительные эмоции обостряют интуицию. В правильности предположений я убедился лет через пятнадцать, когда встретился с пленным итальянцем, которого посадили за его русское происхождение в лагерь. Он был кинооператором у Франко. Его характеристики вполне совпадали с оценками, добытыми мною в столь стесненных условиях. Он рассказывал об огромном значении кадровых частей испанской армии, которая грудью защищала национальную Испанию. Так же высоко он отзывался об отборных частях стойких националистов из различных провинций. В этих соединениях был сосредоточен мозг армии и воля к победе. В них горела пламенная вера в правоту своего дела, жила решимость погибнуть или очистить Испанию от красной чумы. Среди них были силы, выработавшие программу освобождения и умиротворения страны. Бывший оператор с восхищением описывал стойкость и мужество отдельных маленьких гарнизонов, окруженных в начале войны превосходящими силами врага. Он рассказывал о юных воспитанниках военных училищ — защитниках Алькасара, о сыне коменданта крепости, заложнике республиканцев, и его последнем телефонном разговоре с отцом. «Я умираю за Испанию!» — воскликнул мальчик и предпочел, как и его отец, расстаться с жизнью, но не содействовать сдаче крепости.

Марокканцев он приравнивал к иностранным легионерам. Даже мы за железным занавесом были осведомлены по переводным книгам двадцатых годов о прославленных подвигах иностранного легиона, и марокканцы вызывали у нас восхищение. Они участвовали в тяжелых и кровопролитных сражениях и были верной опорой Испании.

В каждой религии есть что-то свое и прекрасное. В магометанстве сильно развито чувство верности, и его достойные представители ярко проявили себя с этой стороны. В марокканских таборах, видимо, подобралась элита магометанского воинства.

Оказавшийся среди нас зэк не скупился на похвалы и в отношении иностранного легиона. Легионеры с львиной отвагой бросались врукопашную с криком: «Да здравствует смерть!»

В веревочных сандалиях, только со стрелковым оружием, флягой и однодневным пайком они совершили однажды за сутки переход в двести километров и как снег на голову свалились на растерявшегося врага.

— Вся армия в Испании была бесповоротно на стороне национального движения.

— К испанской армии примыкали верные, надежные части марокканцев и иностранный легион; сражались до полной победы.

— В самых критических положениях национальные части не проявляли паники, редко отступали, а если уж такое и случалось, то происходило организованно.

— Франко получал помощь только от Италии и Германии, тогда как республиканцам помогал всем, чем нужно, Советский Союз.

— Несмотря на красный террор, организованный по указке Москвы, национальная армия была полна мужества и воли к борьбе.

— В результате национальные части одержали победу.

С 1917 года, со дня организации ВЧК — всероссийской чрезвычайной комиссии («чрезвычайки»), в СССР проводился и проводится непрерывно террор, то есть война с населением, когда все преимущества на стороне чекистов.

С 1929 по 1932 год основной удар был направлен на крестьянство, с 1936 по 1939 год — на коммунистическую партию и примыкающие к ней слои. Выкорчевывание партийцев сравнимо по свирепости с истреблением бывших сословий во время гражданской войны. Террор тридцать седьмого года получил такую известность, поскольку касался в первую очередь руководящих слоев партии и распространялся сверху вниз. Вслед за директором летела в преисподнюю вся верхушка, и каждого заме-

шанного вынуждали дать показания на людей из его окружения. Поэтому эта «чистка» оказалась наиболее тотальной и захватила почти все население. В различных мемуарах и воспоминаниях о той эпохе говорится преимущественно о членах партии; и легко получить искаженное представление, так как миллионы жертв остаются вне поля зрения как некий серый фон. Поэтому мне представляется крайне важным, чтобы свидетели, пока они еще живы, оставили, хотя бы для историков, правдивые воспоминания о пережитом.

Под давлением усиливающегося террора двери друзей и товарищей закрывались перед носом. Страх леденил в жилах кровь: зная мою непримиримость, каждый решил держаться от меня подальше. К концу тридцать шестого я остался в одиночестве, но ни на кого не обижался. Я понимал, что в такое страшное время многие иначе поступать не могут. Летом тридцать седьмого я женился. На моем пути встречались девушки и женщины близких мне взглядов, но сердцу не прикажешь: я выбрал жену советской выучки. Она была прелестна, а я с детских лет усвоил, что прекрасной даме надо служить, а не втягивать ее в грубую и страшную борьбу мужчин. Весь мир мог быть ареной моей борьбы, но дома я отдыхал. Эта универсальная формула годилась для любой эпохи, но в искусственно созданной обстановке дьявольского террора я налетел на мину. Лишившись аудитории друзей и искусственно отрезав возможность вылить гнев и возмущение на самую близкую мне тогда женщину, я как вихрь обрушивался на родственников, с которыми находился в общении, и на недостаточно знакомых людей, иногда даже первых встречных из рабочих. Моя интуиция была напряжена до предела, и я не допускал, как мне казалось, ошибок. Я убежден в том, что стукач выдал меня позже, после того, как его завербовали в тридцать девятом. В ту пору советский строй обнаружился уже во всей красе: деспота обожествили, холопство и лакейство довели до предела, пытки и издевательства достигли своего апогея, кровь жертв затопляла подвалы чекистов, полным ходом шло истребление партии, сотворившей все предыдущие преступления. Поэтому армия и промышленность были обезглавлены, и возникло много шансов для победы над режимом в неминуемом военном столкновении. Это было для меня несомненно и сотни раз продумано. Но меня приводило

в бешенство, что на одного коммуниста уничтожалось семь-восемь рядовых людей, и я не мог, стиснув зубы, ждать своего часа. Диссидентство, которое я проявил в самый ужасный период, по-настоящему меня сформировало и окончательно вырубило мой путь в жизни. Позднее не раз подтверждалось наблюдение: кто все время молчал да прятался, попав в переделку, оказывался хлипким.

Отношение к человеческой жизни как к навозу приводило меня в исступление. Ценой жизни был клочок бумаги с доносом, часто анонимным.

Иногда его писали сумасшедшие — все годилось и шло в ход. В те времена срок за мелкое уголовное преступление был порой спасением человека от неминуемой или случайно подстроенной гибели. Жизнь становилась иррациональной. Фразы о бдительности, о том, что «ради построения социализма требуется...», о «происках классового врага» превращали людей в тупых, не рассуждающих, голосующих и аплодирующих исполнителей «воли партии и правительства». Сталин и его ближайшие сатрапы прятали свою бездарность, безжизненные порочные теории за этими штампами и совершали преступления, творили произвол, стремились во что бы то ни стало заставить людей делать противное их природе, отвратительное и невыносимое. На фоне зверства и обнаженной борьбы за власть меня озарила максима: не людоедство, а гениальные, верные идеи движут миром и ведут к его расцвету.

Глава 2

ПЕРВЫЙ ГОД В ТЮРЬМЕ

Арест

С детских лет из поучений старших и из книг я усвоил, что человек становится преступником после того, как сделает нечто противозаконное. Он обязательно должен именно *совершить* преступление, а не только что-то сказать или подумать. Этот отсталый для деспотий двадцатого века взгляд я искренне исповедовал до массовых арестов 1937 года.

Осенью 1939 года незадолго до начала второй мировой войны я был в Крыму в доме отдыха и имел возможность понять истинное положение вещей в Советском Союзе. В 1936 году я защитил диплом, стал инженером-механиком и был оставлен в аспирантуре. С тех пор я вез тройной воз: учился, работал за нищенский оклад и подрабатывал, чтобы иметь возможность вдвоем с женой существовать. Поэтому на юге я с наслаждением предавался заслуженному отдыху, стараясь ни о чем не думать, и не искал общества. Однажды под вечер, когда я сидел в одиночестве на скамейке, ко мне подсел отдыхающий, которого я невольно приметил по причине круглых, несколько смешных, крайне выразительных глаз и странной фамилии Подушко. Его распирало от желания излить душу, выговориться. Нечто схожее я часто испытывал сам, потому отнесся к нему с пониманием, симпатией, и был вознагражден потрясающим рассказом.

Он оказался агрономом из-под Воронежа. Его посадили в тридцать восьмом, держали в подвале, били, не давали спать. После того как с поста наркома внутренних дел убрали Ежова и назначили Берию, часть подследственных — для успокоения населения — выпустили из тюрем. Правда, большинство вышло на свободу только временно, как мы потом убедились, так как через год почти всех снова забрали. Подушко показал мне справку, из которой следовало, что он обвинялся одновременно почти по всем пунктам пятьдесят восьмой статьи: за вредительство, диверсию, террор, измену родине, шпионаж, участие в антисоветской организации, контрреволюционный саботаж, антисоветскую агитацию... Я прожил уже двадцать лет под этим антинародным режимом, но впервые соприкоснулся с обнаженной правдой чудовищной расправы над ни в чем не повинным человеком. С ужасом он шептал: «Вы же понимаете, это волчий билет, с такой справкой меня никуда на работу не возьмут». ...Бедняга! Ему следовало думать не о работе, а о том, чтобы скрыться куда-нибудь в глухую тайгу в Сибирь и притулиться там на малюсенькой должности за ничтожную зарплату. Но тогда я не сумел дать ему этой единственно верной рекомендации, до нее надо было самому дорасти, и это стало возможным, когда был приобретен опыт советского заключенного. Именно его нам всем тогда не хватало, ибо в тюрьмы и в лагеря люди

попадали миллионами, но редко кто из уцелевших возвращался в крупные города и уж, конечно, держал язык за зубами или даже рассказывал успокоительные небылицы.

Вскоре и я стал нуждаться в той же рекомендации: по возвращении в Москву меня ожидал поворот в судьбе.

Мне предложили работу на авиационном заводе; все было уже договорено, но в последний момент отдел кадров заявил, что меня не могут использовать по специальности. Каждому лагернику совершенно ясно, что это был «намек оглоблей», но я не придал этому значения и не сделал решительных выводов. Я не принадлежал себе из-за несвоевременной и ненужной женитьбы.

Подсоветский человек — ни с кем не связанный одиночка — это подобие мухи, попадающей в раскинутую перед ней паутину. Каждый думал только об одном: «Авось пронесет, и меня не загребут». Чекисты отлично понимают, что бороться способны лишь люди, связанные друг с другом, и поэтому их главный удар направлен на пресечение любых «организаций» и изоляцию личности. Уничтожение религии преследует ту же цель. Несмотря на периодические «чистки» самих органов, в них сохраняются традиции и преемственность: мастерам уничтожения людей передается эстафета.

Посадил меня в июле 1940 года инженер С. Д. Клементьев (Авдеев). Я работал с ним бок о бок в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах и в это жуткое в истории страны время относился к нему с полным доверием. Когда он забредал в нашу коммунальную квартиру, мы часто выходили покурить в коридор и разговаривали. Обычно к нам присоединялся сосед, немолодой уже бухгалтер, человек не без юмора. Я рекомендовал Клементьева как преподавателя в институт, где был аспирантом, и познакомил его там с моим приятелем Владимиром. В доносах Клементьев пытался слепить из нас троих антисоветскую организацию. С тех пор прошло больше тридцати лет: бухгалтер умер и посмертно реабилитирован; Владимир сделал крупную научную карьеру. Я умышленно не называю фамилии своих однодельцев, чтобы не доставлять излишних переживаний их родственникам.

В то время я не ожидал никакой неприятности. Прав-

да, вечером за несколько дней до ареста я почувствовал предсмертную тоску. Увидев позже дату выдачи ордера на арест, я понял, что мое состояние совпало с часом вынесения решения о моей судьбе. Процедура ареста, обыска, водворение во внутреннюю тюрьму на Большой Лубянке произошли по установленному ритуалу. Солженицын в романе «В круге первом» описывает во всех подробностях подобные злоключения Иннокентия. Для меня все тогда было новым: прочесть об этом я нигде не мог, а обрывки рассказов доходили через десятые руки. Поначалу я был оглушен свалившимся на меня бедствием, ибо не был подготовлен к происшедшему. Через полчаса я начал размышлять о виновнике моего водворения в политическую тюрьму. Свои взгляды, возмущение, критику я высказывал слишком многим. В числе других мелькнул в сознании и Клементьев, не оставив заметного следа.

В малюсенькой камере, называемой «бокеом», я успокоился и стал тщательно обдумывать свое положение. Спать не хотелось, и я просидел так до момента, когда мне принесли хлеб и кружку бурды, именуемой чаем. После завтрака я впал в какое-то подобие забытья и с тех пор смутно помню события. Мелькали какие-то тени, иногда дверь открывалась и меня выводили на оправку или давали еду. Я все проделывал механически: в голове гудело, я находился между сном и бодрствованием. Не знаю, сколько прошло времени: может два-три дня, может, неделя.

Наконец я оказался в кабинете следователя. Первое время соображал тупо, отвечал невпопад. Я напряг волю, чтобы сосредоточить внимание, и к утру голова начала проясняться. Из слов следователя я уяснил, что меня обвиняют в антисоветской агитации, и понял, кому обязан посадкой. Позднее некоторые заключенные рассказывали мне, что им подсыпали в пищу дурман. Возможно, так было и в моем случае, так как с переводом в общую камеру у меня это состояние прошло.

Существуют две полярные формы восприятия — кажущаяся и предельная. С детских лет я слышал об арестах, пытках, но сам не видел их, не пережил, при расстрелах не присутствовал. Такие кажущиеся знания поверхностны и не управляют человеком. Настоящий опыт входит в душу и определяет жизнь. Он появляется тогда, когда ты перенес многое на своей шкуре и не только

понял факты до конца, но передумал и перечувствовал. Иногда главенствует ложная, неверная в данных условиях формула, потому что она в тот момент более удобна, требует меньше напряжения от самого человека или в какой-то мере сильнее им пережита и воспринята.

В кабинете следователя его обращение, ругань, угрозы показывали, что я попал в застенок. Я не совершил никакого преступления, но с этих позиций защитить себя оказалось невозможным. Здесь производилось массовое оформление жертв доносов, поэтому требовались не признания, а показания. Подчас действительно совершенные преступления не вызывали у следователя интереса, так как требовали малого наказания или ломали план придуманного обвинения. Все подгонялось под очередное выдуманное дело, оформленное согласно пунктам пятьдесят восьмой. Из осторожных расспросов и отдельных замечаний, благо в камере нашлись два умных и наблюдательных человека, я вывел ряд заключений огромной для меня важности.

— Из тюрьмы назад, на волю, никого не выпускают. Чекисты внушают всем, что органы не ошибаются и брака в их работе нет, иначе у следователя и его отдела могут быть крупные неприятности.

— Бьют, пытают, изводят бессонницей тех, кто доказывает свою полную невиновность, не дает показаний, и тех, кого необходимо уничтожить по политическим мотивам. Как попугаи, следователи повторяли слова «великого пролетарского гуманиста» Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают».

— После снятия Ежова следователи должны были получать разрешение на применение физических мер воздействия. По сравнению с тридцать седьмым пытки применялись в более серьезных, с их точки зрения, случаях. Следователи компенсировали себя утонченным моральным давлением — прибегали к допросам родных и близких.

Следствие

Началось следствие. Изображать из себя ни в чем не повинного, лояльного по отношению к диктатуре человека я не мог органически, да из этого ничего не вышло бы — Клементьев меня расписал; от моих однодельцев

тоже легко могли получить требуемые подтверждения. Я думал, что достаточно будет подтвердить информацию Клементьева и, кое-что к ней прибавив, дать возможность следствию оформить на меня «дело», получить причитающееся наказание и таким образом не подвести ни одного человека. Но следствию этого было недостаточно, для чекистов это был бы провал. Каждый, посаженный за возражения, критику, несогласие с порядками, должен был по спущенной сверху установке обязательно входить в какую-нибудь организацию, хотя бы всего из нескольких человек. Тогда проявлялись бдительность и профессиональное умение «органов» обезвредить общество от врагов в самом зародыше их деятельности. Выработанная мною линия поведения была поломана. Свои враждебные режиму взгляды я излагал вежливо, но недвусмысленно. В конце следователь заявил:

— Теперь говори, кому ты все это рассказывал.

— Клементьеву.

— А еще?

— Больше никому. Клементьев проявил большой интерес. Сам говорил вещи похлестче, постоянно вызывал меня на обмен мнениями. В связи с непрерывными чистками образ жизни у людей замкнутый. Он ограничен только семейным кругом. Никаких разговоров никто не ведет.

— Не бреши! А этим (следуют фамилии моих одноделъцев) не говорил? Врешь, нам все известно.

Нажим на основе этих двух фамилий производился непрерывно. Я все же твердо стоял на своем несколько ночей и повторял: «Пускай они сами скажут». Тогда тактику изменили. «Ну что ж, займемся твоей родней и знакомыми. Они нам многое о тебе расскажут».

Небольшое к тому времени тюремное образование и опыт, перенятый от других подследственных в камере, позволили сделать математически точные выводы, и я понял, что мне необходимо взять следствие в свои руки. Я продолжал усиленно думать, моя интуиция напряглась предельно. Перед мысленным взором проходила родня и знакомые, которых ничего не стоило обнаружить, поскольку мои связи и окружение были известны. Я прекрасно понимал абсолютную беспринципность следователей, предоставленную им возможность неогра-

ниченного давления на человека, профессиональные ловкость, умение запугать людей, вынудить их развязать язык. Я знал также свою среду. Мне было ясно, что если следователь осуществит свою угрозу, то будет загублено десятка два людей. Каждый из запуганных и обманутых сначала расскажет о моих высказываниях, потом подтвердит то, что покажется желательным следствию, а когда разговор дойдет до Сталина, до моих оценок, насмешек и пожеланий, то наметятся немедленно контуры крупной, даже и по тем временам, организации террористов, вредителей, диверсантов. В итоге — человек пять были бы расстреляны, остальные двадцать получили бы по «десятке». В своем предвидении я был абсолютно прав. Прямое доказательство я получил в 1956 году, когда в самый разгар реабилитации вызвали шесть человек из моих родственников и довоенных знакомых. Невзирая на «либеральное» время Хрущева, когда им самим ничто не угрожало, пятеро высказались обо мне как о непримиримом смутьяне и враге сталинского режима, и на этом основании в реабилитации мне было отказано.

Поэтому я для виду немного посопротивлялся и пошел навстречу нажиму следствия: подтвердил факт моих разговоров с однодельцами. Провокатор и сексот Клементьев чекистами из дела исключался и, несмотря на мои старания, в деле не участвовал. «Органы» своего добились, и следствие в целом было закончено всего за четыре месяца: по тем временам очень быстро. Я был уверен в правильности поведения, не испытывал никаких угрызений совести и клял себя только за то, что допустил возникновение самой ситуации. Со временем я осудил свое поведение и, неоднократно к нему возвращаясь, вынес себе обвинительное заключение.

Мои смертные грехи состояли не в том, что я горел ненавистью к бесовскому режиму и потому спорил, возражал, доказывал, а в том, что я не учел искусственно созданной уникальной обстановки, не ограничил себя железным кругом лиц, спаянных клятвой верности, а метал бисер перед теми, кто в этом совершенно не нуждался. Я ширял по верхам, искал посланцев с Запада, а у себя под боком не удосужился разглядеть катакомбную церковь. В сталинскую эпоху только в тайных, мельчайших ячейках был залог подлинной борьбы и одновременное возрождение людей, создание элиты новых

россиян. Микробратства * дают верный и надежный способ борьбы с деспотией. Но до этого я додумался много позднее.

Лефортово

В конце четвертого месяца, когда следствие фактически подошло к концу, мне предъявили вдруг обвинение в измене родине по статье $58^{1А}$. В те предвоенные годы это был самый страшный пункт, сравнимый лишь с обвинениями в терроре и шпионаже: все, осужденные по статье $58^{1А}$, попадали в камеру смертников. Но как ни странно, когда я расписался под новым обвинением, у меня стало легче на душе. Я сказал себе: «Ну что ж, померяемся силами. У родственников об этих вещах допытываться не будут. Это не обвинение в антисоветской агитации. Теперь у меня ни на руках, ни на ногах гири не висят».

Через несколько ночей меня вызвали с вещами и куда-то повезли в «черном вороне». Я понял сразу, что меня перевозят в Лефортовскую, бывшую военно-каторжную тюрьму, так как тогда в ней велись следствия по самым тяжелым обвинениям. Многих тут же, в подвалах, расстреливали.

Лефортовская тюрьма построена сравнительно недавно и напоминает букву «К». На первом этаже, в центре, где скрещиваются коридоры, стоит тюремщик с флажком и регулирует движение арестованных, которых ведут на следствие. Надзиратели подобраны грубые и жестокие. Они всегда не ведут, а тащат подследственного на допрос, хватают его за руку, толкают в спину. На прогулках их злобные морды всегда рядом. Многие из них участвуют в расстрелах. Меня поместили в угловую камеру № 196 на четвертом этаже; под нами был коридор смертников. Как раненый зверь, непрерывно выла там одна женщина. Спать днем не разрешали, за ослушание полагался карцер. Допросы происходили только ночью. Люди и без того спали плохо, сверхчутко: каждый думал, что пришли за ним, прислушивался к шагам, шорохам, звукам открываемых дверей. Нередко тюрьма оглашалась криками. Под утро обычно вопил вызванный

* Я называю так естественно образовавшиеся и проверенные годами группки людей, полностью доверяющих друг другу. (Подробнее о микробратствах: Панин Д. Как провести революцию в умах., 1973 — *ред.*).

на расстрел, пока ему не забивали кляп в рот. Крайне редко, в припадке отчаяния шумел измученный арестант, грозил, что не пойдет больше на допрос, но чаще доносились стенания отправляемых в Сухановскую тюрьму, которая была пределом садизма и издевательства над человеком. В Сухановке вновь прибывшему тотчас заявляли, что правил здесь не существует, — попавший туда принадлежал к категории людей вне закона. И действительно: порции еды были ничтожны; по распоряжению следователя арестанту не давали спать круглые сутки, творили над ним все, что хотели. Обычно быстро можно было сломить даже очень крепкого человека, хотя отправляли в Сухановку на целые полгода. Один из побывавших там заключенных, хотя его даже и не били, получил на память чахотку и психическое расстройство.

Со мной в камере Лефортова находился бывший красный комиссар гражданской войны Волков, проведший до этого полгода в Сухановке. Он был полностью сломлен, дал на себя и других совершенно фантастические показания и был уверен, что его расстреляют. Его много раз били резиновыми палками, и он «раскололся», то есть начал давать показания, после того, как подвергся этой процедуре во время приступа печени, о котором, по наивности, сам предупредил следователя, и тот, как стервятник, радостно набросился на свою жертву. Волков был необычайно эрудирован, в совершенстве знал несколько иностранных языков, имел феноменальную память, читал наизусть по-французски стихи из сборника «Цветы зла» Бодлера и их русские переводы.

Вторым обитателем нашей камеры был вор-профессионал Варнаков, один из подставных убийц актрисы Зинаиды Райх, жены знаменитого режиссера Мейерхольда, погибшего в заключении. С помощью резиновых палок от него и его двух дружков добились признаний, и они подтвердили свое участие в совершенном преступлении. «Органы» занимались инфернальной деятельностью: чекисты не делали секрета, что сами убили Райх, и тем не менее велись «дела», в тюрьмах для уголовников отыскивались подходящие типы, затем их перевозили в Лефортово и выбивали показания. Достаточно было придумать одну шайку, чтобы схоронить концы, но обычно имелись разные варианты убийц, запасные экземпляры. Так было и с убийством Горького: известно, что его отравили чекисты, но десятками исчисляются его

врачи-убийцы. Я встретился в лагерях с двумя из них.

Варнаков был одарен от природы, хорошо рисовал, учился в техникуме. Стипендия, на которую он должен был жить, была ничтожной, и он начал заниматься воровством. Все, кто встречались на его пути, гибли: первая жена отравилась, вторую он посадил, друзья-воры попали с ним как убийцы и подверглись избиению на следствии... Он часто по-блатному психовал и бился головой о стену. В более спокойном состоянии он талантливо имитировал чужие голоса. В этом он был неподражаем, и нередко ему удавалось всех рассмешить. Его рассказы о воровской жизни были полны вымысла, и, слушая его, мы коротали время.

Существует мнение, что среди блатарей много одаренных людей. За шестнадцать лет заключения и ссылки я не встретил никого, кто походил бы на Варнакова. Воры на моем пути обладали феноменальными способностями, верней, умением подделать гербовую печать, подпись, залезть в карман так, что жертва и не почувствует, но этим таланты и ограничивались. От Варнакова я услышал впервые настоящую лагерную ругань, перед которой лексикон следователей бледнел и выглядел жалким ненужным подражанием.

Через несколько дней меня вызвали на допрос. Моим следователем на Лубянке был молодой человек лет тридцати, по фамилии Цветаев, кажется, из инженеров, мобилизованный органами. Он, видимо, недавно окончил курсы следователей, и наше «дело» было для него сдачей экзамена. Зла у меня против него не было и нет. Он старательно отрабатывал все, что было написано для него на бумажке старшим следователем и добросовестно, но беззлобно ругался, кричал, угрожал, как этому обучали на курсах. Во время следствия на Лубянке вид у этого чекиста был цветущий, белое с нежным румянцем лицо было привлекательным и отнюдь не зверским.

Когда я встретился с ним в Лефортове, я невольно вспомнил Оскара Уайльда. Передо мной был знаменитый портрет Дориана Грея, который впитал в себя пороки и преступления своего прототипа. Лицо Цветаева стало желтым, обрюзгшим, с резкими морщинами и коричневыми мешками под глазами. Я не сразу его узнал, такой след в нем оставило первое палаческое следствие по делу какого-то арестанта, которое он провел в Сухановской тюрьме.

Советские коммунисты называют себя товарищами, говорят о своем гуманизме. По опыту могу сказать, что в их «коллективах» нет ни добросердечия, ни элементов помощи друг другу. Их общества представляют стаи дрессированных псов, набрасывающихся на указанную намеченную жертву. Именно в их коллективе развиваются дурные и низкие задатки. Десять лет, с тех пор как я начал работать, я варился в советском котле и растерял то доброе, что получил при воспитании, притупил унаследованное от родителей, обнажил и обострил плохое в своей натуре. На исходе первого месяца пребывания в тюрьме из моей камеры уходил человек. Он оставил сокамерникам небольшие припасы, купленные в тюремной лавочке. И вот я, молодой и здоровый, по натуре добрый и отзывчивый, только что посаженный в тюрьму и не успевший еще захиреть, протянул руку за отведенной мне порцией, вместо того, чтобы отдать ее поляку, сидящему уже более года на тюремном пайке. Каким негодующим взглядом я был награжден! — и запомнил его на всю жизнь.

Во время следствия я еще раз убедился, что вся коммунистическая система и ее центральные учреждения держатся на страхе, подозрительности, недоверии, кровожадной мстительности. Толчком послужил рассказ польского офицера, по происхождению грузина, который поведал о том, как он пугал своего следователя. Офицер был человек наблюдательный и по-военному умел соображать быстро. Как-то он сообщил своему следователю, что был задержан, когда возвращался в тюрьму из следовательского корпуса, и тот спал с лица. Дело в том, что на протоколах или где-то в другом месте следователь должен отмечать время начала и конца допроса, а по возвращении в тюрьму арестант расписывается в особом журнале. Следователи, вероятно, иногда дописывали себе лишние часы работы, но при этом тряслись, что их проделки могут обнаружиться. Они не должны также оставлять арестанта одного в своем кабинете и, когда им надо выйти, зовут на подмену кого-нибудь из незанятых следователей из соседних кабинетов. Пребывание с другими чекистами наш поляк-грузин использовал для запугивания своего следователя. «Чего-то тот, кто вас заменял, качал головой и про себя ругался», — бросал он как бы случайно, когда его следователь приходил, и этого было достаточно, чтобы тот терзался страхом.

Обстановка, действующая на людей деморализующе и удручающе, меня, наоборот, окрылила. Я занял теперь позицию железной обороны, принял непоколебимое решение: полностью все отрицать, не давать ни одного показания, быть готовым к любым истязаниям. Я заявил следователю, что он напрасно станет терять время — от меня ничего не добьется, так как обвинение — сплошная выдумка, не имеющая ко мне никакого отношения. Из соседних следовательских кабинетов зачастую доносились стоны, рыдания и истошные окрики следователей. Мой чекист тоже сначала шумел и грозился, но раз от разу становился спокойнее и тише. Я понял, что следствию новых материалов для оформления не требуется. Мои сокамерники считали, что эту статью с меня снимут «за недоказанностью состава преступления». Так тянулось четыре месяца и, действительно, окончилось только пятилетним сроком исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию. Никакого суда, естественно, не было; решение вынесло особое совещание при наркоме внутренних дел, и каждый из однодельцев получил по пятерке.

Бутырки

После того как я расписался под приговором, меня и других осужденных отвезли в Бутырскую тюрьму. Там нас разместили в камерах, где мы дожидались отправки в лагеря. Крупные этапы уходили восьмого, восемнадцатого и двадцать восьмого каждого месяца. После такой отправки камеры становились почти пустыми, но немедленно снова заполнялись. В течение четырех месяцев упорно не вызывались на этап несколько молодых инженеров, у которых благодаря безобидным пунктам были небольшие сроки. Мы сумели добиться объяснения: нас держали в резерве для использования по специальности в тюремных конструкторских бюро. Как бы то ни было, нам исключительно повезло. В течение четырех месяцев мимо нас проходили сотни умных, образованных, опытных, знающих, разносторонних и разнообразных людей. Мы пропустили через себя членов коммунистической партии во всей ее палитре: от секретарей крайкомов и обкомов до всякой мелочи. Мы столкнулись также с чекистами-ежовцами, белоэмигрантами и бывшими белыми офицерами, иностранными коммунистами, многие из которых были деятелями Комин-

терна, рабочими, представителями советской науки — крупными инженерами, учеными. Национальный состав был также крайне разнообразен: поляки, латыши, эстонцы, литовцы, немцы и многие другие. В нормальных условиях я не мог бы окончить такую академию. Потребовались бы колоссальные средства, чтобы собрать воедино огромное количество столь разных людей. Но даже если бы это удалось сделать, они не стали бы о себе так обнаженно рассказывать. Люди, только что пережившие великую трагедию и крушение всех планов и помыслов, перенесшие жуткое следствие и ожидавшие быстрой смерти в лагере, становились разговорчивы, были откровенны, иные, может быть, единственный раз в жизни. Обычно возникало несколько очагов таких ценных разговоров: на шестьдесят-семьдесят человек было всегда пять-шесть способных привлечь внимание и интерес. Я просыпался и немедленно намечал план слушания таких бесед. Первое время я внимал молча, потом задавал вопросы; в споры стал вступать в последние месяцы, когда был нашпигован уже новыми сведениями, взглядами, теориями. По таким материалам десятки советологов могли бы написать диссертации о представителях коммунистического общества, да и западные писатели извлекли бы интересные и значительные образы для своих произведений.

Во времена Ленина в партию завлекали несбыточными лозунгами и обманом, и в нее валили валом самые темные, неразвитые, тупые в своей доверчивости люди. Во времена Сталина в партию шли почти исключительно по карьеристским соображениям; партия поумнела, удельный вес дураков понизился. Самых опасных, способных разобраться в преступлениях своего генсека, Сталин бросал в тюрьмы. Поэтому умных членов партии, прошедших через этапную камеру, в процентном отношении было значительно больше, чем на воле. Я воздержусь от уничижительных оценок: большинство очистилось, горе приподняло их, разбудило хорошее, но ранее задавленное в их душах. Они прошли через род покаяния и достигли высшей точки своего бытия. Тем самым стало возможно общение с ними. Многие вызывали симпатию, сострадание, некоторые осуждали свое прошлое. Меня поражали их политическая осведомленность, наблюдения о партийной жизни, о деятельности Коминтерна.

Им помогали стать нормальными людьми, настойчиво советовали сбросить личину благодетелей человечества и рассказать хоть теперь горькую правду об их преступлениях, направленных против рядовых людей, об уничтожении целых сословий, заключенных в тюрьмах и за колючей проволокой, о проведении коллективизации, об организации голода. Ведь недели через две они должны были столкнуться с первозданным хаосом лагерной жизни, и шансов уцелеть было мало... Подавляющая часть коммунистов кляла Сталина, обвиняла его во всех ужасах и обзывала последними словами. С теми из коммунистов, которые пытались оправдать его злодейства, почти никто не разговаривал, и они сидели как зачумленные. Только уцелевшие коммунисты посадки тридцать седьмого года, которых я встретил уже в лагерях, были столь же отвратительны, как и эти неудавшиеся адвокаты режима.

Сам факт раскаяния был отраден, хотя погибшие от этого не воскресают, но мы спрашивали себя, насколько оно глубоко, как будут они себя вести, если их вызовут, извинятся перед ними и предложат заниматься тем же, чем раньше. Большинство говорило: «Ни за что». Я думаю, что почти все были искренни.

Меня удивляло, что малограмотные люди отлично разбирались в гнили коммунистических химер, а высокообразованные — многие годы находились в плену убогих заблуждений.

В начале 1941 года, перед войной, темы споров сводились к следующему:

— Погром религии многие считали не идейным, а бандитским. Большинство коммунистов было согласно с этим тезисом, так как невозможно было скрыть или фальсифицировать факты.

В 1968 году в московской электричке я присутствовал однажды на диспуте. Пожилая, но энергичная женщина по очереди громила и подымала на смех своих оппонентов за их пошлые антирелигиозные взгляды. В тридцатые годы такие речи были бы расценены как вылазка классового врага, и ее обязательно арестовали бы. В шестидесятые годы в электричке подобные разговоры не казались крамолой. Треть вагона была в шляпах и с портфелями: ехал служилый люд. С тетушкой дерзали вступать в пререкания люди попроще. Она отбрасывала весь их безбожный вздор, и постепенно они замолкали

и сидели как оплеванные. Слово взял, видимо, подкованный лектор-антирелигиозник. Ворох мякины, которым он попробовал засыпать тетушку, разлетелся, как от свежего порыва ветра. Женщина была необразованная, но умная. По некоторым лагерным словечкам, которые срывались с ее языка, я понял, что немало лет она провела в заключении и окончила там у монахинь и богомолок свою духовную академию. Весь вагон затих. Я ловил каждое ее слово.

— О поведении в 1917 году тех, кто свергал власть, мы беседовали особенно часто со старым матросом, председателем Центробалта Измайловым. Он стоял во главе коммунистической организации, руководившей в то время сагитированными матросами. В отличие от малограмотной тетушки, сановник, в распоряжении которого до недавнего времени находились все средства коммунистической агитации и пропаганды, был не в состоянии защитить свое поведение и убеждения. Мы относились к нему добродушно, так как было ясно, что именно таких «лопухов» запутывали в свои сети большевистские обманщики. Теперь он соглашался со всеми доводами своих противников.

«Измайлов, во время войны с Германией ты срывал наступательные операции Балтийского флота. Ведь ты творил черную измену, выдавал Россию врагу».

«Да, получается, так!»

«Ты не запрещал, а содействовал расправам и убийствам флотских офицеров. Ведь это предательство!»

«Да, получается, так!»

Измайлов соглашался. Но его раскаяние оказалось неглубоким. Каким-то образом Измайлову удалось пережить заключение, и в середине шестидесятых годов я увидел его в качестве живой реликвии в киножурнале, посвященном музею революции. Пионеры надевали на него галстук, а потом в кадре показали его фотографию времен Центробалта. Он снова стал революционером, сановником. Повстречайся я с ним и напомни про наши беседы, он не подал бы мне и двух пальцев.

— О коллективизации мнения были разные. Несколько коммунистов, никогда не живших в деревне, считали, что сталинский способ коллективизации ужасен, но необходим и правилен по замыслу. Люди постарше и поопытнее объясняли, что такой план выгоден только паразитам, которые сами ничего делать не умеют, а живут

эксплуатацией работающих. Только трутни могут держать крестьян за горло и отнимать у них то, что они соберут. Крестьяне без коммунистов умели создавать кооперативы по совместной обработке земли и сообща покупать машины. Коллективизация чудовищна, но еще омерзительнее те, кто пытается доказать, что она проводилась на благо крестьян. На такое лицемерие не способен был даже Иуда. Нельзя привить саженец телеграфному столбу, невозможно убедить людей, что отвратительная форма рабовладения была создана для процветания закабаляемых. Все могло держаться только на терроре.

— Нас забавляли попытки коммунистов-начетчиков, натасканных на сталинской политграмоте, доказать, что мы живем при социализме. Их казенные доводы вызывали презрительные насмешки окружающих. Им без труда объясняли, что, по всем признакам, в сталинской сатрапии расцвел принудительный лютый государственный капитализм.

— Ежедневное вранье, искажения, подлоги, подмены, наглое навязывание партийных директив — такова была практика советских журналистов. Те из них, кто постарше, вспоминали левую печать в царской России, которая занималась тоже формированием общественного мнения, угодного революционным центрам, нисколько не заботясь об истине и правде.

— Не было единого мнения о виновниках февральской революции и октябрьского переворота в 1917 году. Многие нападали на евреев и латышей. Но еврейский народ, состоящий из раввинов, ученых, промышленников, коммерсантов, ремесленников, рабочих, в потрясениях России участия не принимал, а сам был жертвой. Октябрьской катастрофе содействовал сброд, забросивший веру в Бога и наплевавший на любую национальную культуру. Троцкие, свердловы, кагановичи имеют такое же отношение к еврейскому народу, как ленины, бухарины, рыковы, абакумовы — к русскому, лацисы, петерсы — к латвийскому, джугашвили (сталины), берия — к грузинскому. Нравственные уроды с искаженным мышлением и деформированными душами имеются, к сожалению, у любой нации и по ним ни в коем случае нельзя мерить и судить народ, — он не несет за них ответственности.

— Начетчики утверждали, что революция была неизбежна. Приходилось им возражать. Плодотворное ис-

торическое развитие общества тесно связано с духовным и экономическим преуспеванием, захватывающим максимальные слои населения. Как инженер я знал, что все сооружения вынашивают, тщательно обдумывают, рассчитывают, затем они проходят испытание. Ни одна деталь машин не была создана в процессе драки, все дельное и полезное создается творческими усилиями. Революции — это проявление хаотических разрушительных сил, и, как правило, они оборачиваются бедствием для основных слоев населения. Катаклизмы в общественной жизни нарушают процесс нормального развития и приводят к регрессу. Ставка на революцию оправдана только в борьбе с деспотиями и диктатурами, причем для уменьшения разрушений и жертв взрывной механизм должен быть тщательно подготовлен и продуман.

— Войну с Гитлером все считали неминуемой. Большинство предсказывало, что она начнется 20 мая или первого июня. Некоторые назначали другие дни. Для доказательства привлекали доводы из отраслей, в которых чувствовали себя сильными: военной, экономической, дипломатической. Если бы в то время знали о нападении Гитлера на Югославию, то срок начала войны с СССР был бы установлен еще точнее. Такое единодушное мнение людей, которые друг друга не видели и не слышали, так как конвейером следовали друг за другом, свидетельствует об их высоких умственных способностях. Все они, за ничтожным исключением, погибли в первые годы войны. Кроме даты начала войны был предсказан ими и ее позорный ход. Почти все были уверены в неизбежном разгроме сталинской деспотии. Никто тогда не мог предугадать безумие Гитлера.

Глава 3

ЭТАП ИЗ МОСКВЫ

Как мы встретили войну в Бутырках

Война с Германией началась не первого июня, как предсказывали в нашей этапной камере, а с опозданием на двадцать один день. Войну ждали со дня на день. Поэтому, когда в ночь на 23 июня все вскочили с нар,

разбуженные бешеной пальбой из зениток, многие из нас поздравили друг друга с началом войны. Были и такие, кто сидел повесив нос. Произошло расслоение.

Патриотами и оборонцами в большинстве оказались:

— те, кто в 1917 году открывали и разваливали фронт;

— те, кто дезертировали из армии, убивали своих офицеров;

— те, кто продавали Россию;

— те, кто поддерживали коллективизацию, разгром религии, уничтожение всех социально неугодных...;

— те, кто оправдывали все эти действия.

Пожимали друг другу руку, надеясь на близкое освобождение:

— те, кто, вроде меня, рассматривали поведение распропагандированной солдатни и их вожаков в 1917 году как измену и предательство родины;

— те, кто весь последующий хаос и кошмар воспринимали как катастрофу;

— те, кто восхищались героическим Белым движением, несмотря на его ошибки;

— те, в ком закабаление деревни и уничтожение шестнадцати миллионов крестьян вызывали ярость и отвращение;

— те, кто всем сердцем сочувствовали жертвам непрерывно производимого уничтожения неугодных;

— те, кто хотели спасти свою страну, вырвать ее из дьявольских тисков, восстановить человеческую жизнь, вернуть свободы, которые в свое время никем не ценились, прекратить непрерывно продолжающийся массовый террор...

Я и мои единомышленники верили в освобождение. Никто из нас не мог допустить, что немцы явятся не как освободители, а как завоеватели. Последнее означало бы полное непонимание действительного положения в стране.

Не скрою, что некоторые зэки, побывавшие в Германии и прочитавшие «Майн кампф» Гитлера, предупреждали нас, что, судя по его программе, он может вполне сделать ставку на завоевание. Мы отвечали на это, что при учете реальной обстановки не все написанное должно исполниться.

Так или иначе, мое мышление инженера не могло довольствоваться такой простенькой верой. Времени

хватало, и я занялся приведением в порядок своих взглядов в свете возможных неожиданностей. А именно:

— существование России окончилось в октябре 1917 года. Большевики никогда этого не скрывали. Страну немедленно переименовали в РСФСР, а позднее — в СССР. Исконно русское искоренялось и уничтожалось;

— Россия стала логовом политических бандитов, терзающих свои жертвы;

— новая Россия возникнет на острие штыков освободительных армий;

— режим насилия и массовых преступлений разделил население на «угнетателей» — исполнителей его акций — и «жертвы». Количество первых измеряется миллионами, вторых — десятками миллионов. Первые — опора режима; вторые используются для армии и прочих принудительных работ. Если армия крепкая, то «жертвы» при всем внутреннем нежелании будут тянуть ярмо и выполнять приказы. Если армия слабая, офицеры неопытные, дисциплина расшатана поражениями, то «жертвы» сумеют проявить свое истинное отношение к системе порабощения. При таком положении опорой армии и режима остаются «угнетатели», и их руками производятся все людоедские акции. Большинству «угнетателей» этот строй тоже опротивел, но он сумел втянуть их в свою орбиту, лапы у них в крови, перед каждым маячит расплата за содеянные преступления. Поэтому они будут сражаться за свою шкуру.

«Жертвы» при первом удобном случае будут сдаваться в плен. Из них немцы начнут формировать соединения добровольцев-борцов за освобождение России.

Мне и в голову тогда не приходило, что Гитлер начнет морить голодом наших пленных. Ведь я ждал от него разумных действий, а не безумия. Когда же осенью сорок первого до нас в лагерях дошли неопровержимые свидетельства этого преступления Гитлера, равно как и других его преступлений, то из возможного освободителя он превратился для нас в людоеда, никак не уступающего Сталину.

Мы поняли, что наша борьба осложнится: сначала требовалось свалить Сталина, а уж затем предстоит схватка с Гитлером.

Появление «злых фраеров»

После начала войны я и трое моих друзей просидели в камере еще около полутора месяцев. Людей стремительно отправляли на этапы, которые теперь уходили по нескольку раз в неделю. В печах жгли документы, прогулочные дворики были засыпаны пеплом. Ждали резкого ухудшения питания.

Шестым чувством я понял, что в усиливающейся неразберихе нам не дождаться возможности попасть в специальное конструкторское бюро, но зато много шансов угодить в гибельный осенний этап. Поэтому мы стали требовать отправки в лагерь, мотивируя тем, что в нашем приговоре значилось отбывание в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ), а не в тюрьме. И вот, наконец, 13 августа 1941 года нас вызывают на этап и переводят в бывшую церковь, превращенную в огромную камеру. Кроме нашего брата — советских, там оказалось много поляков и латышей. Вскоре разнесся слух, что среди поляков — князь Сапьега, один из богатейших магнатов Польши...

В специально приспособленном «столыпинском» пассажирском вагоне, куда нас набили, купе были превращены в клетки с зарешеченными дверями, выходящими в общий коридор. По существующим общегражданским нормам в купе шесть лежачих мест, если принять в расчет самую верхнюю узкую третью полку для багажа. По этапным нормам (хотя здесь вряд ли вообще можно употребить слово норма), возникшим из опыта перевозок в периоды относительного затишья, в такой клетке-купе помещали голов пятнадцать зэков, поскольку их за людей не считали. Нас же, по причине войны, загнали по двадцать восемь человек в эти камеры. Весь этап, примерно двести человек, разместили в одном вагоне. В назидание потомству стоит описать раскладку тел. На двух самых верхних нарах лежали валетом по два человека. На средних, превращенных в сплошные нары, — семь головой к двери и один у них в ногах, поперек. Под двумя нижними скамейками — по одному, а на них и на вещах в проходе сидели еще четырнадцать зэков. Ночью внизу все как-то сваливались вповалку. Арифметически это выглядело так: $2\times2+7+1+$ $+2\times1+14=28$.

Рекордная скученность, жара, духота и возможность

припасть лишь один раз в день к воде, налитой в общую грязную посуду, привели к тому, что у нескольких человек началась дизентерия. В условиях, когда на оправку выводили два раза в день, болезнь грозила стать повальным бедствием. Думаю все же, что это был какой-то другой понос, вызванный менее опасными микробами. Я сужу по тому, что никто из нас не заразился от инженера Смирнова с нижней полки, промучившегося всю дорогу.

Наслушавшись за четыре месяца пребывания в этапных камерах рассказов старых лагерников, мы составили верные правила поведения, которыми на первых порах и пользовались:

— держаться вместе, как говорится, все за одного, один за всех;

— не нападать на блатарей, но давать им решительный отпор;

— помогать тем, кто достоин помощи, то есть тем, кто способен на деле присоединиться к сопротивляющимся;

— не встревать в распри воров и «сук»;

— биться до конца за кровную пайку и т. д.

В первый же день этапа жизненность этих правил подтвердилась: наша четверка ворвалась в отведенную камеру и с ходу заняла лучшие средние нары. Одновременно мы помогли еще нескольким близким нам по духу людям занять лучшие места по соседству. Для блатарей осталось нижнее отделение. Их попытка взбунтоваться и занять наши места окончилась позорным провалом. Бунт был подавлен. Блатари, видимо, совершенно не ожидали столь слаженного дружного напора. К тому же стратегические преимущества были целиком на нашей стороне. Блатарям нужно было лезть поодиночке, чтобы проникнуть на наш этаж. Мы же встречали их сообща, хватали каждого за голову, ударяли несколько раз о решетку и сбрасывали на груду тел.

Затем, сверху, наша четверка, дополняя друг друга, прочла им лекцию о том, что коль они посягнут на «кровный костыль», придется их как следует отлупить, так как царство блатных кончилось, в лагере мы будем хозяевами положения, а если нужно, сговоримся с «суками», и еще о многом в том же духе.

Конечно, то были скорее пустые угрозы, но успех главенства блатарей тоже в их криках, в умении брать

на горло и действовать сообща. Во всяком случае, побежденные блатари больше никому не досаждали до конца пути.

Число дающих отпор блатарям, получивших от них же кличку «злых фраеров», значительно возросло через несколько лет.

Как барон Гильдебранд агитировал министра Ежова

Еще в большой пересыльной камере наше внимание привлек сухощавый господин западного облика, что-то быстро рассказывающий своему слушателю.

Барон Гильдебранд, с которым мы познакомились, был родом из Прибалтики. Речь его была быстрометная, точная; движения — изящны. Он вернулся из Германии, и его рассказы о ее производственной мощи, организованности, порядке, дисциплине, о способности маленьких гражданских предприятий за 24 часа перестроиться на выпуск определенных, нужных для войны деталей были очень интересны. Они производили на нас должное впечатление.

Оказалось, что такими сведениями, но, конечно, гораздо более полными, барон в конце 1938 года снабдил гремевшего тогда Ежова, который был главным палачом страны и руководителем сети шпионов в иностранных государствах. Из доклада Гильдебранда Ежов понял лишь одно: в Германии все хорошо, в Советском Союзе все плохо, — и закричал на барона: «Ты что ж, твою мать... агитировать меня приехал?»

Примитивный ум оберпалача Ежова не удивителен. Странно другое: как немецкий барон с именем и традициями старинного рода, европейски образованный человек, мог попасть — да еще в самую кровавую, жуткую эпоху — в зависимое положение от сталинских сатрапов? Как мог он, располагая информацией тех лет, не понять, какому кровавому капищу, какому идолу он приносит самого себя в жертву?

Вероятно, дело не в сребрениках и не в расставленном силке, в который он попал... а в каком-то интеллигентском мираже, который засел в его скородумной и быстроговорящей голове...

Неудивительно, когда мало образованный в этих вопросах западный коммунист, принявший внутрь изрядную порцию пропаганды, верит наглой лжи, которую

Советский Союз сам о себе распускает. Таким жертвам обмана особенно хочется помочь открыть глаза.

Но и им самим следует рекомендовать относиться более сдержанно к такого рода агитации и требовать доказательств.

Как бывший главный прокурор республики продолжал карабкаться по трупам

Истошный крик прервал мои размышления: «Не слушайте его, он — фашист! Ведет фашистскую агитацию».

От соседей по «купе» мы узнали, что кричал Рогинский, бывший главный прокурор республики во времена Ежова. На совести этого чудовища лежали сотни тысяч расстрелянных с его санкции во время ежовской чистки. Инцидент произошел из-за рассказа барона Гильдебранда о Германии, который был подслушан сидевшим в соседнем купе Рогинским. Этот аспид решил, что если он посадит барона в тюремный изолятор, то сумеет снискать благоволение начальства, и тем самым начнется его реабилитация в глазах Сталина. И злосчастный барон был дважды обвинен в агитации главными палачами сталинского режима. В первый же день по приезде в лагерь он исчез в лагерной тюрьме. Больше мы его не встретили. Там он и погиб.

Рогинского же нетрудно было обнаружить. Меня интересовала психология таких выродков. И в тот же день я легко нашел его, так как он стремился держаться на виду у начальства, жестикулировал, громко разговаривал, всячески выпячивая свое прошлое.

— Вы понимаете, — кричал он кому-то, — если мне, прокурору республики, дают десятый пункт, значит, тем самым признают мою абсолютную невиновность, и вопрос моей реабилитации — дело ближайшего времени.

Горе тем, кто попал на лагпункт вместе с Рогинским. Он оставлял повсюду за собой кровавый след. В пасть Ваалу он сталкивал всех, на чьих костях мог выслужиться и вновь возвыситься.

Много позднее, уже в Москве, мне бросилась в глаза в отчетах о Нюрнбергском процессе фамилия Рогинского, который был назван рядом с генеральным прокурором СССР Руденко. Так, значит, это чудище выползло по трупам и снова заняло свое место у дымящегося кровью жертвенника?!

Мир за тюремной решеткой — зеркало советского общества

Иногда удается сделать опережающий вывод, а потом в течение многих лет находить ему подтверждения.

Вполне естественно, что преступный блатной мир, в который нам предстояло окунуться, возбуждал в нас большой интерес. В тюрьме мы тщательно расспрашивали о его нравах и жадно слушали рассказы старых лагерников, привезенных на переследствие. Очень много узнал я от опытного вора-профессионала Варнакова, с которым около четырех месяцев сидел в Лефортовской тюрьме. Повадки блатных в вагоне служили иллюстрациями к его рассказам.

Еще до войны как бы пелена спала с моих глаз, и я понял, что Ленин просто скопировал свою «партию нового типа» с бандитских шаек, отличавшихся:

— беспрекословным подчинением решениям «пахáна» (главаря);

— периодическими «чистками» в поисках нарушителей воровского закона в своих рядах;

— судами над провинившимися и кровавыми приговорами;

— античеловеческой моралью (хорошо лишь то, что хорошо для воров);

— противопоставлением воров «в законе» («людей», как они сами себя величают) «фраерам» (то есть массе, толпе, «мужикам»);

— отлучением тех, кто нарушил их единство, их волчьи законы, и стремлением уничтожить этих отщепенцев («сук»);

— особым языком, постоянными тайнами, презрением к остальному населению, которое для них лишь источник добывания жизненных благ.

После первых месяцев лагеря я пришел к окончательному выводу, что мир заключенных отображает советскую действительность; она же повторяет во многом жизнь за колючей проволокой. А именно:

— блатные взяли на себя роль компартии, а компартия играет роль шайки блатарей;

— наиболее свирепая часть блатарей несет обязанности чекистов, остальные подглядывают, доносят, ведут сыск. Их главари выполняют функции судей;

— «фраера», «мужики», «сидоры поликарповичи» —

это рядовые беспартийные массы. И те и другие разрозненны, пугливы, трусливы, подлы, падки до слухов, не верят в свои силы;

— доносчики, предатели, сексоты, провокаторы кишат и в том, и в другом мире. Однако среди блатарей такая прослойка — и это говорит в их пользу — гораздо меньше, чем в коммунистической партии Советского Союза;

— заключенные берут все, что можно пронести в зону или сожрать на месте, а на воле многие тащат с работы то, что плохо лежит... Слово «честность» исчезло, и нельзя винить за это людей, живущих в таком обществе;

— интеллигенция за решеткой и огромная часть интеллигенции «на свободе» ведут себя одинаково. Устремления первых к «досрочному освобождению», «кабинке» вместо общего барака, «премвознаграждению» и другим благам того же калибра напоминают карьеризм вторых, их погоню за окладом, отдельной квартирой, диссертацией;

— мы же, «злые фраера», не желающие мириться с произволом и всегда дающие отпор бандитским поползновениям, представляли собой некое подобие диссидентов.

Язычники

Лежу на лучшем месте в «купе», на средних нарах возле стены, головой к решетке, а значит, и к окну. Рядом — верные друзья. Я сыт, здоров, не истощен: в торбочке еще бутырские припасы. Подо мной, внизу, сидит, скорчившись от поноса, измученный инженер Смирнов. Ему за пятьдесят. Видимо, он человек порядочный, но своим мы его не признаем, так как он все время молчит, не высказывает мнений и не дает оценок происходящему. Следовало бы уступить ему место. Но искусственно нагнетаемое неуважение к общечеловеческой морали и здесь чинит препятствия, мешает взаимной помощи, всегда стремясь разъединить людей, что в большинстве случаев удается.

Дело не только в том, что в условиях заключения сталинских лет люди зверели, но и в том, что в самой обстановке таились самые неожиданные опасности. Поэтому тщательно обдумывались и взвешивались все неже-

лательные последствия любого поступка, который считался бы нормальным в нормальных условиях.

Помочь больному призывали полная надежды и любви к ближним заповедь христианского вероучения об искуплении своих грехов добрыми, угодными Богу, делами и следующие практические соображения:

— едем в страшное время в страшное место. Если сейчас не поможешь попавшему в беду, то не будет у тебя права просить других о помощи и принимать ее;

— почему я должен для себя требовать и добиваться лучшего положения по сравнению с остальными? Если я лучше других, то мне не нужны привилегии, а склонность к ним опровергает принятое допущение. Если же я хуже, то никакого права на лучшее не имею;

— пора изучать нравы блатарей; приучать себя к невзгодам и лишениям, а не укрываться от них; изучать лагерную речь, лагерную брань, ухватки...

И все это могло быть перечеркнуто из-за единственного подозрения, что поведение Смирнова неясно с позиции свободы слова, отстаиваемой в нашем содружестве. Однако именно эту опасность мне показалось необходимым использовать во имя общего блага. И когда мои друзья стали возражать, говоря: «Ну его к черту! Что-то он то ли хитрит, то ли страхуется, и тогда наши разговоры не для его ушей...» — я отпарировал: «Мы за последние четыре месяца так много разговаривали и слышали столько интересного, что слишком распустились. Поэтому крайне полезно перед приездом на место, где мы попадем в резко враждебную обстановку, вновь научиться управлять своим языком».

С общего согласия я спустился вниз, а больного положил на свое место. Внизу я попал в чужую среду: следовало помолчать и освоиться. Но мысли и без того были заняты. Я думал о том, как трудно в этой обстановке совершить добрый поступок даже человеку, считающему себя христианином, и насколько несравнимо труднее совершить его безбожнику.

Освоившись на нижней полке, где я сидел у самой двери, и досыта наслушавшись тамошних рассказчиков, я полегонечку начал и сам вступать в разговоры со своими новыми соседями. Рядом со мной оказался невзрачный зэк, который несколько раз в разговоре упомянул слово «Бог». Естественно, я заинтересовался и постепенно добрался до его кредо.

Много раз приходилось слышать от людей, вроде и верующих в Бога, перлы подобного рода: «Церковь не признаю, попов не перевариваю, у меня свое понимание Бога: Бог — это правда, Бог — это добро... ритуальная и догматическая стороны не имеют значения...»

Такими фразами всегда стремятся оправдать свой отход от Церкви. Но тем самым связи с верующими разрываются, а в душу проникают соглашательство и трусость. Вера превращается в игрушку, в нечто необязательное. Рассуждают примерно так: пока я молод, обойдусь без нее, а с годами займусь ею как следует. Как будто человек знает, когда придет его конец... На этом фоне пышно расцветают сделки с совестью и самооправдание. Общение со священниками прекращается, проповедей и поучений не слышат, Священное писание и книги духовного содержания в руки не берут, — а в СССР их и найти почти невозможно, — от таинств отстраняются, молиться перестают. И так гаснет вера.

С другой стороны, через сознание проходят потоки безбожной агитации. Матрицы мозга поневоле удерживают обрывки марксистского мусора.

Число подобных людей, к которым принадлежал и мой сосед, огромно в безбожной системе. Точнее всего к ним подходит слово «язычники», так как вынужденный отказ от Церкви и невежество в вопросах религии приводят к примитивизму, отступничеству и разъединению. А далее открыт путь к безбожию с его тоталитаризмом сталинского или гитлеровского образца...

«Благостный и святочный стражник-наставник»

Новое для меня окружение вознаграждало общением с людьми, с которыми раньше встречаться не приходилось. Почти рядом со мной оказался бывший начальник милиции Горьковской области. Этот чернявый, крупный, гориллообразный милиционер при исполнении служебных обязанностей наверняка мог дико орать, отвратительно ругаться и прибегать к рукоприкладству... Иное было теперь. Слова отрешенного от должности «стражника-наставника» (по выражению поэта-песенника Александра Галича) плавно текли, журчали как что-то «благостное и святочное»... Впрочем, это неудивительно, ибо ехал он в окружении воров, а к заполученному нами главенству относился, вероятно, скептически, так как по-

зорное, трусливо-подлое поведение сидевших по пятьдесят восьмой было в те годы общеизвестно.

Он оказался разговорчив. Я задавал ему ряд вопросов, и, в частности, меня интересовало, каким образом милиция раскрывает совершенные преступления и занимается ли она «делами» пострадавших частных граждан. Первое время он петлял и довольно искусно уходил от ответа. Но времени хватало, и, попривыкнув, он счел возможным удовлетворить мою любознательность. Все его ответы сводились к универсальной формуле: действенное средство в руках милиции — сеть осведомителей как среди населения, так и среди самих воров. Без их информации милиция бессильна. Приемы современного Шерлока Холмса и научно обоснованного сыска слишком дороги, и отпущенные средства идут на тайную полицию. Там, где затронуты интересы государства, следствие не гнушается частично применять «ежовские» методы. Поисками преступников, от которых пострадали частные граждане, милиция занимается лишь при наличии информации, полученной по своим каналам.

Оснований сомневаться в правильности полученных сведений не было, и меня охватило чувство крайнего возмущения. Для решения простеньких задачек в вотчине Сталина пошли на внедрение щупалец сексотов в самую толщу народа, дополнительно разлагая, разобщая, загрязняя население. Как надо бояться и ненавидеть простых людей, чтобы реализовать всю эту гнусность!

На мой вопрос, как он поставит дело на лагпункте, если его назначат начальником комендатуры, он ответил, что тем более в лагере действенная сеть сексотов — единственная возможность вершить сыск, а также держать «у́рок» в повиновении.

В справедливости его слов мы получили позднее возможность убедиться.

Подолгу беседуя с ним, я понял цену его «благостности и святочности», в которые он вырядился специально для этапа. Я не сомневался, что, устроившись в комендатуре, он сумеет проявить свои остальные способности — добиться пересмотра дела или прямого снятия судимости. Видимо, ему как-то на это уже намекнули, поэтому несколько раз в его голосе проскакивали уверенные нотки. Так, значит, я снова столкнулся с низостью безбожного мышления: простые люди — навоз, который

можно топтать ради своего стремления выжить, выжить любой ценой.

Опытный «стражник» не ошибся в расчетах и методах, и в начале сорок второго я увидел его в числе освобожденных из лагеря.

Пока государство остается тоталитарным, его полиция сохраняет свои особенности. В первую очередь она призвана охранять интересы государства и подавлять любое недовольство грубой силой, а жалобы населения полиция обслуживает кое-как и в последнюю очередь.

Когда из заключения убегал «контрик» — объявлялся всесоюзный розыск, когда убегал уголовник — ограничивались местными поисками, ибо первый был опасен для государства, а второй — лишь для населения, и государство от этого не страдало.

Когда убивали милиционера или чекиста, на розыск кидали большие силы и обязательно находили виновника если не действительного, то мнимого. Когда убивали кого-то из населения, следствие велось вяло, формально, безынициативно. Следователь стремился не к поискам виновного, а к скорейшему закрытию дела.

Я не могу в этой связи не рассказать о преступлении, совершенном уже в 1966 году в городе Дубне Московской области. 3 января утром десятилетний мальчик, приехавший с матерью на школьные каникулы, был сброшен в гостинице с четвертого этажа в пролет винтовой лестницы и скончался, не приходя в сознание.

Обстоятельства убийства явно указывали на оказавшегося в той же гостинице только что вернувшегося из заключения бандита, которому беспечная администрация предоставила ночлег. Накануне, устроив пьяный дебош на этаже, он блатной руганью угрожал матери мальчика, пытавшейся его утихомирить.

Следствие по начатому уголовному делу безобразно задержали, вели крайне халатно, спустя рукава. Перепуганные свидетели плели околесицу и были озабочены только тем, как бы не впутать себя. По прошествии трех месяцев советник юстиции третьего ранга Белов, приехав к матери погибшего мальчика домой, потребовал ее подписи — согласия закрыть дело на основании якобы того, что мать подозреваемого бандита сообщила, что он отправился путешествовать по Советскому Союзу. Объявить всесоюзный розыск убийцы советская

прокуратура не сочла нужным. И здесь следователь рассуждал не как представитель власти, обязанный найти и наказать преступника, а как его пособник, заинтересованный, чтобы беглеца оставили в покое. Сказалось выработанное за годы тоталитаризма презрение к рядовым людям — тратить на них время и деньги не обязательно, достаточно выполнить необходимые формальности и закрыть дело.

Глава 4

ВЯТЛАГ ПЕРВОГО ГОДА ВОЙНЫ

Как князь Сапьега выполнял норму

День прибытия нашего «московского» этапа на первый комендантский лагпункт Вятлага — 28 августа 1941 года — ознаменовался приездом крупного начальства из управления лагеря. Это было вызвано тем, что в связи с разгрузкой московских тюрем в нашем этапе оказались некоторые выдающиеся заключенные: князь Сапьега, прокурор республики Рогинский, барон Гильдебранд, заместитель наркома лесной промышленности Козырев, министр внутренних дел Латвии и несколько членов правительства этой страны, много польских офицеров, около двадцати инженеров, среди которых и очень крупные с бывшего Путиловского завода, немецкие и венгерские специалисты-авиационники, большие чины НКВД и милиции...

Из приехавшего начальства тоже выделялся и потому запомнился плотный, приземистый, бульдогообразный начальник «режима» Вятлага. Чекистам вообще нельзя отказать в прекрасной памяти на лица и имена; нас, новичков, поражала их осведомленность, почерпнутая, впрочем, из формуляров с фотографиями и установочными данными, препровождаемыми на каждого заключенного. Вот почему капитан Борисов тотчас «узнал» князя Сапьегу и, я думаю, «сразил» его, назвав по имени.

Высокий, сильного сложения, костлявый, с пронзительными глазами и носом с большой горбинкой, князь напомнил мне громадного орла, с перебитыми крыльями, в клетке, но гордого и непримиримого. Я подоспел,

к сожалению, в тот момент, — это было не самое начало разговора, — когда зэк Сапьега на вопрос капитана: «Почему же вы, помещик и князь, не убежали, а остались в своем поместье?» — ответил: «Я остался там, где жил всю жизнь. Не я пришел в чужую землю, не мне и бегать».

Князь не очень правильно говорил по-русски, и несколько польских слов только усилили и без того ошарашивающее впечатление. Капитан отреагировал длинной тирадой из марксистской политграмоты, которой обучают всех в Советском Союзе, с неизменными формулами об эксплуатации, экспроприации и прочими штампами. Дерзость князя сошла ему с рук, так как руководству лагеря в то время было, вероятно, что-то известно об организации армии Андерса... Уже в сентябре приехавших с нами и ранее попавших в лагерь поляков этапом отправили в Среднюю Азию, где шло формирование этой армии. Но до этой даты поляки работали, как и все зэки, и даже князь Сапьега был поставлен перед необходимостью выполнять ежедневную норму, то есть доставать сотни полторы полных ведер из глубокого колодца и перетаскивать их на немалое расстояние. Впрочем, поляки не разрешили ему и пальцем пошевелить и сами выполняли его норму. По слухам, князь Сапьега уехал первым из Вятлага в специальном салон-вагоне. В Лондоне он должен был войти в эмигрантское польское правительство.

Среди поляков было человек пять западноукраинских хлопцев. Конечно, все они сказались поляками, и никто из настоящих поляков их не выдал...

Карантин

Вновь прибывших в лагерь положено держать в карантине в течение двадцати дней, но это выполняется лишь в тех случаях, когда они не в состоянии двигаться. Как правило, уже на следующий день гонят на работу. Правда, обычно норму выполнять не обязательно, зато кормят по худшему, так называемому «первому котлу».

Поселили нас в «палатках» — сооружениях, покрытых двускатной крышей, а по бокам огороженных стенами из жердей, обмазанных глиной; внутри них вдоль оси

симметрично расположены двусторонние верхние и нижние нары.

О комарах и клопах мы знали по рассказам зэков, но то, что обрушилось на нас, превзошло все ожидания. Я лежал на нижних нарах, а с верхних падали, лезли изо всех щелей проклятые клопы. Я то и дело скидывал с себя крошечное детское одеяльце, захваченное мною из дома, и вступал в единоборство с ними. Но тотчас начинали истязать комары, гудевшие, как самолеты. Промучившись так часа два, я полез вниз, уповая, что там хоть клопов будет поменьше. Тщетная надежда! Через несколько минут нагрянуло целое полчище, и все началось сызнова. Вылезая из мнимого убежища, я чуть не напоролся затылком на острие здоровенного гвоздя и выскочил на двор, благо бараки тогда не запирались. Там я устроился на столе, где и заснул лишь под утро. В последующие ночи было не легче: пытка продолжалась, но усталость брала свое. Тем временем кровопийцы вершили черное дело, высасывая из нас кровь, которую все труднее становилось возможным восстановить при столь слабом питании. После того как в течение первого года войны уничтожили, за малым исключением, весь состав лагеря (35 000 человек), сверху пришло, наконец, указание морить клопов, и вновь прибывающие на место погибших зэков уже не подвергались этому ежедневному истязанию.

Через неделю после нашего приезда склады лагеря опустели, и питание стало резко ухудшаться. Теперь нам давали черпак жидкой баланды и черпачок немного более густой кашицы. Продовольственные посылки были запрещены с первых же дней войны, и все держались только на хлебе.

Кубанцы

Дня через три после нашего водворения привезли этап (человек пятьдесят) с Кубани, который поэтому и назывался «кубанским». Ядро молодых двадцати-тридцатилетних парней резко выделялось среди остальных. В первый день, когда их отвели на работу в лес, они собрались под вечер около своей палатки в кучку и что-то очень оживленно обсуждали. Верховодил один парень повзрослее с карими, как мне показалось, горячими глазами. Он говорил очень быстро и, видимо, убедительно.

Остальные внимали с большим участием, иногда вставляя замечания и вопросы. Как молни . сверкнула догадка, что кубанцы собрались в побег. Ребята были — не нам чета. На них, детей казаков, с ранних лет сыпались непрерывной чередой как из рога изобилия притеснения, гонения, репрессии. Они повидали виды. Те, что постарше, вполне могли быть участниками восстания кубанцев против коллективизации в 1930 году. Многие наверняка бежали из гиблых мест массовых ссылок в Сибири. Поэтому вполне реальным представлялся им побег в начале сентября из лагеря при одном только «вертухае» на бригаду.

У меня тогда еще не было лагерного опыта, да и трудно было войти за один вечер к ним в доверие. Я смог бы выйти с их бригадой за зону, потому что нас еще не знали в лицо, да и бригады были временные, карантинные. Стоило, может быть, подождать конца беседы, подойти к атаману, сказать: «Я ваш, возьмите меня с собой!» А там одно из двух — либо тебя в тот же вечер задушат, либо скажут: «Да». Первое верней, ибо никакой веры в москалей у них не было. За десять лет сознательной жизни среди скрытых и явных врагов среда воспитала во мне разъединение, недоверие к окружающим, неумение пожертвовать собой. И хотя решимости у меня всегда хватало, я не сумел осуществить свое желание в тот вечер.

На следующий день, после работы, крайне заинтересованный, я подошел к их палатке. Этой группы ребят там уже не было, и больше я их не видел. Скорей всего, они «рванули когти» всей бригадой, и, наверное, удачно. Иначе их растерзанные тела привезли бы и бросили возле вахты для устрашения зэков.

Так поступили с убитым беглецом Петушковым, мелким воришкой, приехавшим в нашем «купе». Известно, что блатарям «в законе» работать не положено. Поэтому Петушков всячески филонил, то есть бездельничал, как мог. Охранявший бригаду стрелок, еще принадлежавший к «золотому фонду» тридцать седьмого — тридцать восьмого годков, приказал ему раздеться донага и поставил его на пень. Петушков не выдержал истязания полчищами комаров, сорвался с места, бессмысленно побежал. Стрелок уложил его почти в упор как беглеца.

Инженеры

Наша дружина не теряла даром времени в этапной камере, и потому мы приехали с вполне сложившимся мнением об отношении к общим работам:

— день «кантовки» — залог жизни;

— ни одного дня на общих;

— работа не медведь, в лес не убежит;

— от работы лошади дохнут;

— без «туфты» и аммонала не построить бы канала;

— согласны отбыть срок, но не согласны, чтобы он кончился досрочно вместе с нашей жизнью.

И во время этой пока что прелюдии общих работ, про которые говорят «не бей лежачего», мы вели себя соответственно — старались ничего не делать, беречь свои силы.

Совсем иным было поведение во время карантина инженеров из нашего этапа. Все они были старше нас лет на десять. Когда подавали платформу с лесом для погрузки, они прямо рвались в бой, хватали самые тяжелые бревна и, пыжась изо всех сил, закатывали их вверх по наклонно положенным лежням. Мы же в это время беседовали, посмеивались, отдыхали и иногда подавали бревнышко полегче.

С лагерной точки зрения их поведение было глупо, ибо норму выполнять было не обязательно. Но ларчик просто открывался: оказывается, они надеялись на то, что за «энтузиазм» их оставят в механических мастерских. Они не учли, что распределение зависело в первую очередь от статьи, пункта и срока. Те немногие из инженеров, у кого, вроде меня, был самый легкий десятый пункт пятьдесят восьмой статьи (58^{10}) с пятилетним сроком, имели шанс попасть в механическую мастерскую или в паровозное депо. Но одного этого было совершенно недостаточно. Необходимы были еще следующие условия: потребность в таких работниках, отсутствие противодействия ведущих зэков мастерской, а еще лучше — их помощь, отсутствие «вето» оперуполномоченного, умение, не моргнув глазом, согласиться на любую предложенную там работу, даже в том случае, если у тебя о ней самое смутное представление...

Большинство приехавших с нами инженеров было осуждено за «вредительство» (58^7) и «диверсии» (58^9), имели ср́ока наказания в 10, 15 и 20 лет. Эти маститые

инженеры, механики, многоопытные конструкторы были отправлены на лесоповал; все, кроме троих, погибли в первую же зиму.

По прибытии, дней через десять, наш этап начали разводить по лагпунктам. Основную массу двинули на лесоповал; кое-кто устроился под крышей; бытовики и бывшие чины НКВД закреплялись в «зонах» на должностях «придурков», поляков увезли из лагеря...

Стремительно надвигался жуткий голод. Все запасы были съедены к началу сентября.

Невозможные «общереспубликанские» нормы выработки были оставлены на невыполнимом уровне. Никаких новых коэффициентов, учитывающих сложившуюся обстановку, введено не было. Это было равносильно сознательному массовому убийству...

Кто «доходит» быстрее

В Москве в предэтапную ночь мы познакомились с инженером-авиационником, которого привезли из закрытого тюремного конструкторского бюро, руководимого знаменитым Туполевым в его бытность заключенным. Инженера, обрусевшего немца, звали Георгий Лаймер. Посадили его в начале тридцать седьмого. Он был в лагерях уничтожения и погиб бы там, если бы не вызволил Туполев. В начале войны его, как и других немцев и венгров, отправили на этап. Он легче всех переносил лагерные невзгоды и был гораздо лучше нас приспособлен к этой жизни. Мы в шутку говорили, что когда все передохнут, то он, Жорж, останется последним живым зэком.

Я полюбил его за неизменную веселость, бодрость и уверенность в себе. Ему было лет сорок. Он имел срок десять лет по седьмому пункту все той же пятьдесят восьмой, то есть был «вредителем». С такими данными он имел все основания загреметь на лесоповал. Но случилось невероятное. Пока нас во время карантина выводили за зону, он завязал знакомство с начальницей второй части, мадам Ткачевой, и доказал ей, что он и приехавшие с ним инженеры наладят производство, увеличат выпуск и прочие показатели. Мехмастерская была в руках стукачей. Обнаглевшие плановик, конструктор, бухгалтер, счетовод, опротивели даже самому лагерному начальству. Поэтому Жоржу удалось их свалить и заменить собой и подходящими малосрочниками из нашего

этапа. Сам Жорж стал плановиком, наш друг Юрий занял место конструктора.

С точки зрения лагерной этики посягать на «живое» место недопустимо. Но тебя будут лишь приветствовать, если ты сумеешь сковырнуть стукача; предприятие, впрочем, довольно опасное.

Конструкторский стаж у Юры был больше моего, он имел значительный опыт и как конструктор был одареннее. Я, конечно, и не претендовал на эту должность. Но Жорж объяснил мне, что начальник недоволен нормировщиком, и я могу занять его место. Эту работу выполнял товарищ по Бутырской тюрьме Борис X, приехавший в лагерь месяца на два раньше нас. Нравы были жестокие. Если Бориса снимут, то через неделю спишут с бригады, и он погибнет на общих работах. Когда меня вызвал начальник, я расхвалил Бориса и сослался на свое незнание данной работы. Жорж и Юрий сумели переломить настроение начальника: Борис остался в мастерской.

Мне надо бы попроситься на станок, я же заявил, что хочу работать слесарем. За эту ошибку можно было поплатиться жизнью. Работа в мастерской велась в две смены, и каждая работала по двенадцать часов с перерывом в тридцать минут. Я попал в ночную и должен был опиливать грани гаек под ключи в 22 и 27 миллиметров при норме 70 штук за смену. Превратив себя в робота, я обрабатывал не более 50 штук. При таком невыполнении мне могли выписать штрафную пайку в 300 граммов, но Борис проводил ежедневно по 600 граммов. Проработав так двадцать дней, я понял, что сил у меня надолго не хватит — я начал «доплывать».

Мне хочется поделиться интересным наблюдением, которое я сделал на вторую или третью ночь. Совершая по одиннадцати часов одно и то же движение напильником, нажимая на него, чтобы снимать требуемые нормой выработки слои стружек, я чисто телесно ощутил переключение к рукам и туловищу питательных соков, до тех пор как-то незаметно шедших в голову. Это противное ощущение я помню до сих пор. Оно было связано с чувством постепенного отупления. Значит, у человека физического труда жизненно важные токи в основном направляются в части тела, участвующие в выполнении ежедневных работ. Это наблюдение, которое может быть проверено в строго научной обстановке специальной ла-

боратории, дает ответ на вопрос, почему при прочих равных условиях люди умственного труда «доходят» обычно быстрее тех, кто постоянно работает физически. Первым для того, чтобы сравняться со вторыми, надо до предела сократить свою умственную деятельность, давно уже ставшую для них второй натурой. Но это надо знать заранее и обладать очень сильной волей, чтобы сразу нарушить многолетнюю привычку. Таких людей мало, и поэтому истощенный человек умственного труда, попадая в обстановку, где от него требуется непосильная работа, не успевает отучиться от привычной мозговой деятельности и некоторое время вынужден использовать питание, грубо говоря, на два потока, тогда как у работника физического труда преобладает лишь один.

Вот как протекала ускоренная гибель людей умственного труда в истребительных условиях лагерей военного времени. Из тюрьмы и с этапа прибывает уже очень истощенный человек. Его ставят на непривычную, непосильную работу, держа при этом на ничтожном пайке. В первые дни расход энергии почти удваивается из-за неведения и неумения решительно перестроиться. Этого оказывается достаточным, чтобы стремительно вывести его из строя. Люди физического труда выходили из строя неделей-двумя позднее. Более полная реакция людей умственного труда на воздействие окружающей среды влияла также на них. Чувства, эмоции тоже требуют своей доли расхода энергии. Отупелое существо находилось в лучших условиях, чем человек легко ранимый, глубоко чувствующий, сильно переживающий. И отсюда — страшное уничтожение образованных и мыслящих людей, особенно в условиях лагерей военных лет. В 1945 году на Воркуте я тщетно разыскивал многих людей, которые прошли за четыре месяца через мою камеру на воркутинские этапы. Но за три года, хотя я имел благодаря тому, что работал инженером, пропуск в ряд лагпунктов в радиусе около 30 километров от города Воркуты, я встретил только одного Бриля, бывшего начальника НКВД в Ташкенте. Об остальных не сохранилось и воспоминания.

Конечно, люди физического труда гибли еще в бóльшем количестве, ибо преобладали численно. Но при прочих равных условиях они были все же более приспособлены к тем жутким условиям и поэтому держались несколько дольше. В условиях зимы 1941/42 года из тюрем

прибывали столь истощенные люди, что многие из них выдерживали работу на лесоповале не больше двух недель — месяца.

О людях, пламенно верующих в Бога и владеющих силой молитвы, надо сказать особо. Закономерности физиологии и физики, естественно, оставались неизменными, но сфера духовности вносила свой вклад, который мог повлиять на самую безнадежную ситуацию, принести исцеление, надоумить, сконцентрировать силу... Эта громадная область ждет своих исследователей, а своим опытом я поделюсь несколько позже, в главе двенадцатой.

В конце второй десятидневной смены я попросил Жоржа перевести меня в электроцех. Что-то помешало, и мне временно поручили быть комплектовщиком на складе автотракторных запасных частей. Дела там было немного. От скуки через недельку я сделал очередную ошибку, начав с жаром изучать книгу по газогенераторным автомобилям, так как страшно соскучился по технике за год вынужденного безделья. Кончилось это так же плачевно, как и во время опиловки гаек. Через месяц такой работы над книгой я не только не поправился, но «дошел» еще больше. И мне окончательно стало ясно, что интенсивная умственная деятельность требует энергию в количествах, вполне сравнимых с теми, которые поглощает тяжелая мускульная работа. Последовал горький вывод: на пайке сорок первого года умственная деятельность должна была заменять физическую и заниматься ею становилось возможным лишь в абсолютно необходимых дозах, не производя ничего лишнего. При изнурительной работе умственная деятельность должна прекращаться, всякое проявление чувств следовало гасить и жить лишь растительной жизнью.

Это открытие, сделанное в собственной «лаборатории», навсегда отвратило меня от общих работ, а хорошая для лагеря специальность механика позволяла быстро от них избавляться, когда меня все же к ним принуждали.

Следует объяснить, кого в лагере называли «работягой», «доходягой», «придурком».

«Работяга» — это сдельщик. Все нормы выработки были чудовищно невыполнимы. Объем выполненной работы не подлежал изменению, и тот, кто составлял, описывал наряды, с фантастической изобретательностью придумывал массу добавочных непроизведенных опера-

ций, дающих возможность считать норму даже перевыполненной. Таким образом, когда сдельщина сохраняла за собой некоторый хозяйственный смысл, а не проводилась в целях явного истребления, она сводилась к оформлению действительно выполненного объема в соответствии с существующими нормами. При этом практически не было разницы между сдельной и поденной работой. Титул «работяги» полностью распространяется и на заключенных, выполнявших инженерно-технические задания.

«Придурок» — это заключенный, работающий в лагерной зоне и имеющий дополнительные источники питания за счет работяг. Нарядчики, учетчики, бухгалтеры, «работнички» комендатуры питались за счет уворованных с кухни продуктов питания, отпущенных для заключенных.

«Доходяга» — это истощенный до крайности работяга. Потеря веса у него более 30 %. Работать он уже не может. Во время периодически производимых медосмотров с целью «комиссовать», то есть выяснить степень пригодности, работяга, обнажая зад, поворачивался к врачу, показывая обтянутые мослы с треугольным провалом в центре. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить степень дистрофии.

Доходяги делятся на две группы: сохранивших человеческий образ и потерявших его. И те, и другие могут быть истощены в одинаковой степени. Но первые держат себя в руках, не теряют воли к жизни, не опускаются на дно; вторые — думают только о еде, ходят грязные, лазают по помойкам, облизывают посуду, готовы сожрать любую гадость, если только ее можно разжевать. Шанс выкарабкаться имели как раз первые, вторые же гибли массами.

Я читал про газогенераторные автомобили и тем временем тщательно обдумывал линию поведения. Времени хватало, чтобы познакомиться со всеми в мастерской. Особенно долго я разговаривал со старожилами. Грозный силуэт лагерной тюрьмы, в которой томились сотни лучших людей лагеря, обреченных на явную гибель, подсказывал самосохранительную мысль: не стремиться быть лучшим, забраться в незаметную норку в мастерской, смешаться с работягами, никак и ничем не выделяться среди них, загасить свой разум, затушить чувства.

Таким убежищем оказался электроцех. Там работали два американских финна — Альберт Лоон и Беня Муртоо. Незадолго до войны их родители-коммунисты с автомобилями, тракторами, сельскохозяйственными машинами и остальным имуществом приехали в Советскую Карелию строить коммунизм. В 1937 году их всех, конечно, посадили как шпионов.

Альберт и Беня были отличные ребята. Любая работа горела в их руках. Они умели все делать, хотя у них не было теоретических знаний. У себя дома, в Америке, в своих мастерских они с детских лет научились паять, лудить, сваривать, мотать. Наш брат и мечтать обо всем этом не мог, за исключением тех немногих, у кого отец был «нэпманом» и имел собственное дело.

Я уже достаточно огляделся, пообвык и свой переход в электроцех сумел организовать прямо через бригадира по заявке мастера. Если бы я там задержался, то, вернее всего, дожил бы до конца своего пятилетнего срока. Года два-три я промучился бы на «воле», а в 1948 году меня снова посадили бы на срок не менее десяти лет, так как Сталин начал в те годы новое «укрепление тыла», которое понимал и проводил не иначе как в виде тотальной посадки вновь за решетку всех ранее сидевших в лагерях. Тогда я всего этого, конечно, не знал. Я думал лишь о том, как бы пережить страшную зиму 1941/42 года. Действуя по моей схеме, уцелели и дожили до конца своих сроков студент Игорь Русинов, кораблестроитель Звенигородский и инженер «Исаак Коган». Под этой фамилией последнего изобразил позднее Солженицын «В круге первом», где увековечил «шарашку». «Исаак Коган» на шарашке, как и в электроцехе, продолжал заниматься зарядкой аккумуляторов.

Белый и голубой

В электроцехе я уже основательно пустил корни, как вдруг в середине ноября меня вызывают в пристройку, где работали конструктор Юрий и нормировщик Борис. Когда я вошел, там были уже плановик Жорж и мастер станочного цеха Василий. Короче, вся «головка».

— Ну как, доволен своим положением? — спросил кто-то из них.

— Лучшего не желаю. Быть работягой милое дело,— ответил я.

— Да ты не обыкновенный, а сверхблагополучный

работяга. Если бы учитывали, как положено, что ты выполняешь за день, то по «общереспубликанским нормам» ты сидел бы на трехсотке. Борис с риском для жизни подписывает ваши «туфтовые» наряды.

— Борис знает, почему он подписывает, — огрызнулся я, — мог их сейчас подписывать кто-то другой.

— Ну ладно, препираться нечего. Бросай кантоваться. В Бутырках, на нарах, ты был смелым, а в лагере запел другое...

— Да что вы от меня хотите?

— В лагере нет муки. На мельнице авария. Неделю или больше заключенные не получат ни грамма хлеба. Привезли состав с ячменем и рожью. Складов нет, зерно сбросили прямо на землю и кое-как прикрыли. Оно начинает преть. Надо незамедлительно его перемолоть. Необходимо срочно изготовить два постава и несколько крупорушек. Один Юрий не в состоянии справиться. Ты — конструктор и должен вместе с ним разработать чертежи мельничного оборудования.

К тому времени я уже очень хорошо понимал, что означает умственное напряжение в условиях доходиловки, да еще когда перестанут давать хлеб. Только Юрий мог оценить, какой хомут на меня набрасывают. Всякое планирование и нормирование — сущая мелочь по сравнению с конструкторской работой. Расход фосфора, который, как тогда считали, необходим для питания мозга, несравненно возрастет. Однако деваться некуда. Откажись, совесть загрызет — станешь убийцей зэков. Страшно подумать об обреченных на лесоповал. Каково им придется — пилить по пояс в снегу в ледяные морозы, да еще без хлеба...

Я согласился, но при одном условии: как кончу, обратно в электроцех.

На следующий день мы начали с Юрием разработку конструкций постава и крупорушки, о которых до этого оба не имели ни малейшего представления. Заключенный мельник, имевший пропуск на бесконвойное хождение за зоной, зашел к нам и на пальцах объяснил суть дела. Мы дали ему задание произвести необходимые замеры и начали «вкалывать», на этот раз отнюдь не по-лагерному. Юрий был природный конструктор, я ему во многом уступал, но в целом работа двигалась успешно и достаточно быстро. Даже в нормальных условиях работа конструктора требует перерывов, а когда голова на-

чинает кружиться от голода — паузы необходимы. Отдыхая, мы беседовали о многом.

Новую струю в разговоры вносил двадцатипятилетний Борис Х., получивший три года за сионизм. В причудливой гирлянде выдуманных дел обвинение, предъявленное ему, звучало как истинное, настоящее. Он охотно рассказывал нам о зарождении этого движения, о его основоположниках. Особое его восхищение вызывал Жаботинский, и поэтому в свою нехитрую обтрепанную одежду Борис ухитрялся всегда ввести сочетание белого и голубого цветов. Он познакомил нас со средневековой историей еврейского народа и гордился своим родом, происходящим из Испании. «Испаниолы», как он называл своих предков, были, по его словам, наиболее одаренными и яркими выразителями еврейской нации, как бы ее духовной аристократией. Борис мечтал о воссоединении евреев на чисто добровольных началах, в национальном еврейском государстве. Все это казалось мне справедливым и правильным, и с 1941 года я стал сторонником сионизма.

В 1967 году я убедился в жизненности и стойкости своих взглядов. Вернувшись летом со своего крошечного садового участка, куда уехал на несколько дней из Москвы, я заглянул вечером к знакомым и застал их за занятием весьма необычным для умных людей их круга — они слушали советскую радиостанцию, передававшую последние известия. Оказывается, уже три дня шла война между арабами и Израилем. Я стал расспрашивать, внимательно перечел за эти дни газету «Правда». Меня здорово забрало за живое, сам того не замечая, я напряг шестое чувство, так как располагал только необъективной информацией. Мои сомнения исчезли: передо мной была картина коалиции всех соседних с Израилем государств, образованной с целью стереть его с лица земли. Я уловил главное: если Насер победит — вырежут всех израильтян.

Египтяне, сирийцы, палестинцы мне не сделали ничего плохого, я их не видел, не знаю и желаю им всем справедливого, достойного и бескровного разрешения конфликта.

«Жестоковыйность»* евреев мне известна. Были у меня среди них и враги. Молодым, я считал их виновными

---

* Исход, 32.9; 33.3.

в победе большевиков в октябре 1917 года. И вот в тот вечер я ощутил надвигающуюся на них беду как свою собственную.

— Я был мал, когда шло уничтожение России и ее лучших сынов...;

— я был юн, полон сил и доброй воли, но гнилое окружение не подсказало мне пути, и я остался в стороне, когда шло уничтожение крестьян, когда громили Церковь. Более того, внешне мое поведение было таким же, как у сторонников зла;

— в расцвете сил, в неволе, я не сумел поднять рабов на восстание и тем предупредить их бесславную гибель;

— и вот, я умудрен, опытен, и снова перед моим мысленным взором надвигающееся массовое уничтожение столь много пережившего народа...

И тогда я сказал себе: «Богоизбранный народ только что потерял шесть с половиной миллионов. Ему угрожает смертельная опасность. Твой долг идти и защищать его от гибели».

Пока не кончилась победой Шестидневная война, я не находил себе места. Но так как после возвращения в Москву для меня одна неволя лишь заменилась другой, я не мог реализовать свое решение.

Теперь я, наконец, на свободе и заявляю:

— если над Израилем снова нависнет угроза уничтожения и рука моя способна будет держать автомат, я попрошусь добровольцем в его армию.

Как мы кормили людей. Призыв Зандрока

Предсказанная бесхлебица наступила в разгар наших конструкторских работ над мельничным оборудованием. Запасы смолотого зерна были ничтожны, и поэтому авария на мельнице и ее четырехдневный простой привели к шестидневному лишению зэков хлебного пайка, ибо нужно было добавочное время на размол зерна, перевозку муки и выпечку...

Даже самый жестокий, но руководимый здравым деловым смыслом хозяин заставил бы в эти шесть дней работать только двоих конструкторов и бригаду ремонтников, обеспечив их кое-каким питанием... Всех остальных некормленых работяг он оставил бы в бараках.

Трудно себе представить рабовладельца, который выгонял бы на работу за шесть-восемь километров от жилья в морозы, пургу, глубокий снег 35 000 истощенных человек, лишив их при этом на шесть дней питания.

Здесь, в Кайских лесах, это черное, дьявольское, эсэсовское дело вершили какие-то незаметные, плюгавые, серенькие, ничтожные людишки.

Быть может, начальник лагпункта Портянов и начальница второй части Ткачева, зябко поеживаясь у себя в кабинете и ни в коем случае не подавая вида, что жалеют заключенных, обменивались скупыми фразами:

— Падеж рабсилы резко увеличится, и это сможет отразиться на выполнении плана лесоповала и лесосдачи...

— Да, но сделать даже при желании ничего нельзя. Без директивы управления я не могу сам отменить работ. На запрос центр ответил, что если лагерь сорвет поставку дров для Пермской железной дороги, то своей головой ответит начальник всего лагеря.

Если так рабски подчинялись власть имущие, то о нижних чинах и говорить нечего. Нарядчики, комендатура, санчасть, военизированная охрана выполняли то, что им приказывали, не рассуждая, а заключенные попадали в душегубку. Вроде все буднично, обстановка повседневная, люди заняты своими обязанностями, выполняя понятные распоряжения: нужны дрова. Но руками этих обыкновенных людишек вершится чудовищное преступление, массовое убийство. Система дьявольская — каждый ссылается на приказ, виноватых нет, значит, все сводится лично к товарищу Сталину.

Казнь на электрическом стуле, как рассказывают, производится несколькими палачами, и каждый из них включает свой рубильник независимо от других. При этом никто из них не знает, кто включил последний рубильник, и может не считать себя убийцей.

Описываемая система имеет много общего с обслугой электрического стула, но есть и существенные различия. По мере возвышения этажей пирамиды сталинской деспотии происходит нагнетание страха сверху вниз. Кроме того, велика роль колоссального количества сексотов, просматривающих большинство щелей жизни. Своими доносами они парализуют возможные иногда движения в чиновничьих душах, направленные на смягчение участи подвластного им населения.

Мы с Юрой вытянули и довершили нашу работу, потому что мельник, дрожавший за свою голову и больше всех заинтересованный в быстрейшем переоборудовании мельницы, сумел на грузовике привезти в конструкторское бюро, то есть в нашу пристройку, порядочный ящик с картошкой. Мы братски поделили ее на пятерых. Каждому досталось килограммов по шесть. Я съел все количество сырым, и так, по примеру Джека Лондона, прогнал цингу.

Больше поделиться мы ни с кем не могли, иначе «заложили» бы мельника. Но для облегчения участи работяг постановили на нашем «производственном совещании» не спрашивать с них никакой работы, кроме деталей мельничного оборудования, и крепко «зарядить туфту» в нарядах, чтобы за эти дни им была начислена максимально возможная пайка. Ответственными за это были в первую очередь Борис, затем мастер Василий. Первый придумывал льготные нормы, второй помогал в описании выдуманных работ. Поэтому людских потерь в мастерской не было. На лесоповале же силы работяг были подорваны, и они выходили один за другим из строя, пополняя число умирающих голодной смертью.

Моя конструкторская деятельность подходила к концу, и я уже начал подумывать о своей норке в электроцехе. Но вот неожиданно из управления приехал заключенный Зандрок. Распахнулась дверь, и вошел рослый, мужественный человек, в ладной, человекообразной одежде. Лицо его было высечено как бы из мрамора, смелые голубые глаза смотрели в упор, на голове — стальной ежик седых волос. В Москве такие люди стали большой редкостью. Сняв шапку, он протянул нам руку: «Зандрок».

Знакомимся. Какие мы были, по сравнению с ним, запущенные, обросшие, грязные! Светский, обходительный, ловкий, он был интересным собеседником, понимающим, с кем говорит, и очень всем понравился. Приехал он отремонтировать крупный дизель допотопной конструкции, у которого при перевозках была сорвана система зажигания. В тайге, почти без книг, без возможности получить консультацию, без образцов — такую работу сделать не просто. И меня сильно потянуло обратно в электроцех. Зандрок очень просто сумел переломить мое нежелание ему помочь.

— Наши товарищи на новом пятнадцатом лагпунк-

те — а там был только лесоповал — сидят без света, у них нет бани, их заедают вши. Мы обязаны прийти им на помощь.

Все было понятно без него, но новым прозвучало «наши товарищи», подразумевалось — «по несчастью».

В разрозненности, разобщенности, взаимном недоверии лагерной жизни остались еще чувства к семье, ближайшей родне и нескольким друзьям. Все остальное было морем вражды, ненависти, предательства... И вдруг в его устах прозвучала давно уже забытая нотка если не чувства братства, то хоть солидарности людей, находящихся в ужасном состоянии. И что-то во мне повернулось. Время страшное, да это только еще начало. Хватит хорониться! У кого короткий меч, подходи к опасности ближе, как требовал кто-то из цезарей в Древнем Риме. А когда я узнал еще, что на «пятнадцатый» попал мой «кореш» из Бутырок, вопрос был для меня окончательно решен. Я стал думать над конструкцией дизеля, и вскоре мы наладили систему зажигания.

Основная проблема была, как кормить людей дальше. Борис взмолился: «Всё до первой ревизии». Василий ему вторил: «Проверить ничего не стоит. Попадемся на двух-трех нарядах и упекут на шесть месяцев на дачу капитана Борисова, а там больше двух недель не протянешь».

Думали, гадали и решили ввести еще подпись контрольного мастера. Все же наряд выглядит как-то солиднее. Правда, если «засыпемся», то вместо двоих умирать на дачу отправят троих. Выбор пал на меня, так как знали мое умение спорить и как-то нагло-уверенно разговаривать с начальством.

На этот раз я не упирался. Так втроем мы кормили людей. Зэки работали, как могли, им выписывалась наибольшая пайка, доходившая после пуска мельницы до 900 граммов хлеба. Наша же пятерка получала по 700 граммов хлеба, нередко пайка падала до 600 граммов, а когда была возможность, подымалась и до 900. Благодаря такой системе к весне 1942 года из постоянного состава мехмастерской умерло всего несколько человек. На лесоповале в то время смертность была почти поголовной. Безвыходность усугублялась тем, что десятники, чтобы самим выжить, налагали на работяг убийственные поборы, заставляя их по очереди «лететь без пайки», а сами ежедневно получали по две. Бригадиры де-

лали это менее регулярно, и далеко не все становились на такой гнусный путь. В мехмастерской не было, конечно, ни одного случая вымогательства. Однако интересно отметить, что простой человеческой благодарности за свое спасение работяги не проявляли. Все принималось как нечто само собой разумеющееся. Никто не сказал ни разу «спасибо» тем, кто ради них ежедневно подставлял свою голову. Более того, когда мы в 1944 году вышли полуживыми из изолятора, никто из работяг, которые в то время достаточно хорошо питались, не предложил нам куска хлеба.

Причина такого поведения лежит в озверении, охватывающем малоразвитого человека, лишенного света христианских заповедей. Хорошее, доброе начало в его душе под влиянием окружающего зверства хиреет, блекнет, исчезает... Самые мерзкие блатные обороты входят в поговорки, оправдывающие их поступки. «Где была совесть, там... вырос», — повторяли они. Волчий закон «Умри ты сегодня, а я умру завтра» применялся к оценке людей и событий. У зэка вырабатывались повадки шакала — поджимать хвост в присутствии сильного, угнетать слабого и тянуть все, что плохо лежит.

Я никак не хочу осудить рабочего человека, доведенного до такого состояния. С него спрос невелик. Отвечают те, кто создал систему массового развращения и уничтожения людей.

Следует рассказать, чтобы создать полное впечатление, и о том, как кормили весной сорок второго года. Оборудованная нами мельница работала всеми поставами и крупорушками, перемалывая сброшенное на землю зерно. Для такого количества муки складов тоже не было, поэтому излишки разрешили скормить изголодавшимся зэкам, и, видимо, высшее начальство не возражало. Убыль в личном составе была ужасающей и приводила к срывам производственных заданий. Началась эра молотого ячменя. Из него готовили тестообразную кашу, густую баланду, запеканки, давали большие пайки хлеба. Но страшная вещь: смертность не уменьшалась, а даже возросла. Оставшиеся в живых зэки были крайне истощены, и им не хватало не только углеводов и белков, но также жиров и витаминов, которые полностью отсутствовали в рационе. Костлявая рука смерти косила с неослабевающей силой. Огромное количество ячменя не усваивалось. Люди покрывались язвами, сви-

репствовала дистрофия, пеллагра, куриная слепота. Было ясно, что выдержат лишь те, кто дотянет до свежей зелени.

Погиб от цинги мой друг по электроцеху американец Беня Муртоо. Я отнес ему единственную луковицу, которую мне удалось достать, но это было каплей в море по сравнению с тем, что ему было необходимо.

Во многие другие лагеря зерно вовремя не подвезли. Вятлагу просто здорово повезло. Он оказался наследником ББк, лагеря Беломорско-Балгийского канала, и после его эвакуации к нам привезли больных, оборудование и неизрасходованное зерно. Выбор пал на наш лагерь, вероятно, потому, что он был на расстоянии двухсот километров от железнодорожной магистрали. Остальные находились, как правило, на гораздо бо́льших дистанциях от жизненных центров, совсем в глуши. Что же творилось в них?!

Голод порождал и некоторые другие явления На лагпункте была масса крыс. Не исключено, что, кроме экскрементов, они питались трупами зэков. Для лагерного начальства проблемой было захоронение тысяч мертвецов. Большие кучи скоплялись, ожидая своей очереди. Несмотря на жуткий голод, крысоедов в лагере, за редким исключением, не было. За все время я столкнулся только с одним. Если бы такие случаи были, то мы обязательно узнали бы о них.

О случаях людоедства мы тоже не слыхали. Лишь однажды, когда один грузчик попал под колеса вагона и ему раздавило грудную клетку, в результате чего легкие каким-то образом отделились от тела и намотались на колесо, они были тут же съедены подбежавшим зэком.

Случаи трупоедства были также единичны. Один трупоед находился с нами в камере изолятора в 1943 году. Его белая, слюнявая, губастая, лунообразная морда была хорошо видна, когда перед кормежкой он подымался с нижних нар, раскачиваясь, опирался на верхние и заводил при этом всегда разговор о жратве. Зрелище было настолько омерзительным, что однажды даже один из блатарей, лежавший против него, не выдержал и ткнул его босой ногой. Вскоре этого трупоеда взяли на психиатрическое обследование. В те времена это могло привести и к освобождению, так как по статье, по которой его осудили, он принадлежал к друзьям режима.

Редкость всех этих явлений кажется необъяснимой

на фоне массового людоедства во время голода в Поволжье, особенно в 1923 году, и во время искусственного вымаривания крестьян при проведении коллективизации на Украине и в других местах. Тогда нередко доведенная до отчаяния мать, задвинув ставни в избе, сжирала в одиночестве собственного ребенка.

Гнусностям помогают покров темноты, ощущение безнаказанности, отсутствие людей, способных поднять падающую душу и повернуть ее к Богу или хотя бы к человечности.

Когда нормального человека доводят до крайнего истощения, то соблазн подлых преступлений и отвратительных пороков все же встречает в его душе отпор, если он поддержан дневным светом, общественным мнением, боязнью позора, наказания...

Жизнь зэков была слишком у всех на виду. Спрятаться и совершать украдкой мерзкие поступки было почти невозможно. Кроме того, хватало людей с пятьдесят восьмой, не потерявших человеческого облика даже в самые страшные периоды.

Что заменяло газовые камеры в сталинских лагерях

Теперь читатель вполне подготовлен к тому, чтобы узнать, что́ в сталинских лагерях, особенно в 1941 — 1942 годах, служило газовыми камерами. В лесных лагерях большинство уже сильно истощенных в тюрьме и на этапе людей убивали работой на лесоповале в течение двух недель — месяца.

Газ там заменялся:

— ничтожным пайком, убийственным и безо всякой работы;

— отсутствием лагерной одежды (каждый оставался в чем приехал);

— абсолютно невыполнимыми в тех условиях нормами выработки;

— расстоянием до места работы в 8—9 километров, которое приходилось проделывать дважды в день, часто по заснеженной целине;

— страшными морозами зимой 1941/42 года, когда температура воздуха была 35 градусов по Цельсию ниже нуля и выше не подымалась; актировок же не производили, то есть выгоняли в любой мороз на работу;

— работой без выходных дней. Единственный передых был, когда вместо леса выводили за зону, чтобы на снегу произвести обыск зэков и осмотр их одежды;

— полчищами клопов, а нередко и вшей;

— холодом в бараках.

Повторяю, двух недель — месяца такой работы было вполне достаточно, чтобы окончательно вывести человека из строя. По истечении этого срока зэк терял остаток сил, не мог уже дойти до делянки, а чаще всего — и выстоять развод. После этого он умирал медленной смертью.

— Это — способ умерщвления людей, во время которого только растягивают муки на месяцы. Смерть от пули не идет ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить многим миллионам погибших от голода. Такая казнь — верх садизма, людоедства, лицемерия.

Голод и голодная смерть как его следствие — постоянные спутники фарисейской советской системы, по своей сути чудовищной, а внешне как бы обыкновенной и вроде обыденной. Поэтому для описываемой эпохи находились оправдания: война, на фронтах гибнут, в тылу тоже голод. Если в лагере создать лучшие условия, чем на воле, то он перестанет устрашать...

Мысленно между рупором этой системы и его оппонентом мог произойти следующий диалог:

— Позвольте, а зачем же заставлять работать, если это приводит к убийству?

— Ну как же, страна напрягает последние усилия. Иначе пришлось бы солдат использовать на лесоповале, и мы бы не вытянули.

— А почему США и Англия не имели ни одного лагеря и никого не уморили?

— Ну знаете, мы ведь в капиталистическом окружении...

Видите, как удобно. Людей обрекли на мучительную в своей неповторимой длительности казнь, но поскольку открытого приказа о залпе не отдано, то и виноватых нет, и людей можно обманывать подходящим к случаю словоблудием.

Только не надо забывать, что за это «удобство» миллионы были втянуты в конвейер смерти и превращены в его соучастников.

Но для режима и это хорошо, так как миллионы замешанных становятся тем самым с ним связанными.

Я не считаю нужным в деталях опровергать подобную

защиту казни голодом миллионов. Достаточно сказать, что такое истребление широко применялось системой и до и после войны [1], и обратить внимание на то, что если у режима, который, по словам его руководителей, все время готовился к войне, на второй ее месяц оказались пустыми склады, население и армия начали голодать, да чем дальше, тем хуже, — то такое правительство не имеет права представлять страну и, если только оно не банда захватчиков, должно само подать в отставку.

Как можно, зная колоссальный груз совершенных режимом преступлений, оставаться его сторонником?!

Глава 5

ВЯТЛАГ ПЕРВОГО ГОДА ВОЙНЫ

(Продолжение)

Как оделось население вокруг лагерей

В лагере было много латышей. С нашим этапом прибыли еще новые, главным образом, высокопоставленные. Это был цвет латышской нации — как по положению и образованию, так и по знанию своей жизни. Основная масса была завезена в лагерь без тюрьмы и следствия, поэтому им удалось захватить полные чемоданы одежды, сала, папирос... Первое время нарядчики их не трогали, так как им было чем откупиться. За лагерным обедом они пока еще не ходили и проводили время, куря длинные папиросы и беседуя друг с другом.

Когда сало кончилось, нарядчики, косясь на их чемоданы, стали вызывать на работу. Тогда в ход были пущены костюмы, пальто, шубы невиданной заграничной выделки и качества. Часть имущества пошла нарядчикам для откупа от работ, а бóльшая — на покупку жира и хлеба. Скоро жители Кайских и окрестных деревень оделись — за кусочки сала, простой черный хлеб — в невероятно роскошные одежды.

Но вот, чемоданы опустели, табак выкурен, запасы давно съедены. Нарядчики, уже без улыбок, зашли в барак, поигрывая «дрыном», и объявили выход на работу. Бедные, не имевшие понятия о голоде, латыши узнали впервые в жизни, что такое норма выработки, пайка, ба-

ланда, а вскоре познакомились и со штрафным котлом, ударами палкой — когда не было сил выйти на развод, а нарядчик считал симулянтом. Уже с ноября страшно было смотреть на синие лица этих живых трупов, когда проходили вереницы латышских доходяг, одетых в когда-то роскошные, в нашем советском понимании, одежды. Пройдя через вахту, они не шли, а брели в лес. Скоро они стали пополнять бараки смертников, где умирали истощенные и обессиленные от голода. Сам дьявол отмерял дозу для медленной мучительной голодной смерти. Это была паечка хлеба в 375 граммов, когда припек достигал 60—62 %, превращая этот кусок во влажную глину. Кроме того, при выпечке к зернам ржи и ячменя подмешивали какие-то суррогаты, ошметки, шелуху, понижающие и без того низкую калорийность так называемого хлеба.

Громадный, могучего сложения латыш Турманис, ростом около двух метров, в прошлом солдат французского или испанского иностранного легиона, лежал уже почти без движения, слегка оживляясь, когда ему приносили паечку. Откусив ее несколько раз и покончив с ней, он погружался снова в небытие. Неудивительно, что в этих истребляющих условиях от этапа в сто зэков через год оставалось в живых два-три человека.

Немалое число латышей попало в лагерные тюрьмы. Дело в том, что они привыкли к европейскому обмену мнений, и стукачи, навербованные из их же среды, сажали наиболее говорливых и откровенных, часто самых лучших, тех, кто выражал резче и безбоязненнее возмущение и гнев.

А из изолятора в первый год войны была одна дорога: ногами вперед. Дизентерия, цинга, пеллагра косили несчастных не менее тщательно, чем на лагпункте.

Зэка Маслов, выдержавший там полгода в начале сорок второго, рассказывал, что блатари, которых время от времени бросали в изолятор за их разбой на лагпункте, мучаясь от голода, иногда ночью душили на нижних нарах какого-нибудь обессиленного латыша только для того, чтобы, приподняв его и придав ему сидячее положение, получить на него крохотную пайку. Порой для этой цели труп держали на нарах два-три дня, так как разложение, протекающее у истощенных замедленно, допускало такое хранение трупа. Когда же больше терпеть было нельзя, они кричали надзирателю: «Эй, начальник, убирай падаль!»

Слава финнам!

На наших глазах погибло множество латышей, цвет нации. Их бесславный конец казался чем-то придуманным и ненужным. По моему тогда уже глубокому убеждению, люди гибнут потому, что не умеют, верней, не хотят друг другу помогать. Поэтому я стал развивать — сначала лениво, а потом с увлечением — тему о том, как следовало вести себя латышам, эстонцам, литовцам во время финской войны.

В 1939 году финны восхитили мир своим героизмом, покрыли себя неувядаемой славой. Барон Маннергейм и руководимый им трехмиллионный народ противостоял Сталину с его двухсотмиллионным населением.

Я удивляюсь, как раньше успевали слагать баллады об одиноком шильонском узнике, когда на всю Европу был десяток поэтов. Теперь же их тысячи, но до сих пор не создана поэма мирового значения, воспевающая подвиги этого изумительного народа. Финны сражались, как спартанцы при Фермопилах, за свою свободу. Потомки должны знать: о линию Маннергейма разбивались волны бездарных атак; хуторяне и охотники, вооруженные винтовкой, лыжами и зорким зрением, отстояли границу протяженностью более тысячи километров; финны привязывали себя к вершинам деревьев и вели оттуда прицельный огонь; раненые, попавшие в плен, срывали с себя повязки... Войну вели простые рядовые люди, проникнутые подлинным доверием к своим военным и политическим руководителям. Они сражались за независимость, за свой народ, против навязываемого им рабства и истребления. Их поведение должно быть изучено и во многом взято за образец.

Три маленькие прибалтийские страны должны были выступить на стороне Финляндии против явной агрессии сталинизма. Ибо после очередного раздела Польши в 1939 году участь прибалтов была решена. Когда кончилась война с Финляндией, Сталин ввел войска к прибалтам. Крупные страны в своей взаимной борьбе бросаются судьбами малых народностей как разменной монетой.

Мыслящим современникам было ясно, что одновременно с разделом Польши был произведен раздел влияний между обоими агрессорами. Правительствам прибалтов это должно было стать известным вскоре после этого

события, поэтому с иллюзиями следовало расстаться сразу, как только Сталин напал на Финляндию. Понимая и зная свою бесповоротную в случае выжидания судьбу, им следовало объявить объединенный протест Сталину о прекращении нападения на Финляндию и провести одновременно всеобщую мобилизацию. Сталин, конечно, двинул бы на них войска, но он это все равно сделал спустя несколько месяцев. Прояви они свою инициативу, не дожидаясь решений обоих агрессоров, не было бы тотального погрома этих наций. Они могли бы отстоять свою независимость, уж не говоря о славе и об истинном величии, которыми покрыли бы себя. Их решение имело бы огромный моральный эффект.

Перспектива отстоять свою самостоятельность открылась бы благодаря упорной одновременной борьбе финнов и прибалтов в их лесах с красными оккупантами. Требование Гитлера Сталину, положившее конец финской войне, распространилось бы и на прибалтов. Слов нет, Сталин при этом, может быть, оттяпал бы себе половину их территории, но то была бы временная потеря. Более того, есть много оснований думать, что лесная полупартизанская война дала бы толчок к созреванию идеи использования заключенных сталинских лагерей. Финны и прибалты в 1939 году не сумели бы подойти к осуществлению этого замысла. Для этого у них не было ни средств, ни сил. Самое большее, что могли бы сделать финны с помощью прибалтов, при некоторой поддержке со стороны союзников, которые помогли бы им слегка отдышаться, это произвести по заданию англо-французских штабов пробный рейд в один из лагерей вдоль финской границы. В тех условиях призыв заключенных к восстанию был бы убийственной ошибкой, так как Сталин после такой несомненно удачной пробы немедленно уничтожил бы половину заключенных. Ставка на заключенных была действенна только в условиях войны между Гитлером и Сталиным и при условии предварительной координации и осторожности.

Один день бригады, имевшей шансы выдержать зиму

На нашем комендантском лагпункте зимой сорок первого года, кроме упомянутой мехмастерской, были еще две относительно благополучные бригады: паровозников

и отчасти вагонного депо. Здесь теплилась жизнь, у находившихся в них была надежда перезимовать.

Нормальный день бригады мехмастерской начинался в четыре часа утра. Подъем возвещали ударами об обломок рельса, подвешенный на столбе. Из семидесяти человек треть выходила в поход за хлебом. Пользуясь преимуществом своего положения, мы сколотили прочный ящик с запирающейся на замок крышкой, к которому были, как к носилкам, приделаны ручки. Пока выдавали хлеб из хлеборезки, восемь человек окружали ящик, затем несли его в барак, а остальные пятнадцать с «дрынами» в руках охраняли его от нападения блатарей. Закон блатарей — «умри ты сегодня, а я умру завтра» — был в свирепом действии. Эта поговорка стала основным смыслом существования каждого блатного. Работать они не хотели и не умели; посылки были отменены с самого начала войны и «обжимать» было некого; кухня, ввиду отсутствия продуктов, подкармливала лишь главарей и их ближайших приспешников, а основная масса «доходила» и «доплывала» на общих основаниях. Наша бригада, благодаря своей некоторой незаменимости для лагеря, а также организованности и неплохому внутреннему руководству, питалась лучше других и представляла собой очаг жизни, на который, как мотыльки на огонь, налетали блатари в неистребимом стремлении выжить за счет других. Наш «мозговой трест» немедленно вырабатывал ответные действия. Так, после первого нападения на наших хлебоносов был сбит ящик с замком и выделен посменный эскорт в 20-25 человек. После этого случая остальные нападения впавших в отчаяние блатарей были безо всякого для нас урона отбиты, тогда как одновременно производимые ими налеты на бригады лесоповальщиков часто оканчивались их победой. Начальство не реагировало на жалобы и лишь разводило руками, но через своих агентов пустило слух, что с ворами должны расправляться сами пострадавшие зэки. Продиктовано это было исключительно необходимостью выполнять план лесосдачи. Каждое такое удачное для блатарей нападение подрывало силы пострадавших, и соответственно уменьшался срок их работы в лесу. А одними своими средствами комендатура не была в состоянии противостоять натиску голодных блатарей.

Когда у работяги отнимали «кровную пайку», то есть кусок хлеба, заработанный сверхизнурительным трудом

в страшных условиях, он зверел, зверели и его товарищи. Почти одновременно на лагпункте вспыхнули суды Линча, или, вернее, упрощенные русские самосуды. Застигнутого на месте преступления вора подымали на высоту вытянутых рук и грохали три-четыре раза спиной об пол. Отбив почки, выкидывали, как падаль, из барака.

Ребята из нашего «мозгового треста» еще в конце сентября 1941 года дали установку работягам не оставлять хлеба в бараке, съедать его либо сразу, либо брать остаток на работу, и таким образом мы избавили себя от свар, склок и самосудов.

Но однажды в декабре, в самое голодное время, почувствовав боль в животе, я совершил недопустимую ошибку, оставив половину пайки в бараке. Придя на работу, я вскоре абсолютно стал уверен, что мой хлеб будет похищен, и целый день сознание вины не покидало меня. Я утешал себя лишь тем, что хлеб мог взять один из дневальных, и тогда мне достаточно было бы промолчать, чтобы не наказывать за свою ошибку другого. Вечером, на обратном пути, я встал в голове колонны заключенных, чтобы одним из первых вбежать в барак. Там довольные собой дневальные показали мне сразу пленника, которого они загнали в простенок между печкой. Это был воришка лет четырнадцати, маленького росточка. Его полные смертельного ужаса глазенки бегали по сторонам. Он прекрасно знал, что его ожидает... Если бы это был взрослый, то мое вмешательство не могло бы помешать самосуду, так как ненависть к блатарям достигла своего апогея. Дневальные подтверждали кражу из чувства самосохранения, так как обвинение легко могло пасть и на них. Их свидетельство заранее решило бы участь мальчишки, но увидев его, я, тоном, не допускающим возражений, заявил, что детей мы судить не станем, достаточно надавать ему по шее. Меня послушались, и напуганный звереныш, ликуя в душе, что так дешево отделался, юркнул за дверь.

Вернемся к распорядку дня бригады. Получив пайку и сбегав за баландой, каждый из нас заряжал себя энергией на предстоящие сутки. В начале шестого выгоняли на развод. На линейке мы строились побригадно, и нас поочередно выпускали из ворот возле вахты. Около шести мы были уже в мастерской, разбредались по своим участкам и приступали к работе. В первую очередь выполнялись заказы «главного удара», то есть требующие

незамедлительного исполнения. Мастерская могла быть подвергнута карам при задержках, а тем более невыполнении таких работ. Все это понимали и работали с напряжением сил, с максимальным старанием и умением. Работяги тоже знали, что их жизнь зависит от нас, а наша — от выполнения главных работ.

Но зато второстепенные работы производились по мере наших возможностей. Как я уже объяснял, сдельщина фактически была устранена и заменена повременной работой, и лишь поэтому весь состав мастерской не был свален, с бирками на больших пальцах правых ног, в ямы, заменявшие братские могилы. Выдержать двенадцать часов без перерывов было невозможно, и руководители мастерской почти не делали замечаний работягам, обращая внимание только на главные работы. Много времени уходило у работяг на сушку «бахи́л» — стеганных на вате чулок, которые нам выдали в эту зиму. Вата в них, вследствие гигроскопичности, втягивала влагу, и ноги начинали замерзать.

В шесть вечера работа первой смены заканчивалась, но до нового развода, то есть до возвращения бригады назад в зону, обычно приходилось еще ждать полчаса-час, а иногда и до восьми вечера. Отбой был в десять. Намучившиеся за день люди, как только получали вечернюю баланду, стремились поскорей забраться на нары и забыться сном. Но не всегда можно было спать спокойно. Два-три раза в декаду нас среди ночи подымали, производили шмон, проверку личного состава или тащили в баню.

«Умри ты сегодня, а я умру завтра»

В лагере велась вечная война «воров в законе» и «сук». Сук назначали комендантами и нарядчиками. Численно сук было немного, но они были облечены страшными полномочиями и, когда начальство уходило по домам, оставались на лагпункте единственной властью в темное время суток этой зимы. Во время нашей конструкторской работы над мельничным оборудованием начальник нашего лагпункта, ответственный за выполнение заказа, надумал, как тогда говорили, «создать условия». Нам предложили переехать из барака в «кабинку», то есть в небольшую комнату с двухэтажными койками. От комендатуры кабинка отделялась тонкой стенкой. Часов

до двух заснуть было невозможно: коменданты-суки истязали своих жертв — воров.

Бить кулаками было неэффективно, ибо надо расходоваться на силу удара, да и кулаков жалко. И главный палач, дядя Саша, внес усовершенствование. Он бил не кулаком, а небольшой кувалдочкой, соответственно соразмеряя силу удара. Истязание попавшихся воров начиналось иногда еще до нашего прихода из мастерской. Но чаще всего экзекуция происходила после отбоя. За стенкой раздавалось: «Дядя Саша, не буду! Дядя Саша, не знаю!» — и ответное: «Говори, падло! Кто маранул? Мишáнька карзубый? Говори, гад!» Затем следовал удар, и снова крик: «Ой, не бей, дядя Саша, не знаю!» Отливали водой, снова лупили, и опять доносилось: «Не знаю, дядя Саша!»

Против блатных я имел большой зуб. Много я от них видел зла. Но справедливость требует сказать, что некоторые из них в застенке дяди Саши держали себя геройски. Умирали, но не выдавали. Двух блатных так и не удалось сломить за ту неделю, которую мы сумели выдержать в кабинке. Оставшийся там дольше Жорж рассказывал еще о случаях, когда кувалдочка дяди Саши была бессильна перед упорством блатаря. Я отдаю должное этим блатным, хотя большинство их, конечно, «кололось», то есть выдавало своих сообщников.

Подавление блатарей было свирепым, но оно помогло нам почти без урону пережить эту страшную зиму. Конечно, спевшиеся друг с другом «суки» заботились лишь о спасении собственной шкуры, сводя счеты с ворами. Но не подвергай они воров столь жестокой расправе, наша самооборона сильно усложнилась бы, и многие погибли бы в открытых схватках с блатарями. За обедом пришлось бы ходить строем не меньше чем вполбригады, и на случай нападения человек десять-пятнадцать должны были бы дежурить каждую ночь. Многочисленные и организованные блатари сумели бы запугать некоторых работяг, а кого-то из них и переловить поодиночке, так как в темноте они были бы хозяевами лагпункта.

«Дача» капитана Борисова

Штрафную «подкомандировку» шестого лагпункта зэки называли «дачей капитана Борисова». Попасть на нее в тот год означало неминуемую смерть.

Обычно когда провинившегося зэка отправляли на штрафной лагпункт, то зачитывали приказ о его водворении туда сроком на шесть месяцев. Во время войны это была чисто символическая цифра, так как, в лучшем случае, выдержать там можно было не долее, чем на обычном лесоповале. Хозяевами положения на штрафной командировке были воры, и привезенного суку ожидала немедленная смерть.

С «фраерами» поступали иначе. В условиях военного времени явное противодействие установленному порядку могло расцениваться начальством как «контрреволюционный саботаж» (58[14]), караемый десятью годами, а иногда и «вышкой». Поэтому воры в законе, не считающие себя обязанными работать, внешне изменили тактику поведения. Теперь они по очереди выходили на объект, делали вид, что трудятся, хотя работу выполняли «фраера», и записывали на себя их результаты. Поголовное истребление «фраеров» было не в их интересах, и работяга сколько-то времени мог все же продержаться. Но когда он сваливался и попадал в барак смертников, то тут уж его лишали пайки безо всякого стеснения.

Жуткий голод и озверение заставляли воров и в других случаях отнимать у «фраеров» хлеб, и это приводило к тому, что обессиленных от работы и бескормицы добивали как симулянтов. Ряды работяг таяли. Тогда ввели правило выдавать хлеб каждому на разводе при выходе из ворот. На время как-то задержали катастрофический падеж. Но ворам отнюдь не улыбалось каждый день выходить в лес, и они сумели поломать и это нововведение.

Пляска на краю могилы

Осенью 1941 года по прибытии в лагерь мы познакомились с одним заключенным, которого арестовали в разгар сталинских чисток 1937 года. Он был моложав, хотя ему было под пятьдесят. Красивые черные выразительные глаза гармонировали с его матовым, всегда свежим лицом. Наш новый знакомый, по фамилии Фейгин, был еврей из Одессы, по профессии клоун, душа общества. В ту пору он заведовал баней и был на привилегированном положении: жил в маленькой комнатке при бане, а не в общем бараке. Фейгину было ясно, что его дожность скоро используют для какого-нибудь доносчика с партийным стажем и заслугами перед режимом, и он подыски-

вал для себя место, где можно перезимовать. Поэтому он рад был знакомству с нами — инженерами из лагерной мастерской. Кроме того, мы были хорошими слушателями и ценителями его клоунских номеров, которые он показывал, когда был в ударе. Мне особенно запомнились песни чекистов-одесситов, которые они пели перед тем, как шли ночью расстреливать людей. Наш друг под заунывную еврейскую мелодию чокался пустым стаканом с пустой бутылкой на столе. Угрюмая, чуть согнутая фигура, хмурое и одновременно скорбное выражение лица, жесты, интонация дополняли представление. Он долго пел и пьянел на наших глазах. Под конец перед нами был пьяный свирепый палач.

В этот год рано наступила лютая зима. Мы пристроили Фейгина в нашей мастерской на должности, не требовавшей никакой специальности: он ведал общим порядком на дворе и в помещениях. Но вот, на его беду, сгорела будка во дворе возле передвижной дизельной электростанции. Искра газогенератора попала в щель стены, и воспламенилась легкогорючая внутренняя обшивка. Никто в этом не был виноват. Но в лагерях под надзором чекистов всякое происшествие воспринималось как происки врага. Преступник, а еще лучше целая антисоветская организация должны были понести суровое наказание. Формально за происшествия на дворе отвечал Фейгин, и руководителю мастерской пришлось назвать его фамилию. Иначе много непричастных людей погибло бы в переполненных лагерных тюрьмах. Кроме того, была у нас зыбкая надежда, что Фейгин как-то выкрутится, так как его хорошо знало лагерное начальство.

Случай помог. В канун Нового года начальство решило себя позабавить и приказало устроить, как тогда говорили, концерт. Зэки единодушно сказали, что без Фейгина ничего не получится. И вот голодные замученные вялые зэки присутствуют на концерте, которым старательно управляет Фейгин. Под конец все оживились. Перед ними был чистильщик сапог — одессит, представитель особой породы людей этого южного города, отличавшегося веселостью, остроумием, находчивостью. В руках Фейгин держал две щетки, на его боку висел ящик. Танец в основном был выдуман танцором, хотя чем-то напоминал теперешний рок-н-ролл. Клоун и танцор слились воедино. Щетки проделывали кругообразные движения, с губ срывались бессмысленные английские фразы,

сопровождаемые временами какой-то мелодией. Я никогда ни прежде, ни позже не видел такого эмоционального представления.

Онемевший зал разразился дружными аплодисментами. Диссонансом явились в ужимках и веселье танца большие черные глаза клоуна, которые молили о пощаде. Вероятно, предсмертная мука проняла даже волчью совесть начальника лагеря: приказ об отправке Фейгина в штрафной лагерь был отменен. И, как верно заметил один мой друг, подействовали не прыжки фигляра, а его взгляд, устремленный безотрывно на начальника. Немой язык души оказался сильнее всех доводов рассудка и словесных просьб.

Зэки — бывшие члены партии

Среди нас были зэки посадки 1937—38 годов. Каждая истребительная кампания имеет всегда главное назначение. За первые годы советской власти уничтожались офицеры, дворяне, рабочие, крестьяне, духовенство, казаки, купцы, заводчики, домовладельцы, чиновники. В годы коллективизации снова взялись за крестьян, духовенство, торговцев, нанесли удар инженерам. Позже перекинулись на партийных работников.

Когда говорят о посадках 1937—38 годов, имеют в виду, главным образом, партийных бонз и всяких чиновников, проводивших до этого «генеральную линию» партии во всех областях жизни. Но сажали в то время по спискам, состоявшим из сорока восьми пунктов, и перечислены там были все недобитые, начиная от служащих царской охранки и членов белых правительств... Поэтому наш брат, простой смертный, во множестве попал и в эту истребиловку. Беспартийные Жорж и Василий из нашей пятерки были посажены именно в эти годы. Первый был блестящим инженером-авиационником, коллегой авиаконструктора Туполева, второй — первоклассным техником по холодной обработке металлов с ведущего харьковского завода. Эти прекрасные люди были лишены каких бы то ни было иллюзий в отношении советской действительности.

Но немало лагерников урожая тех лет, посаженных за партийную принадлежность, оставались верными, как они говорили, своим идеям. Беспартийных они презирали и ненавидели. Жили они в атмосфере предательства, соз-

данной ими самими. Разговаривать с ними было опасно; большинство было тесно связано с оперуполномоченными. Каждый из них считал себя невиновным, жертвой ситуации. Они уверяли, что все закономерно, партия не ошибается, лес рубят — щепки летят... Если вызвали бы любого из них и сказали: «Произошла ошибка, органы разобрались, ты невиновен, будешь освобожден и восстановлен в правах, но партия требует, чтобы ты поработал следователем или шпионом», — то они согласились бы немедленно и приступили бы ретиво, с сознанием собственной правоты и отдавая себе полностью во всем отчет, к осуществлению этого предложения.

Я вовсе не хочу сказать, что все посаженные партийные руководители были трусами и предателями. Но на тех из них, кто не подписывал в тюрьме следовательские выдумки и не давал «материалов», обрушивали град истязаний и пыток, а потом дырявили затылок. Поэтому в лагеря отправляли, главным образом, сломленных, полностью разоруженных, «искренне и чистосердечно» признавшихся в несовершенных ими преступлениях. И эта гниль задавала в лагерях тон с 1937 по 1941 год. По приезде в лагерь мы с этим столкнулись. Но картина начала меняться с первых же месяцев войны, так как происходил подвоз новых контингентов из армии и вымирание старого состава лагеря.

Заключенные, объединенные своей принадлежностью к партии, делились на две группы. Еще в этапных камерах Бутырок в Москве мимо нас за четыре месяца прошла значительная вереница бывших коммунистов. Большинство вызывало симпатию, немногие — резкое отвращение. Первые проклинали Сталина, а немногие из них признавали даже свою вину перед народом. Вторые изображали из себя сталинистов и плели омерзительную ложь.

Первые почти не уцелели: в лагерях я встретил всего несколько человек этого типа. Все остальные бывшие партийные работники принадлежали ко второму разряду. Пережившим первый год лагеря стало ясно, что легко быть хорошим за чайным столом, но очень трудно сохранить человеческое достоинство в условиях, где все направлено на твое попрание и уничтожение. И испытание доктрин, определяющих отношение человека к миру, происходит именно и только в страшных, а не в благополучных условиях. Доктрина коммунизма удобна для

подавления, угнетения и уничтожения простых людей, но одновременно она превращает многих своих последователей в предателей, стукачей, рабов отживших формул, лжецов, трясущихся над своей шкурой, неспособных к протесту и объединению...

Какая смерть страшнее

С сентября 1941 года в лагерь начали прибывать бывшие военные, осужденные на фронтах. В это время в армии расправа была короткая: на ведение следствия времени почти не тратили, и военный трибунал приговаривал, как правило, к расстрелу. Немногим его заменяли на десять лет, и они пополняли состав лагерей.

У вновь прибывших настроение сперва было бравое. В первые дни карантина многие считали, что спасли свою жизнь. Вечером они заходили в барак, именовавшийся клубом, и лихо отплясывали там знаменитый танец военных моряков «яблочко», популярный в послереволюционные годы. Через несколько дней, вкусив сладость работы за пайку на лесоповале под непрерывным мелким дождем, они трезвели, и в клуб их уже не тянуло. Неминуемую смерть учуяли они в надвигавшейся зиме и не обманулись. Позднее, когда в лагерь приехал военный чин для отбора «бытовиков» на фронт, то несколько бывших вояк валялись у него в ногах, испрашивая разрешение вернуться в армию, даже в любой штрафной батальон... Видно, они уразумели истину: смерть от пули и снаряда не неизбежна и милостивее той, что заползает в клетки и части твоего тела и производит там постепенно разрушительную работу, вызывающую неотвратимую гибель.

Вначале мы недоумевали, когда убедились, что военачальники, или, как их тогда снова начали величать, офицеры Советской армии, оказались неспособными руководить людьми. Многолетний опыт показал, что бригадиром может быть заключенный, которого слушаются его собригадники. Для этого он обязан в совершенстве владеть лагерной блатной руганью и в критические моменты уметь водворить порядок в бригаде личным вмешательством, иногда применяя грубые приемы подавления. Он должен также уметь кормить и одевать свою бригаду. Если сам он не обладал достаточными знаниями и опытом, то обязан был держать около себя нужного

грамотного человека. В его обязанности входили: борьба за лучшие объекты работы и более низкие нормы, способность отстаивать неизбежную туфту перед десятником или прорабом, умение давать взятки... Он должен был также оборонять свою бригаду от всего, что не являлось строго обязательным и чего можно было избежать.

Подводник Петерсон долго приставал к нам, объясняя, что всю жизнь работал с людьми, и доказывал, что вследствие этого знает вопросы руководства до тонкости. И вот его поставили на место провинившегося бригадира, старого лагерника из кулаков посадки тридцатых годов. Центральный вопрос — кормление людей и закрытие нарядов — был снят с него, так как решался в то время нашей тройкой. Одеждой ему тоже не надо было заниматься: в лагере тогда, кроме «бахи́л», ничего больше не было. И даже в таких условиях он не смог справиться со своими обязанностями.

С первых же дней бригада загудела. У Петерсона оказались «наушники». В бригаде начали образовываться враждебные группировки. Бригадира перестали слушаться. Он же как-то жалко уговаривал, а обругать по-лагерному, или, как тогда говорили, «оттянуть», — не умел. Свои же командирские способности он проявлял как раз там, где они были недопустимы. Раньше, когда вечером после работы заходил нарядчик и требовал вывести всех на очистку зоны, наш старый опытный бригадир, твердо зная, что данную команду нарядчика выполнять не обязательно, вступал в словесную перепалку, отругивался, как мог, и люди оставались спать. Бригадир же Петерсон, только услышав наглые требования нарядчика, зычным голосом, который теперь у него немедленно откуда-то появлялся, начинал орать, будить работяг и сам старательно выгонял всех из барака.

Недовольны были все и по другим поводам, и со всех сторон на него сыпались жалобы. Надо было бы тогда же снять его, но мы ограничились лишь выговариванием и разъяснениями. Хотя начали доходить слухи, что Петерсон возбуждает работяг против нас, мы на это не обратили внимания и вскоре жестоко поплатились. Он загубил одного нашего товарища, которого нам только-только удалось вызволить из лесоповальной бригады. Этот сильно застуженный, обмороженный зэк обладал большой волей к жизни и, по нашему мнению, должен был выкарабкаться. Но вот однажды ночью, когда при-

бежал банщик, Петерсон, по своему обыкновению, стал выгонять работяг в баню. Несмотря на то, что лежавший в жару больной умолял Петерсона оставить его в покое, этот осел в своем исполнительском рвении приказал ему идти мыться. Через несколько дней наш друг умер от воспаления легких. Мы, несомненно, вмешались бы, если бы присутствовали при этом, но, к сожалению, помещались в то время в соседнем бараке. Бедняга же не догадался к нам зайти.

Это была последняя капля: Петерсон был снят, и, ко всеобщему удовольствию, старый бригадир был восстановлен в своем звании*.

Неспособность кадровых офицеров Советской армии к руководству, даже в качестве бригадиров, была потом подтверждена множеством других примеров. И это дает возможность сделать вывод, что столь разрекламированная до войны «сознательная» дисциплина Красной армии — очередная ложь и агитационный обман. В действительности все было построено на голом насилии и терроре. Офицеру подчинялись не из-за его личных достоинств, а лишь потому, что за его спиной стояла целая машина подавления, и на подчиненного градом сыпались наряды вне очереди, гауптвахта, штрафной батальон, выполнение сверхопасных заданий, приговоры военных трибуналов.

Охота каменного века

В лагере свирепствовал голод. Единственным источником существования был крохотный кусочек хлеба, который мы получали за работу. Два раза по три дня, а один раз в неделю нам совсем не выдали хлеба. Во время этих бескормиц нас все равно выгоняли на работу. Однажды в марте, когда уже начало проглядывать солнце, я рассматривал во дворе мастерской поврежденный станок. Вдруг я увидел, как под колючую проволоку подлезла собака. Вид у нее был усталый, в зубах она держала кусок мяса. Я понял, что в поселке зарезали корову и жители погнались за воровкой. Собака метнулась в наш двор — укромное место, где рассчитывала расправиться со своей добычей. Но ее ожидала новая охота.

* Позднее Петерсона отправили на фронт, несмотря на пятьдесят восьмую статью. Случай на моих глазах — единственный.

Я кликнул своих друзей, а сам схватил железный прут из кучи хлама на дворе. Ребята на бегу подобрали тоже, что кому под руку попало. Вдогонку собаке полетели все эти предметы, и ей повредили задние ноги. Все же она доковыляла до колючей проволоки и пролезла под нижнее заграждение на проезжую дорогу. Выбора у нее не было. Навстречу ей шел наш друг зэк Виктор. Его преступление заключалось в том, что он собирал марки и переписывался поэтому с каким-то иностранным филателистом. Следствие шло больше года. Его обвиняли в шпионаже, но под конец осудили за нарушение монополии внешней торговли, и из политического заключенного он превратился в бытовика. Виктор имел пропуск на бесконвойное хождение и с дороги наблюдал за нашей охотой. Он быстро кинулся плашмя на раненое животное. Собака взвыла, что помогло вырвать из ее пасти мясо. Мы застыли от напряжения: исход борьбы сулил нам невиданное пиршество. Кроме того, нас захватила битва человека и зверя, достойная каменного века. Мы были одинаково голодны и истощены. Виктор стал героем дня. Кусок мяса, вырванный из пасти пса, мы разделили на пять ломтиков. Свой кусок в два пальца я обжарил в печке на самодельном вертеле. Ничего более вкусного я не едал вовек.

Я сохранил в памяти эту картину: собака крадет мясо, зэки вырывают его из ее пасти. До 1917 года наша страна считалась христианской, в двадцатом веке в ней воскресли первобытные нравы.

Лагпункт — обитель смерти

По мере того как люди в лесоповальных бригадах этой зимой стремительно теряли силы, способность работать и двигаться, бараки работяг один за другим превращались в обители смерти. Когда таких несчастных иногда гоняли в баню, это было шествие живых мертвецов. Становилось жутко, когда мы проходили вечером по лагпункту и заглядывали в тускло освещенные окна бараков-могильников: мужчины цветущего возраста валялись обессиленные на нарах, мерзли от холода, отскребались от вшей, отбивались от клопов. Смертность на лагпункте с населением в тысячу человек доходила весной сорок второго до восемнадцати в день. Загубили тысячи

жизней отборных людей. Я никогда не забуду: их вывозили из зоны в особом ящике с крышкой, и на вахте прокалывали затылки, чтобы исключить возможность симуляции и последующего бегства.

Не с целью возбудить мстительные чувства пишутся эти строки и сама книга. Мстить уже некому и незачем. Но совершенно недопустимо не знать и предать забвению эти страшные страницы истории. Именно недопустимо — из-за ответственности за судьбы миллиардов таких же тружеников, которые завтра могут быть обращены в рабство и, в свою очередь, подвергнуты истреблению.

Саморубы

Мне хочется поделиться своими наблюдениями по поводу отсутствия самоубийств в исключительно тяжелых условиях концентрационных лагерей. Чем меньше было надежды у зэков, тем больше проявлялась воля к жизни. У одних это преломлялось в уродливых формах — выжить, только выжить. Любой ценой зацепиться за жизнь. Такие, если позволяла возможность, карабкались по трупам.

Их антиподы стремились пережить, а не выжить. То были стоики, люди с христианским образом мыслей, постигшие силу молитвы и уповающие на Творца. Для них не существовало низких средств. В молитве они укрепляли себя и стремились помочь другим теплым, умным словом, примером своей бодрости, несгибаемостью... О самоубийстве они и не помышляли.

«Саморубы» составляли промежуточную, довольно причудливую прослойку. Так называли доведенных до крайности заключенных, рубивших себе пальцы или сразу всю кисть левой руки. Расправа с ними была свирепая, их судили по статье 58[14], то есть за саботаж в военное время. В первый военный год за это расстреливали, позже стали давать десять лет. Саморубы рассчитывали избавиться от невыполнимой работы в жутких условиях, но начальство легко разгадало их стремление и в ряде случаев им даже отказывали в медицинской помощи, ограничиваясь перевязкой руки жгутом, так как бинтов вообще не было. Впоследствии я встречал уцелевших саморубов, так что, видимо, их замысел не был полностью построен на песке. Для меня же это явление было мерилом ужаса, обрушившегося на миллионы в те страшные годы.

Как быть честным в лагере

В эту зиму закон блатного мира «умри ты сегодня...» действовал не только среди воров и сук, но захватил также вольнонаемных, придурков и часть осужденных по пятьдесят восьмой, стремившихся выжить, занимаясь доносами и клеветой... В их среде каждый ненавидел, боялся другого и во взаимной драке толкал в яму того, кого мог туда сбросить.

И вот в этой обстановке пять зэков, связанных узами товарищей, попавших в беду, противостояли этой формуле. Трое из них добровольно приносили себя в жертву, каждый день подписывая бумажки, дающие питание людям. Делали они это молча из-за опасности, что их могут предать. Они были «контриками», то есть врагами режима, и их терпели до первой возможности замены. Они смогли преодолеть натиск крепко организованных, спаянных кровавой дисциплиной воров, следовавших своей формуле, признанных друзей режима, имевших опыт подавления и разъединения работяг.

К весне осталась в живых жалкая горсточка блатарей, а было их сотни три *. Из семидесяти «фраеров», образующих постоянный костяк мехмастерской, умерло лишь трое.

Дело не в специальности работяг, как может показаться, а в ошибочности воровского закона. Именно его отвергли люди, от воли которых зависело кормление людей. Если бы в руководстве мастерской остались стукачи, которых Жоржу удалось сковырнуть с их мест, то я уверен, что к весне в нашей мастерской не было бы почти половины работяг. В соседнем вагонном депо, где главенствовали стукачи и люди с психологией зэков посадки тридцать седьмого года, убыль была как раз близкой к вышеуказанной.

Соображение, что у воров были страшные враги — суки, в виде комендантов и нарядчиков, а оснований для вражды с «фраерами» мехмастерской не было — верно, но не оно существенно. Смертельная вражда как раз и возникла у сук и воров как следствие их волчьего закона. И те, и другие стремились умереть завтра, а сегодня погубить своих врагов. У нас же, по существу, врагов не было. Мы только оборонялись.

---

* Человек пятьдесят из них отправили на фронт.

Проведенное сопоставление еще раз подтверждает колоссальную силу доброго начала и саморазрушающий характер зла. Если носители добра не менее деятельны, чем их антиподы, то победа всегда останется за ними, и одержана она будет с наименьшими потерями. Только не должно быть ошибок в определении доброго начала. Носитель же его — тот, кто любит ближних и способен на деле приносить в жертву свое благополучие, а если необходимо, то и свою жизнь. Но именно свою, а не чужую. И не во имя будущих химер, а ради ощутимых, понятных и близких простому человеку устоев жизни.

Возможно ли быть честным с этой системой, отрицающей Бога и основанной на порабощении личности?

Безбожие отвергает существование Бога, а также и Божественное происхождение заповедей, данных Моисеем. Но раз так, значит, заповеди придуманы людьми и имеют эпохальное значение. И, следовательно, мораль безбожного общества, выгодная господствующему классу, противоречит кровным интересам порабощенного им населения. Значит, наши морали прямо противоположны. Когда безбожные господа требуют от нас, рабов, правды, мы ее говорить не будем. Такова наша мораль, мораль рабов безбожного строя. Когда господа требуют, чтобы рабы не брали из их господских запасов, мы будем брать. Ибо таковы наша мораль и наше понимание честности. Безбожная выдумка о классовой сущности морали направлена своим острием против тех, кто ее создал.

Мораль, которую народ вынужден был противопоставить официальной морали социалистического государства, способствовала чудовищному распространению пьянства, бытовых и уголовных преступлений, нервных и психических заболеваний, наркомании. Общество, построенное на обмане и лжи, — больное общество. Но в маленьких ячейках этого больного общества, в отдельных микробратствах, как я их называю, где людей объединяет полное доверие друг к другу, сохранилась христианская мораль. Она безусловно претерпела снижение своих требований в нечеловеческих условиях, но сила этой подлинной морали возвышает человека над звериной борьбой за существование. В христианстве — залог нашего исправления и воскрешения.

Глава 6

ВЯТЛАГ 1942—1943 ГОДОВ

Восстание зэков в Усть-Усе

В 1927 году наш учитель географии прочитал нам в классе крошечную заметочку из какой-то московской газеты, в которой сообщалось об открытии экспедицией в Сибири, в районе Саян, нового горного хребта протяженностью в восемьсот километров. И, улыбаясь, он пояснил своим юным ученикам, что в нашу эпоху такие случаи возможны только на территории Советского Союза и на землях близ Южного полюса. Учитель был прав, указав нам на необъятность просторов и скрытых возможностей нашей страны. Я не случайно вспомнил этот эпизод.

Новых подпольных писателей, талантливых, полных значения, но до сих пор неизвестных миру, можно обнаружить в первую очередь тоже в Советском Союзе. У них нет иного выбора, как только ждать своего часа.

Незадолго до моего отъезда на Запад один такой писатель дал мне прочесть главу повести, посвященную уникальным событиям восстания заключенных в Усть-Усе в конце 1942 года, очевидцем которого он был. Позднее в лагерях до нас не раз доходили смутные слухи о происшедшем. Я надеюсь, что западный читатель будет иметь возможность прочесть книги этого писателя, и поэтому осмелюсь здесь, не упоминая имен, подробностей, цифр, лишь слегка осветить эти факты *.

Ужасающий первый год войны, истребивший убийственным голодом и непосильной работой около семи миллионов заключенных, оставил во всех, переживших его, неизгладимый след. В Печорских лагерях второй год войны облегчения не принес. В них царила та же жуть и безысходность. Восстание там было организовано начальником одной из глухих подкомандировок лагпункта, бывшим заключенным-бытовиком, уже отбывшим срок наказания. Штаб восстания состоял из бывших заключенных, главным образом из тех, кто был осужден по пятьдесят восьмой.

* В деталях моего изложения могут быть допущены некоторые неточности, так как рукописи Тунгусова Б. М. из Вильнюса у меня, к сожалению, теперь нет.

Из собственного опыта я знаю, что, когда человек доведен до полного истощения, он становится пассивным: в лучшем случае, может отвечать лишь твердым «нет» на требования, но он перестает быть способным к энергичным активным выступлениям. Поэтому повествование очевидца вполне достоверно, сами зэки тогда не могли поднять восстания.

Связь с заключенными штаб осуществлял через нарядчиков. Начальник дал указание выписывать зэкам максимальные пайки и, как мог, улучшил им остальное питание. В назначенный день в зоне была истоплена баня для вооруженной охраны лагеря — «вохровцев». Когда они зашли, разделись и стали мыться, баню заперли снаружи. Начальник и его помощники, надев форму вохровцев, разоружили оставшуюся охрану в казарме и на вышках вокруг командировки. Захваченное оружие, боеприпасы, полушубки и валенки были розданы надежным зэкам. Жертв не было.

Затем отряд походным маршем двинулся на Усть-Усу, где находилось управление Печорских лагерей. По дороге они зашли в близлежащие лагерные командировки и благодаря тому, что были обмундированы, как вохровцы, с ходу, без боя, захватили оружие, продовольствие. Часть заключенных присоединилась к ним. Утром они подошли к поселку и ворвались в центральную казарму вооруженной охраны лагеря. Разгорелся первый бой. Зэки знали, что пощады не будет, и сражались как львы. Власти не растерялись, начали стягивать силы, и небольшой отряд зэков оказался под угрозой окружения. Тогда начальник отряда принял решение пробиться через гущу лагерей, освобождая попадающиеся на пути лагпункты, и обрушить всю лавину на Кожву, где лагерей тоже хватало. Несколько лагпунктов удалось освободить, но расчет не оправдался. Пополнение было незначительным. Голод и истощение оказались союзниками режима. Повторилось то, что приводило в отчаяние стольких заключенных: нежелание этих физически измученных и деморализованных людей начать активную борьбу. Внедряемое во все стороны жизни безбожие порождало внутреннее духовное бессилие и неверие в свои возможности. Нужны были сильные призывы, могучие воззвания, чтобы всколыхнуть эту массу.

Тогда приняли решение выбрать наиболее выгодную

позицию, свезти туда запасы боеприпасов и продовольствия и подороже продать свою жизнь.

Две недели заключенные доблестно отбивались от местных вооруженных сил и переброшенных регулярных воинских соединений. Начальство не на шутку испугалось опасности образования Северного фронта. На подавление восставших были брошены самолеты «У-2». Гул стрельбы докатывался до Усть-Усы.

Морозы крепчали. Приходилось с большой осторожностью разводить огонь, дабы он не послужил мишенью противнику. Но атаки непрерывно отбивались. Уложили уйму солдат, но и почти все зэки были перебиты. Боеприпасы иссякли, и тем са́мым был решен исход боя. Оставшаяся горстка героев решила покончить с собой. Последним застрелился начальник отряда.

Я называю их героями, ибо они доказали, что

— человек не может быть превращен в скотину, с которой расправляются как хотят;

— нельзя уничтожать безоружных людей;

— нужно давать отпор людоедам и создать международное объединение против носителей зла, находящихся в состоянии преступной активности.

В первый год войны уничтожили больше семи миллионов [2] заключенных. У переживших эту трагедию нет отечества. Оно должно быть завоевано.

Красный террор в лагерях

После подавления восстания в Усть-Усе из центра была спущена директива: обрушить на лагерников новый террор чекистов. Позднее, из разговоров с заключенными других лагерей, стала ясна картина параллельной фабрикации одноименных крупных лагерных дел с тождественным обвинением в подготовке вооруженного восстания. «Преступление» каралось расстрелом или — при смягчающих обстоятельствах — десятью годами (статья 58 [2]).

Террор, то есть запугивание и подавление людей, осуществлялся:

— всеми средствами информации, пропаганды и специальной агентурой;

— непрерывными арестами, в первую очередь наиболее ценных, лучших и нужных населению людей;

— бесчеловечным ведением следствия;

— произвольным осуждением, когда законы — лишь средство оформления заранее принятых решений;

— широким применением внесудебных расправ по постановлениям так называемых «троек» или «особого совещания»;

— расстрелами;

— заключением в тюрьмы и отправкой в лагеря;

— уничтожением голодом, непосильным трудом, искусственно создаваемыми эпидемиями...

Раньше оставалась еще иллюзия, что терроризм — необходимое следствие борьбы за власть и годен как мера ее удержания во время обостренных столкновений. Но творец этой уродливой системы, незадолго до своего полного безумия, провозгласил «террор как метод убеждения». Бред этот пустил корни, так как Ленин не ошибся в одном: глубоко отвратительный для подавляющего большинства строй мог держаться только на непрерывном терроре. При этом террор никого, конечно, не убеждал. Но он устрашал, принуждал, развращал и ломал людей.

В условиях свирепствующего террора чекисты стремятся бросить в свое адское варево любого выделяющегося и потому потенциально опасного человека. Этому способствуют также зависть и обиды подчиненных, неизбежно возникающие из-за рабочих замечаний и требований.

Оперативно-чекистский отдел Вятлага пек много лагерных дел и раньше. С начала же войны, во исполнение тайных инструкций и по собственной инициативе, чекисты придумали вереницу мелких и средних, по числу втянутых жертв, дел с обвинениями в пособничестве врагу, в антисоветской агитации и в повстанческих намерениях. Вместо пыток, избиений, «бессонных конвейеров» они стали морить людей голодом, доводить их до состояния прострации, убивать цингой, дистрофией, пеллагрой... Изоляторы были переполнены, оттуда в лагерь почти не возвращались. В дьявольские лапы чекистов мог попасть каждый. Атмосфера террора была в несколько раз сильнее, чем даже в 1937—38 годах. Всякий, кто по своему служебному положению выделялся из общей толпы зэков, мог считать себя обреченным. Мы понимали это, но кто-то должен был тянуть воз и создавать условия, необходимые для существования заключенных. Во всяком случае, тогда многие из нас так думали.

Каким образом я наладил военное производство

Гениальный, оторванный от жизни одиночка может сделать очень много, и технические успехи как раз держатся на таких личностях, но общий стиль либо тянет показатели достижений вниз, либо не дает им должным образом подняться вверх. Поэтому советская система неизбежно отстает в своем развитии.

Как ни странно, но все пережитое, увиденное, услышанное еще не успело изменить моей старой установки: «Работаю добросовестно, но думаю, как хочу», и лишь после лагерной тюрьмы я смог преобразовать эту формулу, запретив себе участвовать в решении крупных задач, способных укрепить террористический режим. Но в Вятлаге я еще не разобрался до конца и своими действиями способствовал поддержанию сталинизма.

Зимой первого года войны я добросовестно трудился и не задумывался над результатами своей деятельности. Будучи контрольным мастером, я подписывал туфтовые наряды. Но во всех достаточно ответственных случаях, когда принимал действительно выполненные работы, я «ловил микроны», то есть производил тщательные измерения микрометрами, индикаторами, миниметрами, штихмассами... вникал во все детали, добивался необходимых ремонтных размеров, чистоты обработки, заменяемости, подгонки и других показателей. Короче, был воплощенной требовательностью. Все это было необходимо, чтобы оградить мастерскую от нашествия ревизий. Жалобы на некачественные ремонт и изготовление изделий были опасны, так как иногда посылались также в оперчекистский отдел и служили материалом для обвинения во вредительстве. На выполнение своих обязанностей я затрачивал в среднем часа три в день. Инженерное дело я любил с малых лет, выбрал эту профессию по призванию, и любовь эта не иссякла в течение всей моей жизни. Поэтому неудивительно, что, когда с начала сорок второго года произошло чисто количественное увеличение питания, я постепенно начал втягиваться в интересовавшие меня инженерные работы.

Первое время я помогал Юрию в части самого конструирования. Но вскоре пришел приказ из управления, как всегда в то время срочный, о немедленном ремонте оборудования мастерской. Выбор, естественно, пал на меня, ибо порученный мне до этого участок работы, где я

отвечал за качество изделий, требовал исправных станков. Таким образом, я стал «инженером по оборудованию», что соответствовало должности главного механика на нормальных предприятиях. Выбрав двух лучших слесарей в свое звено, я стал с ними определять степень сработанности станин, направляющих станков и шпинделей, устанавливая ремонтные размеры, величину расточки и строжки в суппортах, задних бабках и клиньях. Я даже стал сам производить шабровку. Но тут мои друзья провели со мной «воспитательную беседу», запретив мне подменять слесарей. Доводы их были неотразимы: своим поведением я создавал недопустимый прецедент. Слишком много усилий было затрачено, чтобы доказать начальству важность и незаменимость инженерных знаний и опыта. Вследствие своей серости они ненавидели «образованных», а в отношении осужденных по пятьдесят восьмой их действия отличались специальной направленностью. Они охотно свели бы всех инженеров до уровня простых рабочих. Такие попытки не раз делались. Инженеров снимали на общие работы и заменяли бытовиками и уголовниками. Но после этого, как правило, взрывались котлы, останавливались «отремонтированные» автомашины и тракторы, выходили из строя электростанции, наступал полный паралич производства — и инженеров возвращали на свое место. Поэтому нельзя было снижаться до уровня слесарей, необходимо было отстаивать условия работы инженера.

Нередко Борис, который время от времени заменял Жоржа, обращался ко мне, когда станки были не загружены, и я снабжал его чертежами и образцами, по которым станочники воспроизводили необходимые для ремонта оборудования детали: валы, зубчатые колеса, шкивы, шпиндели, крепеж... В целом за полгода мы очень неплохо отремонтировали станочный парк и даже часть станков, вывезенных из мастерской ББк. И вот, сам того не ведая, я подготовил возможность быстрого перевода нашей мастерской на выполнение военного заказа.

Инженер Линдберг был виноват не менее меня, так как сумел наладить в мастерской выпуск необходимых инструментов: сверл, райберов, зенкеров, фрез, контрольно-измерительных пробок и скоб. В тех условиях это оказалось возможным потому, что, кроме неплохих инженеров, были первоклассные станочники и слесари с лучших ленинградских, харьковских и других заводов. Так, мой

слесарь Кондрат был с Харьковского электромеханического завода, старый многоопытный термист Савицкий — с Балтийского, а в распоряжении Линдберга были два токаря с Путиловского, один из которых, Зверев, был многократным повторником, то есть уже который раз отбывал срок за поддержку «рабочей оппозиции» Шляпникова в 1921 году.

Какой невыразимой ложью и издевательством смердит от саморекламы сталинской деспотии как «рабоче-крестьянской власти»! В тюрьмах и лагерях я тесно общался не менее чем с сотней старых рабочих. Всех отличала ненависть к режиму, так как советская власть не только ограбила рабочих, превратив в полурабов, но еще и обесчестила, творя от их имени все свои гнусности и преступления.

Если бы Линдберг не наладил изготовление инструмента, а я не отремонтировал станочный парк, то приказ управления о наладке выпуска хвостовиков сухопутных мин повис бы в воздухе как невыполнимый. Точнее, если выпуск и начался бы, то не раньше чем через полгода-год.

Для выполнения военного заказа на управленческом пятом лагпункте было срочно построено деревянное здание каркасно-засыпного типа. Переброска оборудования была мною организована таким образом, что снятый из старой мастерской станок уже через сутки начинал работать на новом месте. Обычно, при советской неразберихе, так быстро производство не налаживалось: все были поражены и предсказывали мне досрочное освобождение. Невольно и неожиданно для себя я стал первым лицом, так как, оставаясь главным механиком, из контрольного мастера превратился в начальника отдела технического контроля. Кроме того, в ходе организации пооперационного контроля я взял в свои руки все вопросы по станкам и участкам.

Для обеспечения бесперебойности работы мне и еще нескольким инженерам выдали пропуска на бесконвойное хождение. Начальник управления лагеря майор Левинсон почти каждый день заходил в мастерскую в мой отдел и, обращаясь ко мне, задавал один и тот же неизменный вопрос: «Как с выполнением плана, Панин?» Дело в том, что военная продукция считалась принятой только после того, как военный представитель поставит

на каждой детали свое клеймо. Начальника интересовало только, сколько принято готовой продукции. Если цифра превышала план, он молча уходил, в противном случае требовал объяснения. Жалея свое время, он редко вызывал начальника мастерской и технорука. Они же были рады не попадаться ему лишний раз на глаза.

Во время войны о досрочных освобождениях, несмотря на прогноз моих товарищей, было не слышно, так что с высоты, на которую меня занесло не без моих стараний, оставался один путь: вниз, в пучину штрафного лагпункта, в подвал Кировской тюрьмы, где производились расстрелы.

Я превратился в заметную шестеренку местного советского механизма и за любую неисправность был в ответе... Долго так продолжаться не могло. Но пока что мне хоть удалось использовать свое положение, и я сумел вытащить с лесоповала более десяти мыслящих по-нашему ребят с техническим образованием. Один из них был переведен даже со штрафного лагпункта, в чью пасть он было угодил. Но однажды я ошибся, выхлопотав с отдаленного лагпункта по чьей-то рекомендации Щербу. Оттуда вскоре передали, что он отпетый стукач, и друзья стали меня упрекать. Поначалу я вспылил: «Вы все теперь за моей спиной устроились, на меня же все шишки валятся. Я везу такой воз, что вам и не снился, а вы не могли даже проверить рекомендации...» Но деваться некуда: взял стукача — избавляйся от него сам, тем более что он в твоем отделе.

Я заметил, что, когда выхлопатывал у начальника управления перевод ряда заключенных с лесоповала в свой отдел для использования их в качестве контролеров, он был как-то несвободен в своих решениях. Одним он быстро подписывал перевод, за других приходилось просить по нескольку раз. Позднее нам стало известно, что начальник управления был, выражаясь по-лагерному, на крепком «крючке» у начальника оперативно-чекистского отдела лагеря Шарова, то есть в какой-то мере от него зависел. Дело в том, что тот накопил «материал» на многочисленную родню Левинсона, приютившуюся в его сатрапии. История была весьма типичной для советской системы. Я понял, что, хотя Левинсон относился ко мне если не с симпатией, то с явным деловым доверием, — окажись в руках Шарова донос, даже начальник управления ничего не сумеет и не захочет сделать, чтобы со-

хранить меня на месте. Вскоре я окончательно в этом убедился.

Механических ножниц в мастерской не было, и заготовки хвостовиков отрезались на токарном станке системы Леман. При этой операции образовывался ровный торец и одновременно производилась центровка. Станок обеспечивал программу. Начальник технического отдела управления лагеря Евко, бывший чекист, человек крайне ограниченный, приказал перетащить во двор мастерской крупный ручной пресс, вывезенный в свое время с остальным оборудованием из ББк, и перенести на него — и в этом состояло «рационализаторское предложение» — операцию отрезки заготовок. Начальник мастерской и технорук боялись его, как огня, и не перечили капризу. Кроме того, они рассчитывали на меня, зная, что по долгу службы я не могу не вмешаться, когда происходит ломка технологического процесса. Кретинизм предложения Евко был вполне ясен, и я решил выждать, полагая, что такое новшество провалится в ходе его проверки. Испытание рационализаторского предложения меня не касалось, но я вынужден был своей властью запретить эту недопустимую операцию, когда увидел воочию, как вызванные восемь работяг бегают, разделившись поровну, с каждой стороны длинной рукояти, чтобы привести в движение пресс, с треском рубящий заготовки. При резке на станке снимался в стружку поясок металла шириной в пять миллиметров. При рубке происходила порча куска в тридцать-сорок миллиметров, так как получалось искривление оси заготовки, и торец выходил рваным. Его все равно затем приходилось торцевать. Операция лишь переносилась на другой токарный станок, причем возникавший от удара наклеп «съедал» резцы, и их приходилось чаще затачивать.

Так как процесс производства был к тому времени уже хорошо налажен, я смог даже заниматься сверх военных заказов выполнением гражданских. Как-то я задумался, проверяя контрольные шаблоны для сварных самодельных плугов, и вдруг увидел перед собой перекошенный рот какого-то мелкого взбесившегося животного.

«Вы знаете, что в мастерской появился вредитель по фамилии Панин?!» — прокричало оно в упор.

Я не сразу даже сообразил, что это Евко, но мгновенно в этой обстановке, где промедление смерти подобно, ответил:

— Вы не ошибаетесь, сейчас в мастерской действительно находится вредитель, только фамилия его Евко. Ваше рацпредложение с этим идиотским прессом — прямое вредительство. Я докажу это любой комиссии экспертов. Более того, в военное время вы нарушили технологию на оборонном объекте, и иначе как саботаж это расценено быть не может. Схема производства подписана и утверждена начальником управления майором Левинсоном, и я, как начальник ОТК, напишу рапорт в управление, а копию направлю в государственный комитет обороны.

Победа была одержана, но на душе остался осадок. Ощущение не прошло и на следующее утро после беседы с Левинсоном. Со свойственной мне в те годы решительностью в разговорах с начальством я потребовал прекратить чье бы то ни было вмешательство. В свое время, сразу по окончании наладки процесса, я уговорил Левинсона подписать и тем самым утвердить технологию производства хвостовиков мин. Теперь это говорило в мою пользу. Но вид у Левинсона был какой-то усталый; вроде он был согласен со мной и подтверждал, что я прав, но лучше, если бы происшествия не произошло. Я окончательно понял, что перед чекистским отделом он защищать меня не будет.

Безнадежность моего положения была очевидна, и говорил я со скрытым отчаянием. Зыбкая почва под ногами была у меня, пока работа, благодаря моим усилиям, шла бесперебойно. Но земля могла расступиться в тот день, когда чекисты, по своим соображениям, решили бы меня арестовать и «пришить» политическое дело. В таких случаях любые производственные успехи могли посчитать «маскировкой»; такая формулировка часто тогда была в ходу.

Как следовало вести войну

С зимы сорок первого и вплоть до начала сорок второго возле депо первого лагпункта стоял неподвижный, полностью экипированный паровоз и всегда пыхтел парами, готовый при первой опасности немедленно эвакуировать высшее начальство и оперчекистский отдел. Он символизировал для нас бегство сатрапов — вершителей наших жизней; служил символом конца их людоедского ига и начала свободы.

Но свободы мы так и не дождались. Немцы заняли Киев, но русское временное правительство создано не было. Нам стало ясно, что Гитлер не освободитель, а захватчик. Но когда до нас дошли достоверные сведения очевидцев о том, как Гитлер морит голодом сдавшихся в плен и в большинстве своем не желавших воевать солдат, и о том, как немцы творили зверства над мирным населением, — мы зачислили его в каннибалы.

Надежды наши рухнули, задача спасения России осложнилась. Велись споры, требовались новые размышления...

Военная наука построена на разборе сражений и операций, которые всегда потом тщательно изучаются с точки зрения возможных решений. При этом вскрывают допущенные ошибки, изыскивают лучшие и верные стратегические и тактические планы.

Ужасы второй мировой войны давно забыты, и новое поколение уже успело стать взрослым. Но в то далекое время мы — рабы в условиях деспотии — искали выход из тисков рабства и воспринимали войну как возможность освобождения не только нашей страны, но и всего мира от чудовищной опасности, таящейся в существе коммунистического режима СССР.

Поэтому я заранее прошу читателя извинить меня и быть терпеливым. Я не могу не поделиться мыслями, которые занимали тогда многих ищущих людей. Мы не строили воздушных замков. Ни я, ни люди схожей со мной судьбы не сомневались в реальности вариантов, которые я попытаюсь изложить на последующих страницах.

В двадцатом веке, с ростом численности населения, промышленности, вооружения, а также в связи с концентрацией носителей отрицательного начала, появились элементы неуправляемых сил разрушения. В девятисотые годы многие правительства делали судорожные усилия, чтобы загасить ряд возникавших конфликтов. В 1941 году этого достичь не удалось, а если соглашение и было бы достигнуто, на том этапе это было бы временным решением, и через несколько лет неизбежно все началось бы сызнова. Старая система равновесия между государствами устарела и не была в состоянии оградить мир от разрушительных сил. Государственные деятели практических выводов из этого не сделали. Тогдашние, как они себя называли, реальные политики входящих

в Антанту стран с потрясающей силой продемонстрировали устаревшее мышление на отношении к Белой армии в России во время гражданской войны 1918—1920 годов и к возникшему впоследствии коммунистическому режиму. Находясь в плену отживших представлений, они загубили Белое движение, полагая, что таким образом ослабляют Россию и укрепляют свои позиции. В то время они не сумели понять гигантской опасности немедленно налаженной и пущенной в ход машины массового террора, закамуфлированной ложными лозунгами о коммунизме и счастье трудящихся. Это привело к абсолютной власти над жизнью людей на одной шестой части земли и к угрозе закабаления народов всех остальных континентов.

У Запада были две крупные возможности покончить с народившимся коммунистическим режимом:

— не препятствовать намерению немецкой армии генерала Гофмана задавить его в зародыше в 1918 году;

— подвезти Белой армии оставшиеся от мировой войны снаряды, пушки, стрелковое оружие, патроны, а главное — не мешать ей.

И с антинародным режимом было бы покончено.

Быть может, на первых порах ошиблись, не разобрались, но из России бежало свыше миллиона человек, в большинстве умудренных и образованных, и недопустимо было не учесть их опыт. Мало того что голос их не был услышан: чтобы не потревожить свою совесть, Запад еще всячески поносил их за принесенную ими правду и предупреждения.

Запад обратил внимание на книгу верхогляда Джона Рида, описавшего лишь митинги и заседания. Но люди не поверили отважному английскому разведчику Сиднею Рейли, не раз спускавшемуся в самую преисподнюю, все прекрасно познавшему и перечувствовавшему...

Концепции государственных деятелей укладывались в прокрустово ложе стандартных опасений парламентской оппозиции, обличительных статей в левой печати и поражений на предстоящих выборах. Подобные установки хороши для решения многих жизненных проблем, но неприемлемы, когда речь идет о существовании человечества. Во имя избавления от надвигающегося бедствия, чреватого колоссальными для всего мира разрушениями, не нарушая принципов демократии, важно, чтобы решение не зависело от большинства голосов, партийных

дрязг и было бы вне давления масс избирателей, так как им ситуация неясна или объяснена превратно и, следовательно, угроза непонятна.

Государственные деятели тогдашних европейских государств начали понимать угрозу красной диктатуры, лишь когда ее агентура приступила к планомерной разрушительной работе под самым носом демократических правительств. Но договориться ни о чем друг с другом они не смогли и произносили лишь самоуспокоительные фразы. На их глазах произошел погром традиционной формы правления, зародилась хищная, кровавая система воинственного безбожного империализма, непрерывно истреблявшая людей и натачивающая ножи против всего мира, а на Западе даже не было создано солидных центров по изучению методов борьбы с ней. Все пустили на самотек, хотя каждый был не прочь, чтобы этому режиму свернули шею. И время, когда деспотию Сталина можно было сокрушить средствами сравнительно небольшой войны, было упущено. Я имею в виду 1929-1933 годы, когда проводилась коллективизация и уничтожались крестьяне. Тогда можно было:

— объявить ультиматум об открытии границ, чтобы западный мир мог беспрепятственно спасать убиваемых голодом крестьян. В случае отказа — провести морское сражение в Черном море, с уничтожением сталинской флотилии, высадив одновременно десанты в Одессе, Севастополе, Новороссийске, Батуме;

— широко объявить, что война ведется с целью освобождения от кровожадного режима;

— кинуть сильные соединения авиации, которые поддержали бы продвижение танковых соединений и пехоты. С воздуха тоже провести агитационную кампанию, обращая призывы к красноармейцам, крестьянам, рабочим и другим слоям населения;

— установить связи с очагами восстаний и снабдить повстанцев оружием, боеприпасами, провиантом. Тем же — помочь партизанам.

На территории всей страны непременно заполыхала бы гражданская война. Красная армия, состоящая из крестьян, начала бы разваливаться. И за год-полтора со сталинской деспотией было бы покончено.

Правда, это были уже не 1919-20 годы, когда союзники могли вообще не посылать ни одного солдата. Теперь пришлось бы на первых порах выставить армии чис-

ленностью до двух миллионов человек и понести соответственные потери. Но Запад спас бы российские народы от гибели и рабства. Это была бы одна из самых блестящих войн, которая вошла бы в историю как исполнение высокого долга помощи погибающим, как светлая освободительная война христианских народов против безбожного рабства, уничтожившая гнездо международной заразы и разбоя. Нацизм после этого не имел бы почвы для победы или был бы искоренен в корне.

Момент начала войны был бы исключительно благоприятным для Запада и по причине разразившегося именно в 1929-31 годах страшного экономического кризиса перепроизводства. Сама идея войны была бы популярной, так как содействовала бы стремительной его ликвидации. Толпы безработных и масса неизрасходованных материалов были как бы специально выделены для этой цели.

Надвигавшуюся новую мировую войну, с ее гигантскими потерями и никем не предвиденными катастрофическими результатами, можно было бы предотвратить. Новая Россия, конечно, с великой благодарностью возместила бы затраты. Кроме того, Запад получил бы немалый рынок сбыта.

Все это, кроме появления нацизма и атомных бомб, было ясно даже нам, молодым людям тридцатых годов, и нас удивляло, что в западных генштабах эти возможности не учли и не реализовали. Увы, лишь одиноко прозвучал дошедший тогда до нас призыв папы Римского о крестовом походе молитв...

Мы, молодые люди тридцатых годов, хорошо знали обстановку в своей стране, но Запад представляли как единую цельную логически действующую схему.

На Западе много писалось о желательности драки между Гитлером и Сталиным. Естественно, это приветствовали и мы. Ясно было, что ради этого Запад шел на многие уступки, вплоть до Мюнхенского соглашения, по которому Гитлеру была отдана Чехословакия. Но для реализации схватки между двумя деспотами нужна была общая граница, и с позиций Мюнхена непонятно, почему решили пожертвовать Чехословакией. Когда из-за нападения Гитлера на Польшу образовалась общая граница, многие решили, что война с Советским Союзом не за горами — народ был убежден в ее неизбежности.

И вот Гитлер напал на Сталина. Черчилль, который за свою долгую жизнь не раз декларировал, что он борец против коммунизма, и даже обещал вообще покончить с ним, немедленно бросился к Сталину, заключил договор, а затем они вместе с Рузвельтом буквально спасли этот чудовищный режим. Причина в том, что союзники доверились отжившим концепциям о коалициях, стремились обязательно сразу скрепить договоры, забыв, что оба деспота дали наглядный урок своего отношения к подписям.

Ведь Запад знал, что Гитлер завоевывает, а не освобождает, морит миллионы сдавшихся без боя пленных, истребляет население, и в будущем неизбежна его война с русским народом. Но, в плену обветшалых установок, Запад предпочел союз с деспотом, чудовищным рабовладельцем, и не понял возможности опоры на освобождающегося колосса, на распрямляющегося гиганта. Можно подумать, что государственные деятели обучались по книгам, написанным во времена, когда солдаты ходили в атаку сомкнутым строем и носили напудренные парики. Мудрым, смелым решением Запад смог бы покончить с обеими деспотиями и избавить человечество от кошмаров, появившихся в результате наиболее ужасной спасенной им диктатуры, с ее экспансией терроризма, угрозой атомной и ракетной войны...

Поверив Сталину, руководители союзников стали жертвами его обмана и шантажа. Теперь он вымогал из них все, что ему было нужно, — приобрел таким путем смежные территории и пол-Европы, установил коммунистический режим в Китае и нескольких азиатских странах. После так называемой победы, больше похожей на поражение, западные правители спешили скрупулезно выполнять все пункты Ялтинской и прочих конференций, подписанных без отчетливого представления о вытекающих из них последствиях. Сталин подсовывал в статьи все, что ему особенно было нужно, а его партнеры, преследуя только свои интересы, механически подписывали пункты, которые к ним не имели прямого отношения. В результате была проведена позорная акция выдачи Сталину советских пленных, власовских и других воинских соединений.

Все говорит о том, что союзники были плохо осведомлены об отношении российских народов к режиму Сталина, а сами не имели помыслов вести с ним борьбу.

Я думаю, теперь станут более понятными мысли русских людей тех лет.

Наступление в 1941-1942 году шло на южных направлениях, северные фронты стабилизировались. Гитлер был неспособен понять, какую разрушительную силу для сталинской деспотии представляли собой заключенные лагерей. Сбрось он только оружие, продовольствие — и заполыхает пожар! Но где тут! Он обманул бандеровцев, своих довоенных союзников, он не понял громадного антисталинского заряда сдавшихся армий, и не ему было оценить потенциальную силу лагерей...

По сути дела, перед всеми подсоветскими мыслящими людьми история поставила вопрос будущей стратегии, на который обязано было бы ответить «временное русское правительство», будь оно образовано в 1941 году. События развивались стремительно. Всеми силами я искал верный выход. Ответ нужно было дать немедленно, откладывать решение было невозможно. Мне стало ясно, что действовать надо с позиций будущего русского правительства, которое не упадет с неба, а будет создано из людей, способных спасти свое отечество.

Если бы Гитлер пришел как освободитель, то собранные русские войска, решая в первую очередь свою национальную задачу, воевали бы за полное освобождение России от сталинской деспотии. В октябре 1941 года Москва была бы взята и провозглашена столицей нового русского государства. Англичане и американцы в то время еще не были тесно связаны со Сталиным и, конечно, воздержались бы от поддержки его режима.

Но благородство несовместимо было с мировоззрением Гитлера. Даже если бы, по стратегическим соображениям, он провел войну со Сталиным под флагом освобождения России, то он обязательно преследовал бы при этом свою далеко идущую цель: сперва с помощью русских сил освобождения разбить Сталина, а потом подчинить себе еще не окрепшее русское государство, то есть на этот раз уже откровенно завоевать Россию.

Стратегически неплохой, по нормам и критериям двадцатого века, план Гитлера неминуемо в свое время взлетел бы на воздух. Дело в том, что непрерывный двадцатипятилетний чекистский террор сделал нас подозрительными, недоверчивыми; у многих из нас выработалась — порой чрезмерная — осторожность и преду-

смотрительность, и подвох мы учуяли бы заранее. Русское правительство незамедлительно установило бы дипломатические отношения с Англией и США, и в случае военной акции Гитлера против русской армии нас не застали бы врасплох. Враги Германии получили бы в лице России верного союзника в стадии возрождения, реализующего свои громадные духовные силы в подлинном освободительном порыве. И тут Гитлеру сломили бы шею.

Но действительность была иной, Гитлер сделал ставку на завоевание. Так как русское правительство не было провозглашено, необходимо было кому-то решить непростую задачу выбора ориентации.

Нашей первостепенной целью являлась непримиримая борьба со сталинской деспотией до полного ее ниспровержения на территории всей страны и, кроме того, констатация грубого просчета США и Англии, которые должны были уничтожить обе деспотии, но вместо этого сокрушили только одну из них, укрепляя, благодаря своей помощи, другую, еще более опасную.

Двадцать миллионов заключенных были той грозной силой, которая решила бы эту задачу. Для этого США должны были взять на себя дальневосточную, колымскую, сибирскую группы лагерей* и флотом оказать помощь Англии, которой одной, без опорной точки в Северной Европе, трудно было бы справиться с задачей обслуживания североевропейских, а также уральских лагерей. Под прикрытием сильного морского соединения где-нибудь возле Нарвика, используя эффект неожиданности, которым ни Гитлер, ни Сталин, как известно, отнюдь не пренебрегали, следовало забросить с авиаматок в течение двух суток в управления главных лагерей группы парашютистов с достаточными на первых порах запасами легкого вооружения, боеприпасов и продовольствия. Приземлившись, десантники заявляют:

— режим Сталина низвергнут,

— объявляем вас солдатами временного русского правительства и берем на себя командование.

Отряды заключенных должны изолировать оперчекистские отделы и занять управления лагерей. После этого угроза уничтожения заключенных была бы снята,

---

* Такое смелое решение США могло бы предупредить вступление Японии в войну. Во всяком случае, оно позволило бы значительно лучше подготовиться к японскому нападению.

и авиация смогла бы планомерно снабжать их необходимым. В парашютные соединения первого эшелона, учитывая важность знания русского языка, пошли бы люди из белоэмигрантов. Следующие эшелоны комплектовались бы из заключенных. Дальневосточная Красная армия и ее сибирские части были бы прикованы к месту, а в процессе борьбы большая часть присоединилась бы к восставшим. Москва не получила бы поддержки и пала бы в октябре. Сибирь, Урал и вся Северная Россия оказались бы в наших руках в первые несколько месяцев. Сталинский режим, сдавленный с запада, востока, севера и юга, прекратил бы свое существование до 1942 года. Армии заключенных обросли бы солдатами из советских воинских соединений и, направив свой удар на гитлеровцев, начали бы сражаться за Россию. Помощь США попала бы к друзьям, а не к скрытым врагам и ненавистникам. Гитлер был бы разгромлен.

Все сказанное здесь в отношении поведения заключенных было вполне реально и осуществимо. Тогда их еще не уморили голодом. Миллионы дорого продали бы свою жизнь вместо того, чтобы подохнуть в лагерях в первый же год войны. От союзников требовались минимальные средства и хорошая оперативность, которыми они, конечно, обладали. Но события разворачивались не так. Следовало найти верный выход из тупика.

Едва ли Рузвельт и Черчиль испытывали к Сталину добрые чувства, хотя и связались с ним на время совместной борьбы с Гитлером. Так же и у нас не могло быть ничего общего с Гитлером, а была бы лишь временно общая цель — победа над сталинской деспотией. Главным же оставалось освобождение от любого вида тирании, и при попытке Гитлера закабалить российские народы с ним началась бы непримиримая борьба.

Но ни союзники, ни Гитлер не доставили оружия в лагеря. И колоссальная сила, сконцентрированная в них, была уничтожена голодом, холодом, непосильным трудом.

Много российских людей жили мечтой о войне, которая даст толчок к освобождению. Эта мысль помогала переносить мучения. Поэтому почти пять миллионов солдат сдались в плен немцам в первые месяцы войны. Первое время заключенные лагерей жили той же мечтой: вступить в еще не родившуюся тогда российскую освободительную армию и вместе с другими русскими

людьми вести борьбу за спасение остальной страны. Мы поняли к этому времени уже всем нутром, что невозможно оборачиваться назад и думать, как поступят с нашими семьями. Освобождая страну, мы спасали бы и своих ближних, вырывали бы из мохнатых лап мучителей...

В диком ослеплении Гитлер разбил во всех нас эту надежду и превратил в лютых своих врагов. Одни пошли по линии наименьшего сопротивления, начав по-настоящему с ним сражаться, и тем одновременно укрепляли сталинскую деспотию. Другие, более дальновидные, попав в плен, не желали гнить до конца войны за колючей проволокой и шли в русские части вермахта, а потом и во власовские соединения. Под прессом сталинской пропаганды герои были объявлены изменниками родины. Но перед судом истории и зрячих современников они остались людьми, которые из-под обломков груды ошибок, совершенных великими мира сего, сумели извлечь воинские силы, которые, несомненно, повлияли бы на ход событий, не будь столь поздно допущены к действиям.

Понятие отечества первично, родина — лишь географическое обозначение. Подлинные россияне жили на родине, но отчизны не имели. Нашу родину захватили политические бандиты, отечество расстреляли и уничтожили. Изменять нам было нечему, а на сталинские законы, удобные для его деспотии, мы плевали.

Уже по приезде на Запад я услышал опасения моих друзей о последствиях победы Гитлера над СССР. Картина рисовалась самая мрачная, хуже не вообразишь. В конце войны со Сталиным власовские части могли оказаться почти целиком уничтоженными, так как Гитлер мог бросать их, как и части своего вермахта, в самые изнурительные сражения. И вот, обескровленная, разоруженная Россия, растерзанная и жалкая, лежит у ног Гитлера. Тот немедленно пускает в ход свои расовые законы, по которым славяне недалеко ушли от евреев... В Сибири строят газовые камеры, зажигают печи. Идет полным ходом истребление всех неугодных и непокорных. Гитлер, как победитель, встречает у себя в Германии полную поддержку, господство его незыблемо. Население России, привыкшее к сталинской тирании, безропотно подчиняется новой диктатуре... Кроме того, Гитлер отделит от России все окраины, и их

жители станут его союзниками и сателлитами. Прибывшие из Германии немцы, на положении господ, начнут заводить в России свои предприятия, используя низкооплачиваемый труд.

Такие ужасные допущения сделаны не на основании личного опыта жизни в Советском Союзе, а являются плодом воображения напуганных людей. Прогноз должен всегда исходить из реальной обстановки:

— В освобожденных областях миллионы добровольцев встали бы под русские знамена на место павших воинов.

— Российские войска в этих областях уничтожили бы колхозы, передали бы заводы в руки трудящихся, открыли бы церкви, разрешили бы частную инициативу, распустили бы коммунистическую партию, положили бы конец деятельности чекистов.

— На Западе продолжалась бы война: Гитлер терпел бы поражения от англичан, американцев, французов и других. Он вынужден был бы перебрасывать свои дивизии на Запад. Войну со Сталиным на остальной территории Советского Союза вели бы в основном российские войска.

— Можно вполне предположить, зная расистское безумие Гитлера и его окружения, что части СС и гестапо начали бы обижать население в тех местностях, где они преобладали. Но тем самым они вырыли бы себе могилу, ибо, покончив со Сталиным, лавина российских войск, которые действовали бы в своей стране в обстановке общего подъема и возрождения, обрушилась бы на Гитлера. Его раздавили бы железные тиски западных союзников и народов России.

— Если бы по какой-либо гипотетической причине освобождение от Гитлера затянулось бы в оккупированных областях на несколько лет и гитлеровцы установили бы там порядок, сходный с тем, какой был в Польше во время второй мировой войны, то они получили бы в ответ партизанскую войну, массовые диверсии, террор.

Кроме того, системы двух людоедов отличались друг от друга, что также облегчило бы борьбу с гитлеровцами:

— сталинская деспотия особенно опасна вследствие ее исключительной лживости и целой серии семантических обманов. В годы войны, например, употреблялись всевозможные фразы и понятия для одурманивания лю-

дей, пускались в ход такие слова, как народ, родина, историческое отечество и даже Бог... Обещали покончить с колхозами, открыть церкви, стать более либеральными, применить амнистию...

Миллионы в стране вели лютую, глухую, подспудную борьбу со сталинской тиранией. Но никто этой борьбой не руководил и не управлял, никто ее не возглавил, так как люди, способные это сделать, либо были уничтожены, либо находились под гипнозом фраз и еще сохраняли некоторые иллюзии, либо не верили в свои силы и возможности и поэтому ждали войны.

Фразеология Гитлера поражала своей примитивностью. Программа была ясна и не оставляла тени надежды.

— Сталинский террор был ужасен своей скрытностью, духовным и умственным растлением... Гитлеровский террор сам себя немедленно разоблачает благодаря своей открытости, прямолинейной грубости, топорности... Он привел бы к стремительной консолидации сил российских народов.

— От террора Сталина рабство и растление увеличивались; от террора Гитлера возросли бы национальное сознание, гражданские чувства, солидарность, умение и способность к борьбе...

Таким образом после крушения сталинской деспотии песенка Гитлера была бы спета и без атомной бомбы.

У кого Сталин украл принципы организации своей армии

В одном из каламбуров Фридрих Второй, как уверяют, сказал, что его солдаты рьяно идут на приступ, ибо страшно боятся своих капралов. Сталин, воровавший всю жизнь идейки у более продвинутых в умственном отношении коллег, вероятно, серьезно воспринял эту шутку и положил ее в основу своей концепции. Он не был, как и всегда, оригинален и только продолжал начатую Лениным и Троцким линию закабаления армии новым режимом через учрежденный ими институт комиссаров, без которых командир части не мог шагу ступить и который насаждал в рядах красноармейцев сеть доносчиков. Еще в 1921 году красный генерал Тухачевский в основу своего плана подавления знаменитого Антоновского восстания плохо вооруженных крестьян Тамбов-

ской губернии положил совместное действие регулярных частей, чекистов (отряды «пиявок») и танков. А если заглянуть в глубь веков, то войско персидского деспота Ксеркса многими чертами предвосхитило армейскую организацию Сталина. Известно, что полчища Ксеркса, сражавшиеся с греческими соединениями свободных людей, вошли в историю как войско рабов. Но царя Ксеркса можно извинить, ибо в те стародавние времена вся жизнь была построена на рабовладении.

Армейская концепция Сталина заключалась во внушении солдату и офицеру незыблемой уверенности, что самое ужасное ожидает его за невыполнение приказа начальства. Для этой цели:

— в полевом уставе было прямо сказано, что офицер должен быть жесток и при серьезном ослушании обязан застрелить своего солдата;

— в плен сдаваться было запрещено самым категорическим образом. Вместо этого солдаты и офицеры обязаны были покончить с собой. Попавший в плен официально рассматривался как «изменник родины» с вытекающими для его семьи последствиями;

— в тылу атакующих частей находились заградительные отряды из свирепых карателей. Они стояли на определенных рубежах или находились в танках, приданных военной части как бы для поддержки [3];

— партийная и комсомольская прослойка, по замыслу творца концепции, обязана была проводить в жизнь любые решения, приказы и доносить обо всем происшедшем, увиденном, услышанном;

— солдат разлагали изнутри сетью стукачей (сексотов), навербованных из их же среды;

— созданы были политотделы, представляющие дополнительный глаз и щупальца. Они выискивали тень недовольства, внедряли угодные режиму установки, разжигали низменные инстинкты. Каждый солдат был на учете, все были разделены по степени надежности. Имена и адреса родных тоже были известны: солдатам неизменно вдалбливали, что в случае их обвинения и наказания семья поплатится и к ней будут применены законы об изменниках родины;

— террористическая система управления давила на солдата угрозой. Любой из них за незначительное нарушение немедленно мог быть отдан под военный трибунал. Не по законам, а по действующей в данный мо-

мент инструкции его могли расстрелять, отправить подыхать в лагерь или, в лучшем случае, в штрафной батальон. Многочисленные судьбы их товарищей служили тому примером;

— изобретен был новый отдел «Смерш» (смерть шпионам), представлявший собой ничем не прикрытую диктатуру чекистов над личным составом воинских частей;

— созданы не виданные (по своему количеству) ни в одной армии трибуналы, в распоряжении которых были караульные и комендантские части, производящие охрану и расстрелы приговоренных;

— офицеры, за исключением идеалистов, только по внешним признакам напоминали офицеров нормальных армий. Понятия чести, человеческого достоинства, подлинного товарищества у большинства отсутствовали. Их чин зависел в первую очередь от политической благонадежности. Большое место в сознании занимали партийные директивы, политические установки, интриги и обязательное безбожие [4].

Правомерен вопрос: можно ли ярких представителей такой идеологии, пропитанных ядом системы и имеющих неограниченную власть над солдатами, считать офицерами? Конечно, нет. Это — искусственно созданный уродливый гибрид военного начальника, партийного деятеля, чекиста, политического холуя, трясущегося за свою шкуру и ради своего благополучия способного на все. Это не офицер, а какой-то древнеперсидский сатрап, мыслящий категориями сталинизма. Гениальный генералиссимус был бы очень доволен, если бы все его командиры были такими. Но в условиях войны, когда число военнообязанных равнялось двадцати миллионам, не такое уже малое количество мобилизованных офицеров сохранило ряд черт, отличающих европейские военные традиции; однако, скованные системой подавления, они не могли заметно изменить сущность армии. И если бы один из них захотел — по традиции русских императорских офицеров — стать «отцом-командиром», то попал бы немедленно в список неблагонадежных, как человек, который стремится завоевать у солдат «дешевый личный авторитет» с далеко идущей целью.

И второй вопрос: является ли солдатом — в общезначимом смысле слова — нижний чин Красной, или, как она стала позже называться, Советской армии? Ко-

нечно, нет. Он — порождение невиданного терроризма, невольник, которого вооружают на время боевых операций. Направленная на него обработка такова, что, даже выйдя из поля воздействия системы, механизмы автоматического конформизма и искусственно привитых установок продолжают в нем действовать по линии условных рефлексов. Именно этим следует объяснить немало случаев внешне патриотического, а по существу просталинского поведения людей в окружении и в плену, ничем не отличавшегося от действий патриотов-идеалистов, в ком ненависть к Гитлеру превышала все остальное.

Сталинские способы ведения войны, с позиций европейской военной науки, являются воскрешением и усовершенствованием военных установок древних восточных деспотий. А говоря на современном языке, это — чекистская террористическая система в армейском одеянии. Основная особенность сталинской стратегии в том, чтобы гнать с сатанинской жестокостью порабощенную людскую массу, не считаться с потерями, подавлять не военным талантом, а волнами смертников, бросаемых в наступление бессердечными сатрапами во имя спасения собственной шкуры и грошовых наград. Совершенно ясно, что не одними кровожадными наклонностями Сталина определялась такая бесчеловечная структура. Такая армия нужна только принудительному античеловеческому террористическому режиму, глубоко отвратительному для народа, и служит целям закабаления остальных стран.

Конечно, следует выделить:

— идеалистов, горевших огнем патриотизма, не замечавших или отмахнувшихся от всего, что оскорбляло их чувства;

— тех, кто служил в армии по безысходному принуждению, так как на них было направлено острие террора;

— тех, кто слепо или под угрозой расстрела выполнял черновую работу подавления.

Остальные, сознательно поддерживавшие эту древнеазиатскую, модернизированную современным сатанизмом систему, достойны позора.

Создается впечатление, что Сталин даже считал для своей диктатуры выгодным, чтобы было уничтожено побольше обстрелянных, видавших виды солдат, а то в

дальнейшем они вдруг обнаглеют да начнут, выражаясь по-лагерному, «права качать». Цифры подтверждают: число убитых немцев, сражавшихся на всех фронтах, исчисляется в три с четвертью миллиона, военные потери СССР в этой войне — пятнадцать миллионов *. Грубо говоря, на одного убитого немца приходится четыре советских солдата. В действительности же — почти пять, так как Германия воевала со всем миром, а СССР, кроме Германии, — только с небольшими армиями Италии, Венгрии, Румынии. Потрясающее соотношение, которое теперь уж никак нельзя приписать отсталости, «бездарности» царского правительства и прочим агитационным выдумкам. Ведь вся жизнь задолго до войны была подчинена подготовке к ней. Для этого создавали тяжелую промышленность, провели коллективизацию, «очищали» тыл, обучали «революционной стратегии».

Во время первой мировой войны потери были почти равными: на одного убитого немца — один убитый русский. Исключением был 1915 год, когда у русской армии не хватало снарядов и ее убыль была больше немецкой: объяснялось это общей ошибкой всех вступивших в войну правительств, полагавших, что война продлится всего четыре-шесть месяцев. Однако, опираясь на патриотические деловые круги, царское правительство с исключительной энергией и оперативностью исправило положение. Вот почему до свержения царя фронт держался, значительных успехов немцы на востоке не имели, а русские войска совершили операцию Самсонова, давшую возможность французам отстоять Париж, заняли Галицию, взяли Эрзерум, осуществили брусиловское наступление, были подготовлены к огромному прорыву западного фронта в 1917 году. И если бы не предательство, глупость и измена на фронте и в тылу, Россия одержала бы одну из величайших побед в своей истории.

---

* В других источниках приводится цифра двадцать миллионов убыли.

Глава 7
ВЯТЛАГ 1942—1943 ГОДОВ
(Продолжение)
Подготовка к побегу

Никто из сильных мира сего ставки на заключенных не сделал, и неудивительно, что безнадежность своего положения я ощущал особенно остро. Подавляющее большинство инженеров, занимающих менее заметные лагерные посты, но все же ответственные за ту или иную работу, испытывали схожие переживания и мысли. Все мы были какими-то пленниками, привязанными к столбам, вокруг которых кружились взбесившиеся каннибалы, время от времени отвязывающие для своего «обеда» новую жертву...

Поэтому во мне зародилась мысль о побеге. Мнения разделились. Юрий и Борис были против. Жоржа с нами уже не было, он остался в мастерской на первом лагпункте. Меня поддержали наш друг мастер станочного пролета Василий и инженер Владимир, работавший в то время на сельскохозяйственном лагпункте («сельхозе»). Василий был потомком запорожских казаков. По характеру и хватке это был оживший Остап из известной повести Гоголя «Тарас Бульба». Он был сильный, верный, надежный, решительный, мужественный... Я не видел у этого человека недостатков и любил его, как брата.

Если у кого-либо может создаться впечатление, что я идеализирую людей или даже их выдумываю, то мне хочется самым решительным образом отвести эти обвинения. Напротив, я скрадываю множество их достоинств в столь сжатых и кратких характеристиках. Дело в том, что машина террора в первую очередь косила и затягивала в свои валки и колеса наиболее выдающихся, ярких, благородных, смелых людей. Жертвами становились, как правило, лучшие и наиболее достойные... Союзником чекистов было в основном продавшееся им человеческое отребье. Отсюда огромная концентрация настоящих людей в местах заключения и малое их число среди оставшихся до времени вне колючей проволоки.

На Василия я вполне полагался и был в нем абсолютно уверен. У нас были пропуска на бесконвойное хождение за зоной в течение круглых суток. Производ-

ство останавливалось только десятого, двадцатого и тридцатого каждого месяца. Мы были так заняты пуском и наладкой новой технологии, что о личной судьбе стали думать только с августа 1942 года. Оба мы были слишком на виду, и хотя я мог достать хлеб через вольнонаемных контролеров, возьмись мы его сушить на сухари, нас бы немедленно заподозрили. Но нам удалось изготовить компас, намагнитив стрелку на аппарате для ремонта системы зажигания автомобилей и подвесив ее на нитке в бутылочке. В ночную смену отковали и заточили тесаки, починили одежонку и особенно обувь.

В то лето в мастерскую нередко заходил с «сельхоза» по своим производственным делам пропускник Владимир. Мы знали его хорошо, он приехал со мной в одном купе московского этапа. Человек он был занятный и напоминал чем-то дрессированного дельфина. Обладая феноменальной жаждой знаний, он мог, по-моему, выучиться с легкостью чему угодно. Память у него была прекрасная. Отлично соединяя в уме богатейшие залежи своих познаний, он умел быть логичным и иногда мог скомбинировать некое подобие блестящего умозаключения. Но у него отсутствовало самое главное — живая интуиция. Пойди он по гладкому проторенному руслу, из него обязательно получился бы советский академик. В условиях же, где самому надо было действовать и иногда стремительно находить верное решение, он путался и совершал грубые ошибки. Хотя у него был только пятилетний срок по самому легкому пункту, он сумел угодить с ним на лесоповал, и, если бы не удалось его вытащить на сельскохозяйственный лагпункт, он не пережил бы первую зиму. Однажды он спросил меня, как у нас в мастерской можно достать магнитную стрелку, и я понял, что наши намерения совпадают. Произошло объяснение. Как спутник он мне не нравился: у него были все недостатки горожанина, которые не компенсировались никакими достоинствами. Все же обещание быстро образовать запас продовольствия и спрятать его в тайнике в лесу около «сельхоза» привлекло наше внимание. Когда же он стащил со стены одного из отделов управления карту Вятлага в масштабе, требуемом для нашей цели, он в какой-то мере расположил нас к себе. Василию он все же очень не нравился, но скрепя сердце, полное предчувствия, я настоял на включении Владимира в нашу группу, так как было ясно, что

бежать с парой паек на брата за пазухой, не зная обхода вокруг засад оперативников, — дело гиблое.

Побег был назначен на восемь часов утра на тридцатое августа, когда Василий освобождался с ночной смены. Пока нас хватятся, до двадцати двух часов тридцать первого, в запасе было тридцать восемь часов. Кроме того, с этой целью я выхлопотал себе на понедельник командировку на деревообрабатывающий завод, где был образован небольшой цех сверловки, помогавший нашему производству. Владимир тоже должен был себя обезопасить.

Накануне побега, в конце дня, вдруг прибегает ко мне Владимир — бледный, руки трясутся, глаза бегают — и говорит, что начальство отправляет его сегодня вечером на подкомандировку для какой-то там проверки. Крепко мне это не понравилось — я почувствовал обман. Но делать нечего, мы в его руках: запасы продуктов у него.

— Знаешь, пойдем-ка в твой лес! — потребовал я.

— Пойдем!

Приходим. Действительно, все на месте: карта, компас, мука, сухари. В баночке — хлорная известь, чтобы смазать обувь и тем отбить нюх собакам... Вроде все в порядке.

Переносим срок на десятое сентября. Опять срывается: из Кирова приехал главный военпред для проверки нашего измерительного инструмента и выяснения ряда вопросов. Надо быть на месте.

Назначаем новый срок — двадцатое сентября. К тому времени погода резко ухудшилась, полили дожди. Приготовления к побегу — те же самые. К девяти часам приходим к тайнику. Владимир уже там, встречает нас. Вид у него ужасный, состояние еще хуже, чем в первый раз. Заикаясь, объясняет, что тайник открыли блатные и все утащили.

«Остап» взревел и уцепился за шиворот предателя. Я тоже был настроен разделаться с ним вчистую. Но после этого бежать пришлось бы даже без пайки хлеба: рассчитывая на запасы, мы, конечно, ничего с собой не взяли. Для нас, горожан с притупленными инстинктами восприятия природы, нереально было пройти голодными за первые сутки без карты и компаса не менее тридцати километров по бурелому мокрой тайги и не попасться в лапы оперативников, которые стерегут с помощью

специально дрессированных псов тропы застав. Требовалось быть сверхпредусмотрительным, ибо мы должны были бежать с центрального лагпункта, который находился вблизи соцгорода и охранялся с особой тщательностью, так что проделанная подготовка к побегу была в данном случае необходима. Во всей этой неудаче я винил только себя. В самом деле, хорошо зная Владимира, имея уже его отказ, я был обязан предусмотреть такого рода возможность, перетащить тайник в новое место и «рвануть когти» вдвоем с Василием. Будь на мне меньше производственных обязанностей, я, наверное, вовремя продумал бы этот вариант. В старый тайник можно было бы перенести треть запасов, карту, предварительно сняв с нее копию, самодельный компас, — позднее в мастерской Владимиру бы об этом рассказали, — и мы имели бы полное право, не предупредив его, бежать вдвоем. Так, по моей вине, бездарно, чтобы не сказать позорно, провалился задуманный план.

Усилившийся террор повлиял на мои доводы о необходимости побега, так как я надеялся на наше вмешательство в происходившие события.

У Василия тоже были свои причины. В 1938 году он получил «детский» срок в три года [5] и на память о следствии отбитые почки. Выпустить его должны были в июле 1941 года, но, как и все, ему подобные, он перешел в разряд «пересидчиков». Перспектива была одна — пребывание в лагере до конца войны. За это время можно было легко получить новый срок и подохнуть от голода. Впрочем, как мастер смены, он, пожалуй, мог бы и не попасть в лапы чекистов, но слишком уж стосковалась по воле и открытой борьбе его свободолюбивая душа.

О Владимире и говорить не хочется, так как его поведение, пронизанное нерешительностью, трусостью и предательством, перекрывало первичные мотивы его желаний.

Я думаю, что доводы, побудившие нас к побегу, при известном напряжении воображения, в какой-те мере смогут быть поняты и западным читателем. Я не случайно говорю именно о напряжении воображения. Свободным людям, не испытавшим фантастической концентрации чекистского террора, кажется невероятным само его существование, а связанные с ним поступки представляются выдуманными и необоснованными. Для боль-

шей ясности мне хочется привести лишь пару примеров, в тех условиях почти банальных.

Двум зэкам весной 1942 года зверски хочется курить. За последний месяц они не имели ни одной затяжки. При крайнем истощении следы никотина в крови производят на человека мучительное воздействие, вполне сравнимое со страшными муками голода и даже их превышающее. Когда все средства испытаны, остается последнее. Махнув рукой, скрепив свое решение блатной формулой типа «вались... оно все в рот», идут к лагерному «куму» (оперуполномоченному). Стучатся, входят... Кум принимает приветливо: «Садитесь». На столе открытый портсигар с настоящей золотистой махоркой. Закурить он не предлагает, ведь каждая скрутка — огромная ценность, и ждет, что ему скажут.

— Начальник, уши опухли. Дай закурить.

— Вы что ж, только закурить ко мне зашли, — говорит он с издевкой, — или по делу?

— Ну, что вы, разве мы посмели бы просто так зайти. Хотим заложить контру. Ведет агитацию, ругает порядки.

— Кто он?

— Такой-то.

— Сейчас оформим протокольчик, а потом и закурим.

А сам пока что пускает дым в сторону своих клиентов. Протокол составлен, подписан. Каждый получает по скрутке — цену крови, — и, шатаясь от каждой затяжки, любители дыма покидают кума.

Бригада в условиях зимы 1943-44 года. Повальная смертность уже прекратилась, но чудовищные нормы остались в действии. Выполнить их невозможно. Без туфты человек не получит пайку, достаточную для жизни. Но «зарядить туфту» надо уметь, нужен опыт. За тринадцать лет в лагерях я превзошел науку кормления людей при невыполнимых нормах выработки и скудных раскладках лагерного питания, то есть, попросту говоря, искусство описывать повременный труд как сделанный по «общереспубликанским нормам».

Но рядовой бригадир редко обладал этим умением и, когда у него под боком не было такого «писателя», целиком зависел от нормировщика и десятника. Такие гиблые бригады могли бедствовать даже в относительно благополучное время. В них всегда было несколько

человек — то ли ослабевших, то ли негодных работников, а в эти годы часто и блатарей, не желающих работать, но нагло претендующих на большую пайку и выходящих на работу только из боязни заработать десятилетний срок за «саботаж» в военное время. Как по нотам, в этих будничных условиях разыгрывалась убийственная драма. Кто-нибудь из тех, от кого бригадир требовал работы и подчинения общим условиям, писал на него ложный донос, и он исчезал в изоляторе.

Наша последующая судьба представлялась достаточно неясной нам самим. Рациональное было отделено от иррационального тоненькой перегородкой. В самом деле, на что могли рассчитывать Василий и я — два добрых молодца, один из которых точно сошел с картины Репина «Запорожцы», а другой всю жизнь страдал от своей заметности? В условиях дикой, невиданной в истории шпиономании появление во время войны двух мужчин в цветущем возрасте, да еще в подозрительной одежде, было бы прекрасной мишенью для специально выдрессированного населения, проживающего в округе.

Побег на север и на восток исключался из-за цепи лагерей и развращенных режимом жителей, для которых существовал определенный тариф за поимку заключенного: несколько пачек махорки, пуд муки, какое-то количество трески, несколько литров керосина. Я не берусь рассматривать этот набор как тридцать сребреников. Население, зачастую состоящее из инородцев или тесно с ними перемешанное, было теми же приемами террора обращено в добровольно и вместе с тем принудительно действующих ищеек.

Нам рассказывали, как в эти годы с глухой подкомандировки Ивдельлага было совершено несколько удачных побегов блатарей. Но их всех неизменно ловили жители одной и той же деревеньки. Еще до войны это был для них как бы охотничий промысел. Я думаю, что начальству не улыбалось в той глуши держать, кроме охраны, еще и штат оперативников, и их задачу, по особой договоренности, взяли на себя жители. Тогда рассвирепевшие блатари пошли не в обход, а прямо в лоб на эту деревню, население вырезали, строения сожгли, благо в большинстве своем мужики были в армии. Происшествие стало известным, промысел был временно приостановлен, и два-три года жители вели

себя более сносно. Но после войны все пошло по-старому.

Идти на юг означало в случае удачи залезть в подпол какой-нибудь вдовушки и ожидать в ее объятиях конца войны или решительных перемен. Этот путь мы отвергли. Он нам органически не подходил, хотя был наиболее реальным.

Оставался путь на Запад. Он был самым опасным, но сулил какие-то близкие изменения в судьбе. Нам представлялось возможным раздобыть одежду с воинскими документами и затем пробираться в район боев. Далее уже смотря по обстоятельствам — либо перейти линию фронта немедленно, либо пристать к какой-нибудь части, чтобы в удобный момент все равно оказаться по ту сторону и создать русские освободительные отряды. Я был убежден в правильности конечной цели, так как хорошо знал настроения народа и его отношение к сталинскому режиму. Но проделать путь от Вятки к Сталинграду или до финской границы было гораздо сложнее — очень уж мы бросались в глаза. Это подрывало веру в успех задуманного и объясняло отсутствие необходимого огня в наших действиях.

Беглецы

Год спустя, уже в лагерной тюрьме, я встретился с беглецом, о котором следует рассказать особо. Он бежал по нашему маршруту летом 1943 года, но не с центрального, а с крайне удаленного лагпункта. Подготовлен он был гораздо хуже нас, пропуска не имел, но добрался до реки Вятки, затем вниз по ее течению — до Волги, оттуда — до Сталинграда, и при этом большой кусок пути прошел один на лодке. Кормился он, главным образом, у бакенщиков и воровством с огородов. Под Сталинградом он смешался с воинской частью и вполне прижился в ней, как вдруг начальнику политотдела, то есть армейскому чекисту, что-то в его бумажках показалось подозрительным. Его допросили в «Смерше», снова посадили, вернули в лагерь, в изолятор, и он получил новые десять лет. Был он как будто из лесников, и чувствовалось, что прекрасно знает и понимает природу. Рослый, жилистый, очень выносливый, он имел неоценимое преимущество перед нами: стертое, обыкновенное, неприметное российское лицо. Следовало бы для

характеристики необычного в ту эпоху сохранить его имя или фамилию, но я, к сожалению, не могу их вспомнить.

В сорок третьем-сорок четвертом я провел одиннадцать месяцев в изоляторе и тесно соприкасался там с вереницей беглецов. Сравнительно огромное число их в тот год, неподготовленность большинства к побегу и желание многих просто использовать неудачу для отправки в Кировскую тюрьму, а оттуда в какой-либо другой лагерь говорили о неослабевающем в то время терроре чекистов и убийственных условиях существования. Почти все беглецы были пойманы в первый же день, так как не были столь тщательно подготовлены и не обладали чувством природы. Это были обыкновенные ребята. С самого начала они совершили много промахов. Так, один из них, бывший военный летчик, «Алексей человек Божий», как он себя почему-то часто величал, напоролся на вахту восьмого лагпункта, прямо выйдя из леса. Они не понимали, что тайга без компаса означает голодную смерть. Летом 1942 года заблудились два мальчика лет по пятнадцати, чьи родители были вольнонаемными в «соцгородке». Их попробовали искать, но безуспешно. Тогда, видно, для очистки совести, котельной лесозавода приказали включить гудок, и он ревел непрерывно более двух недель. Детей так и не нашли. Следовательно, они не наткнулись ни на одну из троп, которые вывели бы их к «соцгороду», к одному из лагпунктов или к заставам оперативников. Скорее всего, они либо утонули в болоте, либо провалились в трясину, обессиленные от голода... Тайга — страшное место и шутить с ней невозможно. Для побега необходимо было одно из трех: хорошая подготовка, развитое шестое чувство восприятия природы, большой опыт и знание лесов...

В лагере упорно передавался рассказ (который многие воспринимали как легенду), что по лесу бродит шайка заключенных — пропавшая целиком бригада, разоружившая стрелка. Говорили, что это латыши. Мне же на ум пришли кубанцы, которые обживали сибирскую тайгу и благодаря этому стали многоопытны и великолепно приспособлены. В мирное время их обязательно выловили бы, но в условиях войны чекистам на такую операцию явно не хватало сил.

Среди беглецов был один парень, которого постигла неудача по стечению обстоятельств: его «след» быстро

взяла собака. Он был совершенно исключительно приспособлен к лесной жизни. Это был человек-волк — и по своему отношению к жизни, и по хватке, и по обостренности инстинктов. Кстати, и глаза у него были какие-то желтые, волчьи. Я думаю, что он мог дать немало очков вперед гамсуновскому лейтенанту Глану, олицетворявшему бога лесов Пана. Северный красавец со звериными глазами меньше походил на древнегреческого Пана, чем он. К своей неудаче он относился с усмешкой: мол, и на старуху бывает проруха. Он твердо был уверен, что весной его в лагере уже не будет: освободит, как говорили, «зеленый прокурор». Он считал, что это дело решенное, и не скрывал своих планов. Я невольно разделял его убежденность.

Полной его противоположностью был бывший заведующий магазином, человек городской, страшно болтливый и крайне нервный. Его побег был настолько необычен, что именно этим он и сбил с толку искавших его оперативников. Не сворачивая в лес, он попер прямо по дороге, которая привела его в деревню. Там на него никто не обратил внимания. Одеты тогда все были ужасно: в лагерных телогрейках и бушлатах ходили многие и в городах, не говоря об окрестных деревнях. Минуя лагпункты, он в открытую переходил из деревни в деревню. Так длилось около недели. Подвел его призывной возраст, и после проверки документов он был водворен в лагерь.

Запомнился также инженер с военного завода посадки зимы сорок второго-сорок третьего года. Такими, как он, я представлял себе белых юнкеров. Он был хорошего роста, крепкого телосложения, необычайно широкоплеч, с правильными чертами открытого лица, светлыми глазами и волосами. Что-то почудилось мне родственное в наших намерениях. Но он находился очень недолго в камере, где была «наседка», стерегшая каждое мое слово, так как шло следствие, и откровенно поговорить с ним не удалось. Против его побега было все, кроме его мужества и воли. Он служил живым укором для меня, убежденного врага этой системы, волей обстоятельств наладившего ей военное производство, которое обеспечило выпуск нескольких десятков тысяч хвостовиков сухопутных мин.

Опасная болтовня

В своей ненависти к режиму я был достаточно последователен. Побег сорвался. Я стал писать заявления об отправке в штрафной батальон. Со штрафниками было даже удобней остаться за линией фронта, ибо, как правило, их бросали в самое пекло. Кроме того, я вполне уже уразумел, что смерть от горячей пули куда милостивее, чем то, что нас ожидало. За полгода я написал пять заявлений, но ни разу не получил ответа. Сердце наполнялось горечью.

После того как я сформулировал свои выводы, мне стало ясно, что без толчка, без минимальной помощи извне громада лагерей своего слова не скажет. Пока что я довольствовался проверкой нашей готовности к активным действиям и слегка способствовал возникновению и поддержанию таких настроений.

К тому времени я прекрасно понял, что обществом движут единицы. В первый год войны мы убедились в этом и на собственном примере. Наша пятерка в мастерской держалась очень скромно, проявляла себя в силу острой необходимости и почти исключительно в рамках деловых требований. У каждого из нас было по нескольку близких людей среди работяг, но никакой агитацией мы не занимались. Нам было ясно, что, когда настанет момент действовать, люди пойдут за нами. И по какой-то странности это знали не только работяги, но и соприкасавшиеся с нами вольнонаемные, охранники и ближайшее начальство. На нас смотрели как на будущих вождей, как на людей, которые сразу возьмут власть в свои руки. Это было крайне опасно, так как в отношении к нам сквозила некая просительность, стремление словесно оправдать свое служебное положение, показать свою симпатию к заключенным. Забавно было даже наблюдать колебание этих настроений в зависимости от содержания сводок с фронтов...

Пока что никакой особой подготовки к активным действиям мы вести не могли. На данном этапе достаточно было следить за состоянием умов ведущей части заключенных. Не раз приходилось слышать мнение, что люди дела не разговаривают, а действуют. В отношении простейших, заранее решенных проявлений это верно. Но в области неведомого — всюду, где требуется хорошо

продумать свое поведение, словесное выражение мыслей неизбежно, особенно если их нельзя изложить в письменной форме. Потому летом 1942 года разговоров было много, гораздо больше, чем нужно.

Павел Салмин, малый не без таланта, боксер и классный шахматист, был сторонником самых радикальных мер. Он был за немедленное вооруженное восстание. Сначала я пытался втолковать ему как инженеру, что в созданной обстановке лагерь с его обитателями представляет собой уравновешенную систему и нарушить это состояние можно только благодаря толчку извне. Восстание будет иметь шансы на успех, например, в случае высадки десанта, когда его командир объявит о том, что Сталин низложен и что сформировано временное правительство России. Роль десанта мог бы сыграть и отряд вооруженных заключенных с другого лагпункта. Последняя идея понравилась Салмину, и он стал ее развивать и пропагандировать. Отсюда возник у него образ «культбригады на паровозе». Он предлагал ворваться в охраняемую казарму, вооружить отряд зэков, захватить паровоз и с его помощью двигаться от лагпункта к лагпункту. По сути, это было бы повторением, а может, и предварением восстания в Усть-Усе.

Я думаю, что наши планы могли бы реализоваться в летнее время в тайге. Но было обстоятельство, которое могло резко помешать нам. Нарушение движения по лагерной ветке Яр — Фосфоритная прекратило бы доставку дров для Пермской железной дороги, единственной линии, соединявшей тогда Москву с востоком страны: войска были бы немедленно переброшены, и восстание стремительно задавлено. Поэтому поднимать изолированное восстание в Вятлаге было в то время неправильным. Соображение это родилось гораздо позднее, и не оно оказало свое влияние, возражений хватало и без этого. Отказы перейти к действию упирались, главным образом, в отсутствие нужного человека, который мог бы взять на себя руководство. И всего-то нам нужен был, как я потом понял, хорошо обстрелянный командир роты; с 1943 года и особенно после войны я встречал очень много подобных офицеров. Но в то время среди нас такого не было. Кроме того, проклятое разъединение, вносимое безбожием и закрепляемое терроризмом, прочно свило в нас свои гнезда. В активных действиях мы полностью не доверяли друг другу. Многолетнее воз-

действие терроризма убивает инициативу, приучает к мысли, что объединение рискованно...

В то время уговорить заключенных на нашем лагпункте выступить против режима не удалось бы ни мне, ни Салмину. Но если бы увешанные оружием и обожженные огнем недавней схватки зэки объявили о свержении Сталина, такое заявление произвело бы на лагерников неотразимое впечатление — даже вопреки действительности. Но нужны были люди высокого калибра для осуществления восстания в условиях, когда было известно, что никакого правительства не образовалось и все в руках сталинских сатрапов.

Несомненно, Салмин трепал языком сверх меры, хотя я не обвиняю его в провокации. Иногда мне даже казалось, что он «травит баланду» с целью сшибить себе лишнюю пайку и талон на обед. Ужасно то, что он своей болтовней запутал многих людей и потом всех назвал на следствии.

Гадина жалит незаметно — крыса может броситься на человека

Хорошо налаженное производство шло полным ходом, и требовалось только поддерживать его на должном уровне. У меня появилось время даже вникать в детали второстепенного значения. До меня и раньше доходили намеки, что кое-кто из заключенных контролеров облагает данью вольнонаемных работников нашего отдела. Но я не придавал этому значения, полагая, что если истощенные зэки, вырванные с лесоповала, стремятся подкормиться, то это, во всяком случае на первых порах, не является нарушением в условиях лагерной жизни.

Начальник мастерской, технорук, плановик и я были обязаны иногда приходить в конце второй смены и в третью для контроля хода производства, оставленного на попечении одних мастеров. И вот как-то в декабре я зашел около десяти вечера в станочный цех и увидел следующую картину: контролер Щерба сидел около своего станка и ужинал; в одной руке у него — маленькая ложечка, в другой — яйцо, на коленях — белый хлеб, кусочек сала. По тем временам — лукулловский пир. Никто из наладивших и ведущих производство даже не мечтал о такой пище... Моим ребятам от вольных могло перепасть несколько картофелин и немного черного хлеба.

Такие роскошные дары Щерба мог получить лишь вымогательством в награду за стукаческие способности. Я понял все с первого взгляда. Но, по лагерной этике, с ходу придраться нельзя, да вроде и не к чему — каждый промышляет как может. Подхожу, останавливаюсь, смотрю на него, думаю. Он вскакивает, начинает лебезить. Я делаю шаг к ящику, где складывается принятая им продукция, беру в руки операционную скобу и начинаю делать промеры всех собранных там деталей. Обнаруживаю, что ни на одной детали он не поставил клейма и пропустил несколько бракованных. Это уже серьезное упущение. Он — в моих руках. Подзываю контрольного мастера смены и предлагаю ему зафиксировать обнаруженные нарушения. После этого с лагерной бранью набрасываюсь на Щербу, напирая на недопустимое отношение к делу, на ответственность за производство в военное время. Затем начинаю громить его взяточничество. Говорю ему, что он обирает кого-то из вольнонаемных, и я потребую от них объяснения, потому что мне совершенно ясно, как он шантажирует людей своим осведомительством; теперь же он сам себя разоблачил и для третьего отдела годен только как использованный презерватив...

К тому времени из бесед со старыми лагерниками я усвоил, что раз настал момент публичной схватки со стукачом, то разоблачать его следует открыто и безбоязненно. При этом вред, который он все же может принести, будет минимальным; качество и уровень обличения могут его вообще устранить. Положение это неоднократно с успехом было проверено многими заключенными, хотя таит в себе два противоречия. Во-первых, когда дают очную ставку, то всегда спрашивают, в каких отношениях находятся стороны. Если даже кто-либо один заявляет, что они враждебны друг другу, то юридически ставка тем самым обесценивается и не принимается в расчет. Но со стукачами, как правило, следователи не сталкивают лицом к лицу, и тем самым нет возможности объяснить, что доносчик до этого просто находился с тобой во враждебных отношениях. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев стукачу в лагерях не удается скрыть свою секретную службу. Стукачей заключенные знают, и ругань с одним из них на глазах у всех ничего нового не прибавляет. Но психологически эффект публичного разоблачения важен, так как у чекистов, исполь-

зующих данного осведомителя, остается ощущение грязи, провала и неумелости, как будто они притронулись к метле, валявшейся до этого в отхожем месте.

На следующее утро я передал написанный мастером рапорт о происшествии, и Щерба получил в приказе строгий выговор с предупреждением.

В январе объявили несколько субботников, вызванных морозами, пургой и продолжающимся падежом зэков. Даже в мастерской дважды снимали смены и гнали их на лесную биржу пилить дрова для железной дороги. Пять кузнецов, привыкших к работе у огня, заболели воспалением легких и умерли. В смене, оставшейся в мастерской, находился Щерба. Обстановка была напряженная, задание было увеличено. Контрольный мастер, которому я приказал не спускать глаз с Щербы, засек его на новом, вернее, очередном серьезном упущении. На основании рапорта Щерба был списан из мастерской, но не на общие работы, как я настаивал, а в бригаду углежогов, изготавливающих уголь для кузницы.

Работа углежога гораздо легче, а главное, выполнимей лесоповала. Но она несравненно труднее работы контролера, выполняющего свои обязанности в теплом цехе и освобожденного от всякой физической нагрузки. Углежоги жили в том же бараке, что и рабочие мехмастерской. Примерно через месяц близкие мне ребята не преминули рассказать, что Щерба «доплывает» — сидит и грызет часами давно уже объеденные лошадиные кости [6] и просит передать мне, что умоляет взять его обратно...

Одна из дорог с лагпункта в мастерскую проходила мимо поляны, где работали углежоги. И вот однажды, в феврале, я столкнулся, когда проходил мимо, с доходягой, которого сразу даже не узнал.

— Димитрий Михайлович, простите меня. Возьмите снова в мастерскую.

Смысл моего ответа сводился к следующему:

— Мне, Щерба, ты ничего плохого не сделал и сделать не сможешь. Мой выстрел был первым, я опередил тебя. Проси прощения у тех, кого ты закопал прошлой зимой. На твоей черной совести лежат семь человек. Хоть поздно, но мы получили теперь сведения от очевидцев. Я способен простить чекиста, который меня открыто допрашивал, палача, коль скоро он открытый исполнитель воли режима, напавшего на меня явного бандита,

но не Иуду, вкравшегося в доверие или просто оболгавшего и погубившего человека. Пусть этим занимаются Церковь и Высшие Силы. Самый страшный ущерб заключенные испытывают от вас, от вашей гнусной, омерзительной, тайной, крысиной возни. Долг каждого из нас бороться с вами так, чтобы другим мерзавцам отбить охоту, иначе вы всех нас уничтожите. Сказал «а», получай «б».

— Но вы ведь тоже носите маску. Вы ненавидите работников третьего отдела и все руководство, а я своими ушами слышал, как вы вежливо разговариваете с Левинсоном...

— Щерба, ты видишь, что углежог, который сейчас зашел в избушку, сильно наклонил голову. Это потому, что высота двери недостаточна и не позволяет пройти, не пригнувшись, во весь рост. То же и с нами. Не мы выдумали эту систему. Ты прав, мы тоже носим личину вежливости, хотя, когда дело того требует, я говорю с ними очень резко. Тебе это должно быть хорошо известно, коль скоро ты подсматривал за мной. Но дело в том, что личина, которую мы вынуждены носить, спасительна для нас и для других заключенных и никому не приносит вреда. Вы и вам подобные надели ее, чтобы губить людей. Я загнал тебя в угол. Ты бы рад выпустить яд, но твоя песенка спета. Ты больше не опасен. Пока я в мастерской, твоей ноги там не будет. Кроме Высшего Суда, хотя бы отдельные негодяи должны подвергнуться суду земному.

Весной до меня дошел слух, что Щербу, как тогда говорили, одели в деревянный бушлат.

Сдаваться не положено!

Под Новый год я совершил оплошность; виной тому было убийственное однообразие пищи. Кто-то из моих соседей по «бараку обреченных», как я его называл, предложил мне выпить. В обычных условиях я не чувствовал никакой потребности в этом, но тут вдруг здорово потянуло. Достали немного спирта. Впору бы и ограничиться, но ребята только вошли во вкус. Решили попробовать растворитель, от которого разило грушевой эссенцией. Видимо, он и стал причиной поноса, который у меня вскоре открылся. Это была не пеллагра, так что можно было не пугаться, но я промучился недели две и последние дней семь даже не ходил на работу.

Во время болезни ко мне захаживал Поль Марсель, настоящая фамилия которого была Русанов. На воле он был композитором, а в лагере ведал музыкальной частью в так называемой культбригаде. Настоящей дружбы у нас не было. Он был из белоэмигрантов, но в силу артистичности своей натуры как-то слабо разбирался в событиях. Он невинно болтал со мной по-французски, а я был рад собеседнику, так как думать в этом состоянии старался как можно меньше и его приходы развлекали меня. Язык тогда я еще не забыл, и мы часами с ним разговаривали, благо в бараке, кроме двух стариков-дневальных, никого не было, и нас некому было принять за иностранцев, плетущих вражеские сети.

Мой гость предложил познакомить меня со старым земским врачом, из стационара.

— Болезнь не проходит, запускать ее недопустимо. Я попрошу моего друга. На лагпункте только он может вам помочь, — горячо настаивал он.

И действительно, на сей раз помощь обернула ко мне свой улыбчатый добрый лик.

Вечером я отправился к врачу. Беленький, сухонький, он меня даже не стал осматривать, а расспросив и подумав, тихонечко поднялся, подошел к полке, налил в стаканчик воды, прибавил туда что-то из бутылки и дал мне выпить. Словно огонь пробежал по жилам, я ощутил подъем сил и, придя в барак, почувствовал волчий голод. То был раствор соляной кислоты. Видимо, на железы, вырабатывающие ее в желудке, повлияла алкогольная отрава. Я еще с месяц ходил к старичку, и он с неизменно доброй улыбкой давал выпить мне из своего стаканчика.

И таких ангелов уничтожали... Сколько их погибло — настоящих светочей в разных областях жизни. И как ужасны последствия: посадки хороших врачей привели к падению и вырождению медицины, так же как тотальное истребление целителей душ — к искоренению добрых чувств, озверению населения, несусветному распространению нервных и психических заболеваний, нарушению духовных связей, взаимному предательству...

Интересно, что когда в Большой советской энциклопедии получили заказанную словарную статью о слове «любовь», произошла заминка, составители испугались. Дело дошло «лично до товарища Сталина», как тогда говорили. Корифею наук нельзя было отказать в звери-

ной цепкости и последовательности, столь необходимых для заплечных дел мастера. Он вынес свой приговор: «Советскому народу это понятие чуждо». И в издании энциклопедии тех лет слово «любовь» отсутствует.

В бывшей России, при царе, найти палача было часто проблемой. В сталинской деспотии можно было навербовать десятки, если надо — сотни тысяч палачей. Сама технология вербовки была упрощена до предела. Вызывали в райком, спрашивали:

— Ты советский?

— Да, конечно.

— Партия и правительство поручают тебе чрезвычайно важное задание: работу в «органах».

Посмеешь возразить — и ты чужой, классовый враг. Тогда начинали пугать, стращать, и восемь из десяти соглашались. Такова плата за отказ от Бога!

Сила и бессилие

Неожиданно на пятом лагпункте Вятлага я повстречался с Алексеем Елшанским. Я никогда бы его не узнал, если б не напомнил мне он о цементном заводе на окраине Подольска, где я работал рабочим после техникума. Он был слесарем в нашей смене. В те годы режим добивал Церковь: храмы разрушали, монастыри сравнивали с землей, духовёнство и активных верующих уничтожали. И я вспомнил, как часто по дороге на завод касался этой темы в беседах с Алексеем, который был на семь лет старше меня и уже несколько лет в партии. Меня привлекал тогда этот богатырь с красивым лицом, кудрявыми волосами цвета спелой ржи, орлиным носом, серыми, как говорят в народе, соколиными глазами. Он был спокойным, не лишенным деликатности человеком: никогда не присутствовал во время перекура при обсуждении событий рабочими. Он не был ни горланом, ни негодяем, ни доносчиком. К затронутой мною теме он относился с полным равнодушием и, не испытывая к религии никакой симпатии, заученно повторял, что вера в Бога — бабушкины сказки, которые приносят лишь вред.

Теперь он сгорбился, плечи его опустились, лицо стало землистым, глаза потухли. Он приподнял штанину: фиолетового цвета нога была покрыта страшными цинготными язвами. Сухая кожа рук шелушилась. Судьба наша была схожей: нас посадили в 1940 году, он то-

же попал в мастерскую, где занимался заточкой пил и топоров, что считалось в лагерях самой легкой работой. Однако разрушение его организма было налицо. Я не удержался задать ему следующий вопрос: обрел ли он в этих испытаниях веру в Бога? Махнув рукой, он сказал, что верит лишь в пайку хлеба, когда держит ее в руках.

Через несколько месяцев его отправили на этап. Вряд ли он выдержал лагерь и вышел на свободу. Безразличие, которое охватывает человека в тяжелых условиях, типично для сознательного безбожника.

На каторге в Экибастузе был маленький черноволосый и темнокожий человек из Тану-Тувы, которую после войны окончательно прибрал к рукам Кремль. Имени его я не помню. Он был из крестьян и получил десять лет за то, что обозвал лжецами, невеждами и проходимцами приезжих агитаторов-безбожников. Уже пять лет он выполнял только самые грубые, тяжелые работы. Паек не был в то время убийственным, как во время войны, но при непосильном изнурительном труде здоровый человек мог отправиться на тот свет. Кроме того, танутувец не получал из дому посылок. Он был православным, и в нем жила евангельская вера, способная двигать горами. Мне запомнилось, как однажды он гордо воскликнул: «Мы страдаем за веру». Я уверен, что большой дух этого маленького зэка смог преодолеть препятствия на его пути.

Глава 8

ВЯТЛАГ 1942—1943 ГОДОВ

(Продолжение)

Арест двадцати восьми

Сталинская деспотия походит на муравейник, где полчища муравьев-полицейских непрерывным террором вынуждают остальных выполнять работы, противные их природе и желаниям. Внешнее упорядочение достигается ценой насилия и обмана. Отряды рабов покорно движутся по указанным дорожкам. Эту сатрапию можно уподобить и модели циклотрона, где ускоряемые части-

цы движутся в одном направлении при невозможности прекратить свой бег или свернуть в сторону... Предсказать движение таких стреноженных муравьев или ускоряемых частиц крайне просто. И предстоящий арест как бы стоял перед моим мысленным взором.

Кроме того, чувствовались и некоторые подземные толчки. На первом лагпункте молодой малый, «бытовик», ходивший в придурках, исполнял обязанности снабженца и, естественно, обладал пропуском. Чем-то он там не угодил и попросил взять его ко мне в отдел. По наведенным справкам плохого за ним ничего не числилось. Нам же был полезен пропускник с воровскими способностями, и, посоветовавшись с друзьями, я оформил его переход. Использовать его мы собирались на воровстве картошки с огородов чекистов и сановников. Кроме того, я думал поручить этому парню заходить на мельницу, так как мельник по старой привычке выделял для нас немного крупы.

Для западного читателя слово «бытовик» требует объяснения. Сталинская вотчина, как и всякая классическая деспотия, представляла собой пирамиду с почти что кастовым разделением населения. В грубом изображении это выглядело так:

Сталин

политбюро

каста высших чинов партийной бюрократии

«органы» насилия

армия, пронизанная агентурой

члены партии, занимающие все командные высоты

советская интеллигенция

рабочие

колхозники

заключенные

В свою очередь, заключенные делились на бытовиков, уголовников и контриков, то есть осужденных по пятьдесят восьмой статье.

В категорию «бытовики» входят не только убийцы из ревности и злоупотребившие доверием растратчики, которые существуют во всем мире. В СССР сидят за решеткой люди, преступление которых в том, что они прояви-

ли личную инициативу, нарушив в чем-то монополию лютого принудительного государственного капитализма, именующего себя социализмом. В целом мы сочувствовали бытовикам, и с отдельными из них у нас были прекрасные отношения, но держались мы все же от них подальше. Приведенная выше технология вербовки палачей в райкомах применялась и к бытовикам. Им внушали: «Мы знаем, ты наш, советский человек, мы облегчим твою участь, скинем часть срока, но ты должен помочь органам разоблачать контриков, которые и здесь плетут свои вражеские сети... Не хочешь, значит, ты не советский и надо заняться тобой специально. Может, ты тоже контрик. Сам понимаешь, заработать новый срок при отрицательном отношении к органам не трудно». И многие из них соглашались стать штатными стукачами, а некоторые обещали при случае сообщить об услышанном и увиденном.

Вскоре после того, как молодого человека перевели в отдел, я заметил, что он проявляет повышенный интерес к моей особе, старается подслушать разговоры. Делал он это, правда, как-то неуклюже. Обнаружив его за таким занятием, я, подождав пару недель, когда на огородах не осталось картошки, запихнул его в смену контролером, лишив тем самым возможности наблюдать за собой. Так я принял первый сигнал: было ясно, что третий отдел направил на меня свою кривую подзорную трубу.

Второй толчок исходил от Адольфа Дика. Осенью сорок первого, когда мы водворились в мастерской, нам, новичкам, бросился в глаза обрусевший немец. Он являл собой великолепный образчик нордической расы в духе разговоров и писаний того времени, которые как-то доходили и до нас. Вероятно, лицевые углы и прочие неизвестные мне тонкости измерялись на таких удачных экземплярах. У меня была слабость: я всегда любил красивых людей, и меня сразу потянуло к этому блондину со светло-серыми глазами, стальной блеск которых трудно себе представить. Запомнились также орлиный нос правильной формы, тонкие, вечно твердо сжатые губы, резко выдающийся вперед подбородок. Его рост был 183 сантиметра: соразмерные руки, длинные ноги, широкие плечи. И очень приятный голос с затаенной усмешкой. Ходил он в потрепанной форме танкиста. Пилотка, брюки, гимнастерка в мазуте говорили о том, что он хоро-

ший мастер, а не только первоклассный инженер. Он окончил академию танковых войск, следовательно, был членом партии, а в 1938 году получил срок всего в три года. Последние два обстоятельства настораживали. К инженерным работам он не стремился и даже отказывался от них, видимо, из-за своего немецкого происхождения. На собственном опыте я очень хорошо понял, что в этом есть смысл. В общем, он нам понравился. Но заключенные, работавшие с ним в мастерской, сообщили, что года полтора назад он выступал свидетелем обвинения на каком-то процессе, и с этим нельзя было не считаться.

Жизнь его была в наших руках: от нас зависело списать на общие работы, где был бы ему конец. Но так как на явном осведомительстве он пойман не был, мы решили дать ему возможность продолжать ремонт тракторов, оставив тем самым на самой тяжелой работе в мастерской, а дальше ходу не давать. До войны из какого-то волжского городка мать слала сыну посылки, и физическая работа была ему даже в охотку. Но осенью и зимой сорок первого «двойной расход» и тяжелый труд, несмотря на то что мы выписывали людям максимально возможные пайки, сделали свое: Дик «доплыл». Никаких жалоб, угроз, просьб с его стороны, но смотреть на него стало страшновато — синее обтянутое лицо, жуткие своей прозрачностью глаза. Вскоре я зашел к знакомой медсестре после приема и увидел в перевязочной в деревянном кресле по пояс обнаженного Дика. Он скорей полулежал, а не сидел. Вытянутые длинные ноги упирались в стену, раскинутые руки беспомощно свешивались со спинки кресла вниз. Мне показалось вначале, что под мышками у него были кровавые раны, в действительности же там образовались гнезда чирьев, так называемое «сучье вымя». Голова его бессильно склонилась на грудь. И весь он походил на подстреленного кондора. Я остановился молча в дверях приемной. Анечки не было, ушла в аптеку. Вдруг он очнулся, мы встретились глазами. Взора он не отвел, но голова снова обессиленно свесилась к правому плечу. И тут что-то резко кольнуло сердце: я увидел, как он неожиданно улыбнулся. Улыбка была жалобная, но никак не жалкая, и я прочел в ней немую мольбу. Я не мог ошибиться и впился в его лицо, чувства крайне обострились. Молчание длилось минуты две. Вернулась Анечка, я вышел на воздух. Она

лишь подтвердила лагерный диагноз, который и без того был ясен: дистрофия в самой ее лютой фазе.

На следующее утро я рассказал все своим ребятам и предложил им решить, что делать с Диком. Если бы он был натуральным гадом, он давно бы «развонялся», а он молчит и тянет. Когда крысу загоняют в угол, она бросается на человека. Здесь обстояло иначе. Его выступление на суде — реальный факт, но это еще не стукачество, могут быть и смягчающие обстоятельства. И я предложил перевести его с ремонта тракторов, где он явно больше работать не может, на ремонт оборудования, дать ему горизонтально-фрезерный станок, который он сперва должен сам отремонтировать, обещал к нему даже не подходить и принять станок, когда он будет готов. На этот раз мое предложение было принято. Дик соорудил себе козлы, и первые две недели сидел на них, замерев в картинной позе шабровщика.

Люди нашего поколения в гиблых советских условиях уже к тридцати годам успевали пройти естественный, лучше сказать — искусственно-неестественный отбор. Все менее выносливые, более слабые, хуже переносящие вечные недостачи, голодовки, лишения — погибали, а оставшиеся в живых оказывались способными противостоять подобным бедствиям, пока, конечно, они не превышали определенных пределов. Дик был той же двужильной породы, и силы у него с каждым днем заметно прибывали. Через два месяца он прекрасно отремонтировал станок и был закреплен за ним фрезеровщиком. Обе стороны хранили полное молчание.

Когда разделились мастерские и мы уехали на пятый центральный лагпункт, Дик остался на пе́рвом. В начале декабря сорок второго, после смерти Жоржа, он занял его место и стал техноруком. В феврале сорок третьего я приехал в мастерскую первого лагпункта получить чертежи приспособления для расточки блока цилиндров. Дик принял меня приветливо, был разговорчив, шутил по делу и без оного, вспоминал всякие мелочи. В мастерской все было поставлено хорошо, ведь Жорж еще раньше приспособил его своим неофициальным помощником. В то время как мы рассматривали чертежи, на минуту исчезла его улыбка, глаза приняли цвет и выразительность стального лезвия, и, почти не меняя интонации, он бросил: «Вами интересуются!» Тотчас лицо приняло прежнее выражение, язык без паузы составил сле-

дующую фразу о новом способе закрепления резцов в борштанге...

Не только западному читателю, но и сегодняшним подсоветским жителям следует разъяснить, что два слова, произнесенные Диком в условиях того терроризма, для многих очень неплохих людей могли стать пределом их желания помочь другому в надвигающейся беде. Он сказал достаточно, а если бы я обратился за разъяснениями, то встретил бы непонимающее холодное выражение глаз. Думаю, что первоначально не ошибся: Дик сексотом не был, но вызов его в третий отдел в период собирания на нас материалов очевиден.

Третьим толчком можно считать историю с инженером-технологом, появившимся — неизвестно откуда — в ноябре на лагпункте. В те годы при всем нашем бесправии, была значительной фактическая власть у тех заключенных, которые благодаря своему уму, специальным познаниям, опыту, наперекор общей установке, но в силу требований дела были поставлены для руководства на жизненно важных участках. Однако иногда коса находила на камень. Вновь прибывший, с самой российской фамилией и именем-отчеством, солидный с виду, говорить умел складно, убеждающе, но нам сразу резко не понравился. Он чем-то напоминал мне чиновника-кровопийцу из хроник Сухово-Кобылина, многое было у него и от Иудушки Головлева. От его ура-патриотических речей так и разило стукачеством. Все решительно высказались против его зачисления к нам в мастерскую. В лагерях люди подбирались не по принципам полезности делу, а в первую очередь по нужности обществу заключенных. Обратная установка приводила к гибели. Мы это уже хорошо знали, к тому же дела в ту пору шли отлично и без технолога, в коем никакой нужды не было. Но, невзирая на наше сопротивление, его все-таки зачислили в бригаду мехмастерских, и техноруку пришлось изобрести для него специально должность, благо тогда еще до штатных расписаний в лагерях не додумались.

В знании дела отказать ему было нельзя. Но так как производство уже было налажено, он не мог по-настоящему проявить себя, и, как человеку со склочным характером и стремлением выжить за счет других, ему оставалось лишь выуживать грошовые упущения и предлагать усовершенствования, которые для реализации

требовали загрузки станков, необходимых для ремонта машин, работающих для гражданских целей. Все его акции сопровождались демагогией, он не переставал повторять при каждом удобном случае: «Всё для фронта, всё для победы!»

У меня с ним были постоянные стычки, в ходе которых он, конечно, писал на меня и других доносы. В итоге я придумал для него занятие, решив использовать на исправлении бракованных изделий. Со своей задачей он справлялся, хотя для решения трудных операций умело привлекал весь наш опыт и знания.

Мы не смогли очистить от него мастерскую, и это служило признаком подготовки нападения на нас чекистов.

Не следует думать, что стукач обязательно опустился и погряз в низостях и подлостях. Некоторые были старательными работниками, попавшими в лапы чекистов по мотивам, в которых не последнее место занимало стремление старательно угодить начальству и выслужиться.

Был и четвертый толчок. В начале марта 1943 года в наш инженерный барак вселили эстонца по фамилии Кильк. Еще до этого, весной, появился старый эстонец, вытянувший на мастера смены. Вскоре он нас всех по отдельности умолил принять паренька, никакого отношения к железкам не имеющего и ничего не умеющего делать... Просил он за него, как за сына, обещая сам всему обучить. К эстонцам мы вообще относились очень хорошо. Они держались стойко, о стукачах среди них слышно не было. Мастер глаз не спускал со старательного парня, и за три месяца он стал сносным строгальщиком, хотя, конечно, это один из самых простых видов станочных работ.

И вот как-то в январе Кильк запорол большой заказ, который передавался из смены в смену. Дело было настолько ясным, что разбирательство шло на уровне мастеров смены. При этом обнаружилось наглое поведение Килька. Всем стало ясно, что он попал «на крючок» третьего отдела. Я как раз заболел, иначе, узнав, с ходу вышвырнул бы его из мастерской. Без меня побоялись, да и нужного веса не имели. Но ограниченный парень ничего не понял, целиком поверил посулам чекистов. Поэтому и состоялось его вселение в барак инженеров, разоблачающее его как стукача. Мы немедленно за бо-

ка старика эстонца: «Ты что же нам гада подсунул?» Старик сам не свой, трясется, ругает его на чем свет стоит... Позже выяснилось: его вселили к нам, чтобы он обнаружил склад запрятанного оружия. Вместо этого он обнаружил котелок с гречневой кашей, которую мы варили по очереди, и, когда пришли нас арестовывать, один из комендантов безошибочно устремился к этой тумбочке... Дальнейшую судьбу Килька я не знаю, но почти уверен, что войну он не пережил, так как слишком был глуп, нагл и поэтому мог быть очень опасным для окружающих. Скорей всего, его убрали сами эстонцы.

Необходимо отметить и изъяны, ослабившие наши позиции в лагере в совместной борьбе, которую мы вели на свой страх и риск. А именно:

— отсутствие понятия чести,

— разрыв с традициями верности и стойкости.

Поэтому еще в тюрьме мне пришлось удовольствоваться простейшими признаками, которым должен удовлетворять человек. Он должен был быть:

— не стукачом,

— не вором,

— хозяином своего слова.

В самых страшных условиях лагеря военных лет наши люди удовлетворяли этим условиям. Однако, оказавшись в лагерных тюрьмах, большинство из нас нарушило третье требование.

19 марта 1943 года пробил мой час. В одну ночь чекисты произвели аресты двадцати восьми заключенных на всех основных лагпунктах. Операция производилась по правилам и канонам тридцать восьмого года: то же предварительное составление списков, та же внезапность и одновременность, то же соотношение четырех-пяти на одного безоружного, неподготовленного.

Лагерное следствие

Чекисты, создавая абсолютно вымышленные дела, запутывали людей, которые под давлением «неопровержимых улик» из арсенала Вышинского — Берия давали «искренние и чистосердечные» показания. Чекисты всегда рады были выслужиться, так как за осуществление каждого такого дела получали награды, денежные премии, квартиры. Недаром еще в 1940 году на Лубянке главное управление государственной безопасности на-

родного комиссариата внутренних дел (ГУГБ НКВД) расшифровывали в шутку как «главное управление, где бьют, народного комиссариата выдуманных дел».

Всех арестованных в ту ночь связывало обвинение по статье 58², то есть инкриминировалось вооруженное восстание в военное время. Нас ожидал расстрел или десять лет заключения. Большинство из нас в глаза друг друга не видело и о взаимном существовании не слышало.

Опытный стукач с первого лагпункта Кнебель неотступно следил за неосторожной болтовней Салмина. В нашу бытность про этого маленького горбуна в кожаном пальто, посадки тридцать восьмого года, рассказывали, что перечень реквизированных у него вещей еле уместился на тридцати страницах, так как он был из очень богатой семьи бывшего издателя. Зиму Кнебель провел в тепле в качестве лагерного придурка, хотя для осужденного по пятьдесят восьмой нужно было, чтобы там удержаться, специальное разрешение оперуполномоченного. Общих интересов у нас не было, и никто из нас с ним никогда не разговаривал. Но на основании сообщений Салмина и собственной фантазии этот стукач написал серию доносов, запутав таким образом всех нас.

Арестованных разместили в изоляторах при пятом, центральном и четвертом лагпунктах. Оперативно-чекистский отдел, куда нас водили на допросы, был расположен приблизительно на равных от них расстояниях, и мы топали туда и обратно каждый раз около семи километров. На второй, третий месяц совершать такое путешествие становилось очень трудно, так как силы на тюремном пайке все больше таяли.

В первый месяц следствия меня почти не беспокоили. Вызвали, предъявили статью 58². По данному обвинению я отказался давать показания, надеясь, что и остальные займут такую же линию поведения. Но чекисты, съевшие собаку на фальшивках такого рода, оставили в покое несговорчивых и сосредоточили все усилия на податливых. Снежный ком «романа» начал быстро разрастаться. Главным «романистом» был Салмин, от него не отставал наш приятель Владимир, вскоре им начали вторить два молодых бытовика... И через полтора месяца на допросе я услышал изобличающие меня показания...

Особенно ненавистных зэков стражник-конвоир вызывал до утренней раздачи паек и приводил в отдел, где сажал в отдельную клетку-бокс. Оттуда на несколько часов вызывали к следователю, потом опять запирали, держали допоздна и лишь затем отводили в тюрьму. Расчет чекистов был прозрачно ясным: голодные сокамерники не удержатся и сожрут твой паек. Но мы сразу раскусили и сорвали их план. Я, например, наотрез отказался уйти, не получив утренней пайки, а далее потребовал, чтобы мое дневное пропитание не оставляли в камере, а передавали на сохранение в караулку надзирателям. Если бы я угрожал, что пожалуюсь прокурору, это не возымело бы никакого действия, но отказ двигаться, когда никакого другого вида транспорта не было, да вдобавок еще обещание кричать, проходя через кусочек «соцгородка», набитый в то время эвакуированными, никак им не улыбался. Сколько раз я убеждался, что произвол и преступления боятся гласности! Этим оружием следует всегда их сокрушать и в дальнейшем.

Встреча с подследственным в то время, как его вели в чекистский отдел, производила всегда жуткое впечатление. Ослабший человек еле идет, молодой бравый стражник орет, ругается, аж самому стыдно. Люди проходят сторонкой, но всё, конечно, замечают. Однажды, когда меня вели таким образом через соцгород, я повстречался с пареньком лет шестнадцати, сыном одного из видных чекистов. Мне показалось, что я прочел сочувствие на его лице.

На следствии, поскольку терять было нечего, я раза два переходил в словесные атаки и начинал пугать следователя. Однажды я прервал одно из своих молчаливых сидений в кабинете помощника начальника отдела Романенкова, когда тот, по обыкновению, что-то прилежно писал за своим столом, и перечислил несколько фамилий видных ежовцев-следователей, расстрелянных в первый год воцарения Берии. Я знал о них из рассказов в Бутырках.

— Вы спросите, за что? — бросил я следователю. И сам же ответил: — За вредительство, за уничтожение невинных, в том числе крупных специалистов и военных. Начало войны подтвердило это преступление.

Затем я стал говорить о себе.

— Всем здесь известно, что я наладил, пустил в ход военное производство и добился отличных результатов.

Вдруг меня сажают, производство начинает хромать, мне же предъявляют дикое обвинение. Создается впечатление, что кому-то важно вывести из строя лучших специалистов... Мой брат сейчас летчик на фронте, если меня здесь убьют, он не успокоится, пока не докопается до виновников моей гибели. Так это даром не пройдет.

Следователь меня не оборвал, только его довольно смазливое лицо начало подергиваться от какой-то судороги. Впрочем, я замечал это за ним и раньше даже без внешних поводов. Он ответил, видимо, сдерживаясь, спокойно и вежливо:

— Следствие на то и ведется, чтобы разобраться и установить виновность, но уже собранный материал изобличает вашу вражескую деятельность.

Тут я не выдержал и совсем обнаглел:

— Верно, гражданин начальник. Я еще могу напомнить, что органы никогда не ошибаются. Но куда делись чекисты Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова? Ведь они все не ошибались? А я немало встречал их по тюрьмам.

Позднее мне стало ясно, что мое нападение было правильным, хотя о психологии я в то время и представления не имел. В карцер меня не посадили, а вскоре передали другому следователю, и, видимо, этому выступлению я обязан, что мою фигуру не выделили как центральную рядом с Салминым. Я остался на своем очень скромном месте, совсем в тени. Видимо, Романенков уже испытал превратности судьбы, а какими новшествами обогатится конец войны — было неизвестно...

Встречей с тем шестнадцатилетним пареньком я кольнул другого следователя:

— На днях видел одного из ваших подростков. На его еще детском лице я без труда прочел сочувствие ко мне, то есть недоверие к вашим методам. Поражаюсь. Неужели на «активах» никто из соперников или недоброжелателей, которых у вас полно, не спросил, если не о законности, то хоть о целесообразности произведенного погрома военного производства?..

Конечно, до войны и после нее такие разговоры были возможны только, если человека довели до предела, и принести ему они могли только вред. В военное же время ценности выглядели несколько иначе, ибо будущее было неясным. Потому следователь для виду покричал и успокоился. Эти две вспышки были единственны-

ми за все следствие. Я старался молчать, быть безразличным, невозмутимым.

Сталинские следователи — тоже люди. Прослойка природных мучителей, палачей по призванию, в их среде, конечно, выше, чем в массе обыкновенного населения. Но на девять десятых они просто изуродованы безбожием, людоедской идеологией и бесчеловечной системой истребления. Количество звероподобных, низколобых, плотоядных морд среди них невелико. Они более злы, жестоки по задаткам, но по природе не монстры, не чудовища.

У большинства из них одна судьба. В 1935-37 годах проводился массовый набор следователей, как правило, в форме мобилизации. Отказ рассматривался как саботаж, а то и как вылазка классового врага. Далее посылали на краткосрочные курсы. Потом шло присвоение чина, взаимная слежка, накачки на совещаниях, запугивание, реальная перспектива очутиться самому в подвале. И вот, из человека, заранее лишенного света религиозных истин, в кратчайшее время сформирован палач, которым остался бы доволен и сам Малюта Скуратов. Но только у этих новоиспеченных следователей нервишки слабенькие, и многие из них приходили на следствие, накачанные морфием, нанюхавшись кокаина, либо поддерживали себя таким путем «на работе». Кого-то из них списывали по «нездоровью», что означало, что он дошел до сумасшествия или весь дергается от какого-то нервного потрясения... Остальные сидели в своих креслах до очередной чистки либо до смены главного сатрапа, управляющего «органами». Когда это происходило, большой процент из них расстреливали: ведь тех, кто много знает о преступлениях, принято убивать. Многих посылали в специальные лагеря; часть — в лагеря обычного типа, а счастливчиков — на пенсию или в ссылки для продолжения чекистской деятельности. Эти последние тоже уже хорошо разобрались во всем, поэтому старались свое служебное рвение и патологические наклонности на случай ревизии по проискам своих врагов облечь по возможности в процессуальные формы. Чекистам к тому же смертельно не хотелось попасть в армию, потому изготовлением лагерных дел они и оправдывали свое сверхпривилегированное тыловое положение в глазах начальства.

Среди рядовых следователей были и явные садисты,

но развернуться вовсю им мешали более ответственные чины. Таков был молодой Нечаев. Один вид заключенных приводил его в бешенство, на губах выступала пена... По своей инициативе он устраивал внезапные набеги на мельницу, стремясь поймать зэков на выпечке пресных лепешек. С большим рвением обвинял их затем в «саботаже» и часто заводил «дела». Однажды, когда я высиживал, как обычно, свое следствие, мне пришлось наблюдать следующую сценку. Вбежал Нечаев и, извиваясь, как уж, доложил Романенкову, что его собственная супруга вместе с соседкой по квартире попались в лавочке на фальшивых хлебных карточках. Захлебываясь, он заканчивал каждую фразу словами: «Прикажете арестовать?» О моем присутствии они забыли или полагали, что оно не стоит внимания. Нечаев в своих объяснениях всю вину переложил на соседку, а свою жену представил как неопытную жертву обмана. Всем было ясно, что жена Нечаева занимается подобными делишками не из нужды, а ради спекуляции. Но, видимо, арест соседки бросил бы тень и на жену Нечаева, а следовательно, и на чекистский отдел, поэтому Романенков санкции на арест не выдал.

Страшной личностью был начальник следственного отдела Курбатов. Это был полный человек лет сорока с довольно благообразным лицом, на котором выделялись черные, как спелые вишни, глаза. С виду он был спокойный и уравновешенный, даже медлительный, редко ругался и часто говорил о нашей судьбе с уверенностью провидца. Дважды я увидел, как мгновенно исказилось его лицо и из глубины выглянул дьявол. Я понял, что передо мною главная фигура оперативно-чекистского отдела Вятлага. Это он, якобы чужими руками, подводил нас к расстрелу, держал меня все одиннадцать месяцев с уркаганами, настоял на продлении следствия после первого приговора и по этапу отправил на смерть наиболее ему неугодных. Но трудно спрятаться от зорких глаз и чутких ушей недюжинных людей, обреченных на смерть. Палач всегда оставляет следы, которые могут быть расшифрованы и осмыслены. Позднее дошли до нас слухи, что после войны он был переведен в Западную Украину, где его «пришили» бандеровцы.

В обличающих меня свидетельских показаниях я без особого труда выделил доносы Щербы, бытовика, технолога, и с насмешкой заявил Курбатову, что, несмотря

на огромное число стукачей, которых они развели среди заключенных, у них нет настоящей агентурной сети.

— Все провалено, стукачи известны, никто с ними не разговаривает. Вы довели их до того, что они вынуждены клеветать на людей и обманывать своих хозяев.

Я объяснил ему, что если он будет настаивать на достоверности этих лживых сведений, то в порядке самозащиты мне придется обвинить отдел в искусственном истреблении специалистов, производимом из-за слепоты и недальновидности оперативников.

— Каждый должен хорошо делать свое дело. Вот я зэк, а наладил и пустил военное производство, — напирал я на свои заслуги. — Мало того, я написал пять заявлений с просьбой отправить меня на фронт, а ваши работники не имеют правильного представления о людях и попросту губят налаженное дело.

Мне и на этот раз сошло с рук, хотя тут-то я и подглядел его искаженную от злобы харю.

Я не случайно пишу об этом. Надо всегда обнаруживать каждое слабое место, бить по нему, лишать палачей уверенности, разоблачать миф об их безнаказанности. Кто борется и нападает, того не возьмешь врасплох; разоружает себя тот, кто воображает, что организация палачей — монолитная, непроницаемая стена. Учреждения чекистов, как и всякие другие, состоят из людей со слабостями, пороками и трусостью. Поэтому поведение на следствии должно быть воинственным. Один наш одноделец, с которым мы осенью сорок первого опиливали гайки, смотритель маяка Ратманов, получивший основной срок за «антисоветскую агитацию», хотя на воле в своем одиночестве он мог агитировать только тюленей, на все вопросы следователя отвечал неизменными «нет», «не знаю». Одновременно он напирал на свое рабочее происхождение и в силу того, что всю жизнь работал руками, отметал ложные показания и плевал на предъявленные ему обвинения... Не стесняясь, он выражал свое возмущение в очень грубой форме. Тем не менее — а вернее, именно поэтому — он получил пять лет, тогда как другие рабочие, покорившиеся следствию и обличавшие других на очных ставках, получили по десять.

Для устрашения остальных лагерников были распущены слухи, что мы особо важные преступники, подлежащие неминуемому расстрелу. И, однако, когда нас приводили из тюрьмы в баню, расположенную на терри-

тории лагпункта, я своими глазами каждый раз видел зэков, не без сочувствия и страха наблюдавших наше мрачное шествие. В обстановке созданного террора об установлении с нами связей, обычно осуществляемых в бане при передаче новостей, курева, хлеба, — не могло быть и речи, ибо обслуга бани, дрожащая за свое место, в отношении нас этого бы не допустила.

Со времен Ежова в поведении чекистов во время следствия произошли большие изменения. Теперь им не хотелось уже себя утруждать, нарушать сон, перегружать нервы. Они сами были здесь высшим начальством, и им не нужно было перед кем-то выслуживаться. А самое главное, они на опыте убедились, что смертельное изнурение голодом, болезнями, недостатком воздуха ломает людей гораздо хлестче, чем бессонные допросы, избиения, пытки. В их распоряжении не было также достаточного числа стражников, надзирателей и прочих мелких палаческих подмастерьев. Да и крики пытаемых в деревянном помещении чекистского отдела обязательно достигли бы ушей обитателей «соцгорода». Время военное, а так куда спокойнее... Поэтому вели они свою «работу» днем, так, чтобы часам к шести с ней покончить. Жены приносили им из дому обед в хорошо укрытых кошелках под белыми салфетками, и жестокой издевкой был для изголодавшихся запах кушаний. Видимо, это также входило в утонченную программу садистов.

Но лучше всего продумана была основная пытка — курением. Несколькими скрутками, а иногда и затяжками сокрушали волю и способность к сопротивлению глубоко истощенных людей. Курение, особенно в тех условиях, было не просто дурной привычкой, а пороком — человек отдавал дьяволу власть над самим собой. Данное положение подтвердилось в гигантских масштабах в сталинских и гитлеровских лагерях. Но большинство людей, способных произвести нужные обобщения, не пережили столь мучительных рубежей или не придали данному вопросу должного значения. Каждое насилие над своей природой наказывает нарушителя, и в крайнем дистрофическом состоянии следы никотина в крови буквально казнят, доводя наиболее слабых до потери образа человеческого. Курение непосредственно ускорило гибель миллионов заключенных, ибо желание курить побеждало даже жуткий голод и за спичечную коробку

«самосада», выращиваемого на огороде, полускелеты отдавали паечку хлеба — единственный источник существования. Огромное количество людей приблизили на моих глазах свою смерть и погибли, будучи неспособными победить это наваждение. Вот почему из заядлого курильщика я превратился в убежденного врага никотина и с того времени стремился предупредить неведающих о страшной опасности, которая им угрожает.

Мои отказы отвечать на допросах привели к серии очных ставок, на которых тени людей, доведенных почти до состояния невменяемости, изобличали меня в выдуманных чекистами преступлениях. Я чувствовал себя на спектакле китайских силуэтов: тени людей, тени преступлений. Но, так или иначе, на бумаге обвиняемый оказывался опутанным какой-то паутиной, невзирая на несогласие. Стряпня выглядела неубедительной и жалкой, но в тридцать седьмом такого материала хватило бы для расстрела целого лагпункта, а в первый год войны такая участь постигла бы всех двадцать восемь человек.

На наше счастье, с расстрелами за последние полгода полегчало: на разводах давно уже не зачитывали списки приговоренных к «вышке». Но ведь война продолжалась, у следователей же было явное намерение на нас заработать. На следствии я не скрывал свои взгляды. Я знал, что если расстрел наш состоится, то я умру с сознанием, что хоть жизнь моя и прошла бездарно, полная ошибок и спадов, но, возможно, будущий историк скажет спасибо, когда в ворохе лжи и глупых выдумок наткнется на искреннее мнение человека той эпохи. Если же подписанные материалы на расстрел не «потянут», то мои убеждения едва ли повлияют на приговор.

В ходе очных ставок в порядке самозащиты я пробовал сослаться на свое намерение совершить побег. Эту единственную реальную деталь следователь оставлял без внимания. Их интересовали не факты, не улики, а только взаимные наветы людей. Но заключенные были народ «битый» и, невзирая на старания чекистов и помогавших их усилиям «романистов», показаний, требуемых для осмысленного описания организации повстанцев, не давали. Все было шито белыми нитками, грубо и глупо. Позже выяснилось, что по этим материалам «особое совещание» дало нам всем только по пяти лет.

Следователи восприняли такой маленький срок как личную обиду и провели подобие пересмотра дела, о котором многие из нас даже и не догадались, так как допросов они больше не снимали, а усилия сосредоточили на получении дополнительных показаний романистов. В результате мы все получили окончательные десятилетние сроки. Пять лет получили только Юрий и Борис, которые даже к разговорам никакого отношения не имели, пара работяг да романист Владимир.

Если бы можно было судить за стремление осмыслить создавшееся положение и найти из него выход, то в первую очередь следовало осудить меня.

Если бы можно было судить за слова, произнесенные вполголоса избранному числу лиц, то из двадцати восьми можно было бы осудить человек пять, и в том числе в первую очередь Салмина и меня.

Если бы можно было судить за мечты или желание вырваться из оков рабства и избежать направленных на нас средств уничтожения, то, за исключением стукачей и особо зловредных представителей набора тридцать седьмого года, следовало осудить подряд всех заключенных.

Скользкий путь

В лагерной тюрьме я оказался в обществе молодого музыканта из Латвии. К его профессии я относился скептически: мешали воспоминания детства. Мой отец с трудом привыкал к советской действительности и полностью ушел, как тогда говорили, во внутреннюю эмиграцию: все свободное время он играл на скрипке. Поэтому я не только не научился ни на чем играть, но возненавидел скрипичные мелодии. С тридцатых годов по радио кроме советских песен стали усиленно передавать Чайковского и других русских классиков. От такого однообразия меня тошнило. Вернувшись из ссылки в Москву в 1956 году, я опять слышал постоянно в громкоговорителе ту же музыку и немедленно ее выключал. Видимо, все приходит в норму, если соблюдена пропорция. Скажем, по воскресеньям слушать духовную музыку, на неделе западную и раз в месяц классиков. Тогда музыка становится желанной. В тюрьме я не принял еще это в соображение. В рассказе зэка меня лишь поразила старательность, с которой он до ареста упражнялся на корнет-

а-пистоне по четыре-пять часов ежедневно. Я думал, что этого требует только рояль или скрипка и пожалел его соседей.

Музыкант был русским, по фамилии Кретов. Говорил он с латвийским акцентом, но вполне свободно. Поэтому много интересного мы узнали о вольной жизни в Латвии до ее насильственного присоединения к СССР в 1940 году. Мы любили его ответы на различные бытовые вопросы. Сенсационной показалась нам цена шоколада, не поддельного, не из сои, и крайнее удивление вызвало, что шоколадный лом был дешевле сахара. Он рассказывал, как старательно выращивали свиней в Латвии и как строго браковали свиное сало в Англии, если оно было недостаточной толщины, не соответствующих цвета и запаха. В груде представших пред нами обломков мы откапывали верования, религиозные поучения, полученные Кретовым в детстве и теперь им забытые. Ибо он решил, что в этих звериных условиях для успешной борьбы надо самому стать зверем и отбросить скрепы морали. Он старательно копировал повадки воров, их ругань, изучал правила преступного мира. В нашей камере было много учителей — настоящих воров, убийц, мошенников, бандитов. Их пахан, Браславский, вор из Одессы, профессиональный мошенник, был достаточно развит и даже рассказал нам как-то историю создания ликера бенедиктина монашеским орденом.

Пахану были ясны помыслы латышского зэка. Он посмеивался в усы, но его не обескураживал. По всей видимости, по выходе из тюрьмы он задумал какую-то операцию, где новообращенному преступнику отводилась тяжелая и неблагородная роль. В ту пору я был уже опытным лагерником и отговаривал как мог Кретова от принятого им решения. Я объяснял ему, что воры все равно не примут его в свою среду: для них он останется «фраером», «мужиком», инородным телом. Его будут терпеть, пока он им сможет быть полезен. Я знал много разных случаев. К примеру, воры приглашали с собой в побег новичка, а по дороге убивали и питались его мясом. Не для Кретова было завоевать положение в воровском мире: для этого надо было иметь чугунные кулаки, мораль готентота и способность в смертельной схватке идти до конца.

Кретов надеялся, что с ним воры поступят иначе, чем с другими. Действительность подтвердила мои опасения.

Сделка с совестью кончилась печально для него. По выходе из тюрьмы Кретов сблизился с ворами. Они поставили его на самый опасный участок при грабеже каптерки. Его схватили и ему дали новый срок. Такие новообращенные, как правило, кончали плохо: от одного берега отрывались, к другому не приставали.

Начальник, в зуб ногой!

Однажды вечером в нашу камеру лагерной тюрьмы втолкнули вымазанного в крови бандита по прозвищу Юрок Карзубый. Юрком блатные называют воров из татар и башкир, карзубый — синоним щербатого. У бандита действительно зубы были мелкие и очень редкие, отсюда и прозвище. Он убил коменданта — «суку» (бывшего вора, нарушившего воровской закон). Как опытный убийца он учел несовершенство лагерных ножей и несколько раз ударил ими в шею — жизненно важный и незащищенный участок тела. Подбежавшие коменданты и надзиратели основательно его избили, затем привезли в лагерную тюрьму и бросили в нашу камеру. В лагере он числился дневальным в бараке, но как «вор в законе» считал для себя унизительным носить дрова, топить печи, приносить воду, подметать пол. Все это он заставлял проделывать рядовых заключенных, так называемых работяг. Бедняги, намучившись целый день на морозе, возвращались в нетопленый барак и матюгаясь выполняли работы за своего дневального. Он же играл все время в карты, бесконечно разговаривал с ворами, участвовал во всевозможных лагерных преступлениях.

Игра в карты самая большая страсть воров. Досточтенный Юрок проигрался дотла, после чего согласился играть на голову коменданта лагеря. Снова проиграв, он должен был «марануть вчистую», то есть зарезать проигранного коменданта и несколько дней стерег удобный случай.

В нашей камере Юрок по воровской традиции пожелал взять бразды правления в свои руки. Это означало, что львиная доля выдаваемого нам питания пойдет ему и еще двум ворам. Осторожности ради ему следовало бы день-два осмотреться — тогда он обнаружил бы железный порядок при раздаче пáек. В нашей камере преобладали беглецы, главным образом, контрики, то есть осужденные по политическим обвинениям. Это был народ

битый и с лагерным опытом. Когда Юрок с видом хозяина подошел к двери, чтобы участвовать в распределении хлебных паек, раздатчика окружили трое ребят из тех, кто покрепче. Юрок без ножа оказался щуплым и был отброшен в сторону. В гневе он схватил деревянное ведро, вылил из него на пол воду и решил нанести им удары, но у него вырвали негодное оружие. Он поскользнулся, упал и, изрыгая угрозы, полез в угол на нары, где уже сидели два вора. После этой стычки Юрок унялся и больше не стремился к захвату власти.

Уголовный мир понимает только язык силы. С ворами, убийцами и другими представителями преступного мира надо уметь разговаривать. Надо отдать должное чекистам, у них это хорошо получается по причине одинаковой породы с ворами. Поэтому с первых дней коммунистического режима они считали уголовников социально близкими и широко пользовались их услугами.

Следствие по делу Юрка закончилось быстро. Составили только один протокол: все было слишком очевидно. Он не в первый раз совершал убийство в лагере и получал всегда по десять лет. Теперь его приговорили к расстрелу.

Вскоре его перевели в камеру смертников. Оттуда часто раздавался его крик: «Начальник, в зуб ногой!» Так он просил тюремщиков дать ему закурить. В нашей камере он тщетно тоже выкрикивал эту фразу, но надзору было ясно, что мы ему «пообломали рога», и он не опасен: курить ему не давали. В камере смертников Юрок без труда забрал власть в свои руки, и во избежание шума и диких выходок ему изредка подбрасывали курево. Чекисты понимают тоже только язык силы.

Дьявольское искушение

За несколько дней перед голодной смертью желание есть исчезает. Эту особенность я наблюдал неоднократно. Когда происходит непрерывное истощение человека, то чувство голода сначала усиливается, достигает наивысшей точки, а потом несколько ослабляется. Пусть судят физиологи, мои ли это только личные ощущения или они имеют под собой реальную почву. Голод особенно усилился к осени, то был почти шестой месяц моего сидения в изоляторе. Дело дошло до того, что я нарушил железное правило — недопустимо растравливать себя

мечтами о еде. Я сделал хуже — за час до раздачи баланды начал грызть кость, которую специально для этого хранил. Вскоре я сломал два здоровых коренных зуба, так как от потери жизненной энергии они стали необыкновенно хрупкими.

Одновременно меня начал преследовать какой-то гнусный кошмар: прошу бумагу и пишу заявление чекистам, где сообщаю, что человек-волк, о котором я уже рассказывал выше, готовится к побегу, а мне известно выбранное им направление, и в награду получаю полный котелок густой баланды с пайкой хлеба, которых мне невмоготу было в тот день дождаться. Конечно, это был больной бред, но в том состоянии голод был сильнее меня, и я поддался соблазну, рисуя картину насыщения... Характерно, что в состоянии сильного истощения человек мечтает не о каких-то роскошных блюдах, даже не о куске хлеба с салом и чесноком, а только о той жратве, которой тебя сейчас кормят, верней, медленно убивают. Наваждение мне удалось прекратить усиленной сосредоточенной молитвой, и я выбросил кость. Этот месяц был необыкновенно трудным, я изнемогал от преследующего меня голода. Дальше стало легче. Отчетливо помню, что на десятом месяце я был озабочен не густотой баланды, а ее температурой, так как исхудавшее тело требовало тепла.

Как-то в большой камере, из которой вынесли нары по случаю переоборудования тюрьмы, крепко поругались два зэка. Вдруг один из них, наш одноделец, малый с образованием, на четвереньках, как собака, проворно подбежал к обидчику, укусил его за ногу и тем же способом быстро юркнул на свое место. Все, в том числе и пострадавший, были настолько поражены этой выходкой, что разразились хохотом только тогда, когда пантомима окончилась...

В той мрачной полосе жизни, на краю гибели, когда смерть заползает в клетки тела, нечто в тебе спеленутое и побежденное вдруг властно заявляет о своем существовании, хватает за горло и требует осуществления какого-то чудовищно иррационального действия.

Открытие Прохорыча

Мне посчастливилось: в 1928 году в нашей школе был прекрасный преподаватель литературы Ф. Бережков — знаток Гончарова и Достоевского. Последним он просто бредил. Достоевский в то время, кажется, был уже давно исключен из учебных программ, но с Бережковым мы проходили его полгода и неоднократно к нему возвращались. Однако до сих пор для меня окутана тайной громадная сила Достоевского как психолога, ясновидца и пророка русской революции.

Достоевский для меня подобен высокой горе. Я вижу доступные мне подножие и примыкающие к нему склоны. Вершина — в облаках; лишь иногда вырисовываются неясные контуры, отдельные детали, намеки на целое, лежащее в области неведомого.

Но гениальность не гарантирует от ошибок. Достоевский был четыре года на каторге, служил в армии в нижних чинах и поэтому не мог не знать худших представителей крестьянского мира. Это не помешало ему поддерживать миф о народе-богоносце*. Увы, слой самых лучших, набожных, благообразных добрых крестьян с длинными окладистыми бородами оказался очень тонким, и в годины испытаний не он определил поведение крестьянства.

Лев Толстой, проведший почти всю жизнь с крестьянами, в свою очередь, оказался не свободным от их идеализации. Его Платон Каратаев, вероятно, появился в результате наблюдений за юродствовавшим или за понявшим, как угодить барину, мужичком.

В начале войны теперь известный всему миру Солженицын попал в обоз, где его матюгали, высмеивали, на него орали... Позже, когда он дослужился до лейтенанта, солдаты-артиллеристы относились к нему вежливо, обходительно. Сила Солженицына в том, что он был красноармейцем, курсантом, офицером, после войны отбыл восемь лет в заключении, три года в ссылке, затем учительствовал в глухой российской деревушке и в городской средней школе. Он — кость от костей труженицких, и этого заряда ему хватит на всю жизнь.

В романе «В круге первом» Солженицын тоже описы-

---

* Так называли русский народ славянофилы и даже Достоевский. Их ошибка заключалась в том, что прекрасные душевные качества незначительного слоя крестьян они переносили на все население.

вает крестьянина. Но Спиридон не Каратаев. Как бы выкованный из железа, он убеждает, удивляет, страшит... Со Спиридоном я был знаком на шарашке, брал у него правленую пилу, иногда с ним переругивался. На моем пути попадались и другие спиридоны, судьбы которых подтверждают глубокую правду, извлеченную Солженицыным из нашего дворника.

Один из таких спиридонов, бывший солдат первой мировой войны, не такой оборотень, как солженицынский герой, был мне гораздо милее. За свою жизнь я встречал многих бывших солдат, участников той войны. Большинство из них после революции были разагитированы, поэтому они не хотели воевать, участвовали в так называемых братаниях, оставляли без боя позиции, открывали фронт, дезертировали, убивали своих офицеров... Наверно, вследствие позорности и глупости поведения, так редки и скупы были их рассказы.

В большой камере изолятора, где меня держали в первые полгода и через которую прошло много уркаганов, бытовиков, беглецов, встречались и осужденные по пятьдесят восьмой. Одним из них был мой спиридон, мужик лет пятидесяти пяти, прошедший германскую и дослужившийся до унтера. По всему было видно, что он был бравым воякой. Достаточно умный, он стал страшно подозрительным за годы советской власти, — видно, били его достаточно, — но природная разговорчивость часто брала верх, и трубный голос его постоянно гремел в камере. Во всех его сообщениях чувствовался скрытый подтекст, хотя прицепиться сексоту к ним было трудно. Я задавал нужные мне вопросы по возможности наедине, на оправке либо на прогулке, и часто подходил к нему, меряя шагами камеру, когда он садился на нижние нары. Из его, в общем-то, мало откровенных и порой путаных ответов, благо времени было хоть отбавляй, я установил все же следующие положения:

— не было у него никаких сомнений в преимуществах для крестьян жизни в условиях царской России. Семья его пользовалась благами столыпинской реформы. Под конец, почувствовав ко мне некоторое доверие, он стал отзываться о царской России как о чем-то сказочно хорошем, навсегда ушедшем... «Кто не пьянствовал и не бездельничал, мог себе добыть все, что нужно. А государь был простой, народ жалел...»;

— не сомневался он и в необходимости победы Рос-

сии над Германией в ту войну. Он участвовал со своей батареей и в широком прорыве ударных частей летом 1917 года, когда, как известно, они вынуждены были откатиться назад, не получив поддержки митинговавших частей. Не было бы черной измены — июньским наступлением могла бы закончиться война. Он гудел от возмущения, когда рассказывал об этом в темноте под нарами, забывая, что минуту назад говорил шепотом.

Сведения его о периоде гражданской войны были отрывочны и противоречивы. Я так и не смог добиться, был ли он у белых или у зеленых, одно ясно, что не у красных. Судя по всему, конечно, у белых, ибо своим разумом он хорошо понял с самого начала нутро антинародной власти и вряд ли бессмысленно отсиживался в лесу с зелеными. Кроме того, последующие его действия изобличали в нем человека, извлекшего урок из грабежа зажиточных крестьян, продразверсток, «самообложений», комбедов, продотрядов с их шомполами и расстрелами.

Он понял ярую противокрестьянскую основу этой власти, и первым его поступком было распрощаться с хутором. Он переехал с семьей за много верст в деревню, где его никто не знал. Он помнил «военный коммунизм», был слишком грамотным, чтобы клюнуть на лозунг «Обогащайтесь!», не брал ссуд и старательно содержал себя на уровне середняка. Так спас он себя и семью от раскулачивания в 1929 году и даже проходил в «чине» председателя колхоза до прихода немцев в 1941 году, так как его деревня была недалеко от Москвы под Волоколамском. Свое участие в раскулачивании он отрицал категорически. Вероятно, это действительно прошло мимо него, и его выдвижение произошло после ряда неудач с другими председателями. Со своими обязанностями он как-то справлялся; колхоз был, конечно, нищим, на трудодни ничего не давали, но падежа людей он все же сумел избежать. Перед приходом немцев он раздал колхозникам запас семян. При немцах полдеревни спалили, в том числе и его дом. Когда советские вскоре отбили эту местность и его снова назначили председателем колхоза, кто-то из недовольных «стукнул», что он раздал семена, а теперь нечего сеять. Последовали немедленный арест, суд, срок.

Судьба этого человека не столь уж замечательна, и не следовало, может, уделять ей столько места, но меня потрясло сделанное им открытие. Он считал, что количест-

во земли бóльшее, чем то, которое может быть тщательно возделано, вредно; участок в четверть гектара в тех условиях, при ручном труде, был пределом возможностей небольшой крестьянской семьи. Все зависит от качества обработки.

Сколько писали о вечной тяге крестьянина к земле! Уж как ни натравливали крестьян на помещиков и друг на друга, как ни разжигали ненависть к одним и сочувствие к другим, и оказывается, почти все это — зря. Конечно, многие несчастные люди под давлением безвыходной нужды пришли к таким же выводам. Но я впервые услышал столь продуманную и хорошо проверенную на опыте установку из уст самого председателя. Ее своевременной реализацией он объяснил малый падеж рабсилы в своем колхозе. В пору середнячества он уже понял это и проэкспериментировал свои соображения на приусадебном хозяйстве. Тот же вывод следует распространить на современные зерновые фабрики, раскинутые на огромных площадях. Определенное соотношение между интенсивностью возделывания земли и засеваемым количеством зерна верно и здесь, поэтому нельзя увеличивать площадь при невозможности сохранить требуемый уровень обработки.

Под конец совместного пребывания в камере у Прохорыча, как мы называли его по отчеству, а его имени и фамилии я так и не знал, начался понос. Его забрали из камеры вместе со многими другими «беглецами» и отправили на шестой штрафной лагпункт, где он, конечно, погиб. В изоляторе он содержался за попытку побега.

Много раз я проверял рекомендации Прохорыча на бывших крестьянах, особенно на тех, чьи отцы имели до коллективизации относительно крупные земельные участки, а потом подверглись раскулачиванию. Они насмехались над тем, как их отцы били сбрую телеги, лошадей и изводили самих себя, кое-как распахивая чрезмерные наделы и продолжая завидущими глазами смотреть на тех, у кого земли было больше. Рассуждали они, как и мой спиридон.

Тепло становилось на сердце от этого вывода. Значит, не завистью, не злобой решается земельный вопрос, а в первую очередь — культурой труда, профессиональными навыками, усвоением передового опыта... Так произошло, например, в Индии. Голод и вымирание от недородов были постоянными спутниками жизни. Англичане ирри-

гационными работами заметно сократили эти бедствия. Но традиционный голод в Индии и Китае окончательно мог бы быть изжит «зеленой революцией» — изысканиями американского селекционера Н. Борлауга, предложившего свой сорт риса и пшеницы*.

Глава 9

ЛОМ-ЛОПАТА

Пугало Вятлага

По окончании следствия создалось впечатление, что чекисты решили со мной разделаться. У них, конечно, не оставалось никаких сомнений относительно моих мнений и настроений: было ясно, что я непримирим. Поэтому, не надеясь на смертный приговор, — их стряпня была слишком бездарна, — они решили прикончить меня в стенах изолятора — лагерной тюрьмы. Я думаю, что это предположение правильно, так как именно меня держали все одиннадцать месяцев с уголовниками, причем с самой страшной их частью — с убийцами, которых сразу же после ареста кидали в мою камеру. За это время через нее прошли самые отвратительные уркаганы — лагерные бандиты. Много было всяких встреч и тяжелых столкновений. Однажды даже в камеру втолкнули двоих, когда они еще были покрыты кровью своих жертв.

Но все это бледнеет по сравнению с Лом-Лопатой. Это был совершенно легендарный преступник. В его формуляре было записано, что он не отвечает за свои действия, и это давало ему неограниченную возможность делать все, что он хочет. Правда, каждый раз за новое убийство он получал новые десять лет, которые всегда начинались с момента его последнего преступления, и, в общем, он все время находился в лагере со своим изначальным десятилетним сроком. В лагерной тюрьме он не задерживался, так как состав преступления был всегда налицо, и для окончания следствия достаточно было

* На тридцать лет раньше подобные исследования проводил академик Николай Иванович Вавилов. Режим скрыл от мира его открытие, а сам автор в 1943 году погиб от голода в Саратовской тюрьме.

одного-единственного протокола. В то время Лом, будучи «сукой», то есть нарушителем воровского закона, счел для себя более удобным перезимовать в изоляторе: из-за перевеса воров на лагпункте он боялся за свою жизнь. С этой целью он убил какого-то заключенного, на этот раз не так явно, как обычно, и благодаря этому смог тянуть следствие, требуя психиатрической экспертизы. После первого медицинского заключения Лом-Лопату водворили в мою маленькую камеру, предназначенную для нескольких человек. Довольно долго мы лежали с ним только вдвоем на верхних нарах, где виден хоть кусочек неба и чуть больше воздуха, чем на нижних, представляющих подобие темного мешка.

С виду в нем ничего особенно зверского не было. В детстве я встречал таких ломовиков. У него было широкое, твердо очерченное лицо с плотно сжатыми губами. Сытый, он мог вполне нормально разговаривать, слушать, задавать вопросы. Когда был голоден, в нем просыпались звериные качества. Видимо, на это и была ставка: чекисты рассчитывали, что мы обязательно с ним столкнемся, и не ошиблись.

В лагере он всегда жил за счет других. Политические были в то время худыми, истощенными, он же пришел в изолятор в «справной форме», в почти нормальном весе. Поэтому первые недели, хотя паек был убийственным, он не испытывал еще мук голода. Мне пришлось с ним коротать время. Я слушал о его похождениях, побегах, о жутких лагерях на Печоре в 1937-38 годах. Это там производили расстрелы контриков за невыполнение норм, нарочно прекращали кипятить воду, вследствие чего зэков, вынужденных пить болотную жижу, начинала косить чудовищная дизентерия. Он напевал блатные песни, и в памяти застряло: «Черные, как уголь, тучи летят над головой...» Я пересказывал ему чаще всего О. Генри, чтобы не остаться в долгу. Надо сказать, что он воспринимал эти новеллы достаточно осмысленно, смеялся, где надо, и даже понимал концовки. Его никак нельзя было считать каким-то умственно отупелым существом; он был на уровне людей преступного мира и обладал соответствующим опытом.

Так, без стычек, прошел почти месяц. Затем, не подписав протокола окончания следствия, он потребовал новой экспертизы. Органы считали блатных социально близкими, доступными перевоспитанию и постоянно

шли им на уступки. Вот его и отправили на четвертый лагпункт, в одну из так называемых «психбольниц», где он объедал настоящих сумасшедших, то есть отнимал у них еду, обыгрывал их, обманывал и через месяца полтора-два, отъевшись, он вернулся опять в мою маленькую камеру.

По окончании следствия мы, двадцать восемь однодельцев, стали числиться за Особым совещанием НКВД, и абсолютной власти над нами у местных следователей уже не было. Слабость чекистов всегда во взаимном подсиживании, в боязни друг друга. Во время следствия они могут дать указание санчасти не вмешиваться и держать арестованного на общем пайке, при этом никто и не пикнет. Следователь может также посадить в карцер на триста граммов хлеба на определенное число суток, и тюрьма точно выполнит его письменное распоряжение. Но когда следствие окончено, устного распоряжения не давать такому-то больничного пайка уже недостаточно. Начальник санчасти, опасаясь очередной склоки, не хочет рисковать, предпочитает загородиться бумажкой, то есть иметь про запас произвольное распоряжение третьего отдела, а следователь, в свою очередь, боится дать письменное распоряжение.

Вот в силу таких причин в числе остальных сильно истощенных больничный паек был получен и мною. Он отличался от общего лишними ста пятьюдесятью граммами хлеба, кусочком сахара и ошметкой требухи или селедки. Голодную фантазию Лом-Лопаты различие пайков крайне раздражало, и он начал ко мне приставать, предлагая играть с ним в карты. Я вообще их не признаю, а с ним играть было бы самоубийством. Блатные играют с «фраерами» только краплеными картами, то есть я наверняка отдавал бы ему свою пайку. Я всегда категорически отказывался от такого рода предложений; поступил так и на этот раз.

Каким образом Лом-Лопате не удалось выколоть мне глаза

Когда наши отношения начали портиться, а голод тем временем совершал свою разрушительную работу, в нашу камеру бросили трех бандитов, которые что-то натворили на лагпункте. До этого мы с Ломом лежали на верхних нарах, каждый в своем углу. Когда появи-

лись бандиты, я собрал пожитки и полез вниз. Общего у меня с ними ничего не было, а на нарах и четверым еле поместиться. Поэтому я не стал дожидаться приглашения спуститься, а сделал это сам. Через какой-то час раздались крики, ругань, и Лом-Лопата кубарем полетел на пол. Дело в том, что бандиты были «воры в законе», а Лом-Лопата — «сукой». Между ворами и суками идет непрерывная война; в любом случае возникает ожесточенная драка. Вот они и решили сбросить его с нар, поскольку, как сука, он не имел права находиться в их непосредственной близости. Смотрю — свешивается какая-то голова и кивает, манит, объясняет, что я должен подняться. Предложение было слишком настойчивым. Я не счел возможным упираться, ибо силы были почти на исходе, и трудно было сопротивляться Да это были и не те события, которые, как мне казалось, непосредственно могли повлиять на жизнь, поэтому там, где было можно, я уступал. То, что я оказался наверху, в их обществе, страшно подействовало на Лома и породило злобу. Он, старый, заслуженный уркаган, находился внизу на темных нарах, его исключили из компании, а я, «фраер», был наверху! Я понял по его повадкам, по некоторым словам и замечаниям, что его отношение ко мне резко изменилось. Я стал для него гораздо большим врагом, чем воры, которые его сбросили.

Обход и первая кормежка начинались часов в шесть утра. Я сидел в изоляторе уже месяцев девять, и эта минута была для меня вожделенной. Все к ней тоже готовились, ждали ее с нетерпением. Поэтому я обычно слезал с нар и прогуливался: делал три шага в одну сторону, три шага в другую, так как больше места не было. Как-то, в один из этих дней, я чувствовал себя особенно слабым, присел на нижние нары и безучастно ждал. За несколько дней перед этим у нас перегорела лампочка, которая освещала камеру и одновременно отбрасывала свет в коридор. Внизу была полная темнота, наверху чуточку посветлей: туда проникали какие-то блики из коридора. Лом-Лопата, который обычно сидел неподвижно, начал вдруг ходить и несколько раз, приближаясь почти вплотную ко мне, останавливался. Я не обращал на него никакого внимания.

Началась проверка. Обычно дверь приоткрывалась не полностью, надзиратель просовывал голову и пересчитывал заключенных. И на этот раз он проделал то же

самое. Вдруг Лом, как сорвавшаяся пружина, бросился на надзирателя. В деревянную палочку для пришпиливания довесочков хлеба к пайке он сумел заправить длинную, толстую швейную иглу, которой сшивают мешки из дерюги, и, вооружившись ею, в каком-то совершенно зверином, безумном порыве — ведь в какие-то моменты он все же был невменяем — метнул в надзирателя заготовленную для меня лютую месть. Направленная в глаз надзирателя игла попала в его переносицу. Он отпрянул, закричал. Три бандита соскочили, схватили Лом-Лопату, начали сильно лупить, затем его увели в карцер. Совершенно ясно, что меня спасла лишь темнота. Потухшей лампочке обязан я тем, что не стал слепым или одноглазым.

Лома вернули довольно быстро. Дикое ожесточение и ненависть этого страшного убийцы вылились по какой-то странности на меня, а не на трех бандитов, которые его избили, помогая надзору обезоружить. Благодаря каким-то сдвигам в психике его больное воображение изобретало врагов на ходу, и я оказался таким смертельным противником. Бандитов скоро осудили, потому что они во всем сознавались, все подписывали, стремясь вернуться на лагпункт и продолжать опять свою жизнь за счет других заключенных.

Прав ли был Хома Брут, когда очерчивал около себя круг?

Мы остались один на один. Тут уже началось нечто страшное. Присутствие бандитов сдерживало Лома. Когда же они ушли, он почувствовал свободу и решил, что настало время со мной окончательно разделаться. Он называл меня презрительно «анженер» и с этой поры все чаще и чаще повторял: «Ну, анженер, из Кайских лесов тебе живым не выйти». На что я неизменно отвечал: «Уверен, что выйду» — и старался не поддерживать разговора. Спасало меня, видимо, то, что я не обнаруживал никакого страха, когда, казалось, надо трепетать. Ведь я был в одной клетке со зверем. Но мое положение было даже хуже. У зверя только инстинкты, а у него вдобавок — человеческая хитрость, изворотливость и большая физическая сила. В эту пору он, конечно, был гораздо крепче меня. Шел десятый месяц моего пребывания в лагерной тюрьме военного времени, слабость все

увеличивалась, а он только приехал с «побывки», где подкрепился за счет больных. Я не боялся Лом-Лопаты. Позднее, осмысливая происшедшее, я понял, что дух человека всегда бесстрашен, дрожит лишь плоть; а так как мое тело было очень истощено, то центр восприятия переместился в сферу духовную. Сидя в обычной позе на нарах, не производя никаких знамений, я незаметно молился, и это было главное. Нормальный сытый человек меньше подвержен повышенной духовности, чем голодный псих, который в возбужденном состоянии воспринимает многое гораздо более остро, цепляется за то, что обычно оставляют без внимания. Я все время видел, что ему хочется что-то мне сделать: например, ударить, вырвать хлеб, — но он не может. У Гоголя в «Вие» один из бурсаков очерчивает около себя круг на земле, чтобы отогнать нечистую силу. Я не замыкал себя ни в каком кольце, не думал тогда об этом, но, видимо, мои молитвы и не обижающее никого существование создавали какую-то астральную броню. Иначе я не могу объяснить, почему этот зверь, столько раз обнажавший свое нутро, ни разу меня не ударил, не столкнул с нар, хотя кипел дикой злостью. Столь странный, непонятный феномен я объясняю только возникновением астральной брони вокруг себя.

Единоборство с Лом-Лопатой

Но вот произошло событие, когда я сам прорвал эту преграду. Лом изнывал от голода: дополнительных источников питания не было, у меня он тоже пайку отнять не мог, да я и не отдал бы ее ни за что.

И вот, он надумал старую блатную выходку, в которой мне была уготована определенная роль, а я от нее, к сожалению, отказался. Блатные вечно проносят гвозди, иголки, кусочки ножа — «мойки». Лом тоже принес гвоздь и камень, скорей всего из бани, хотя после случая с иглой его особенно обыскивали, и, казалось, у него не могли оказаться режущие и колющие предметы. Затем он выкинул довольно картинный номер, который производит впечатление на новичков, а у старых тюремщиков обычно вызывает усмешку. Он взял ржавый гвоздь, проткнул мошонку и таким образом прибил себя к нарам. При этом я, по его указке, должен был выкрикивать диким голосом какое-то блатное слово, означавшее это действие. Я же уперся и полностью выключился

из игры, хотя мне ничего не стоило выполнить его требование, и позже я порицал себя, что его не поддержал. В моем состоянии о многом тогда думалось лениво и плохо. Подождав несколько минут, он сам начал орать. Прибежала охрана, надзор; из него вырвали гвоздь и ограничились тем, что надавали по шее, так как преступлением это не считается, нарушение тоже небольшое, в порядке нравов преступного мира. Воры «расписывались», «замастыривали» себе болезни, проделывали вышеописанную выходку и многое другое, чтобы уйти от серьезной опасности.

Лом совершил это лишь для того, чтобы получить добавку баланды. Обычно ее отдавали привилегированным заключенным в других камерах, и за все одиннадцать месяцев нам принесли впервые.

И тут я совершил вторую, на этот раз большую ошибку. Раз уж я не принял никакого участия в этой комедии, кровавой и в общем довольно мерзкой, то не должен был иметь отношения к остаткам пищи, которых он добился своими силами. Но я так наголодался, что когда загремел замок и полушепотом было сказано: «Добавка! Давайте миски!» — первый ринулся с нар и получил ее. Тогда он совершенно справедливо заорал, что все принадлежит ему. Но я, не слушая, жадно съел всю миску на этот раз довольно густой жижи. И тут Лом пришел в неистовство. Главное, он почувствовал свою правоту и заявил, что, если я полезу еще раз, он меня прикончит. Я ему ответил на его же жаргоне, что никаких особых прав он не имеет: я здесь уже десять месяцев, он же сидит только полтора, и поэтому оснований у меня больше, чем у него. Тем не менее внутренне я все-таки знал, что совершаю что-то ошибочное. На следующий день история повторилась. Я получил одну тарелку, а он три, но не это имело значение. Важно, что я произвел какое-то принципиальное нарушение. И позже я понял, что сам нарушил астральную броню неправильными действиями, покусившись на что-то, не мною завоеванное.

Я жадно начал есть, поглядывая в его сторону. Он же расставил свои миски — запас их всегда находился в камере, так как она была рассчитана на восемь человек, — и с видом, не предвещающим ничего хорошего, поднял вверх свой правый кулак мясника и молотобойца, медленно опуская его по мере своего приближения. Мускулы у него были еще совсем крепкие, невысохшие,

ручища громадная, до колена. И этой отведенной дугой, представляющей натянутую мышцу огромной силы с кулаком на конце, он направил прямо мне в живот удар, достаточный, чтобы просто разорвать кишки, ставшие за десять месяцев очень тонкими. Я даже не стал выставлять вперед руки, а, наоборот, прижал их к туловищу. Все равно мне с ним было не справиться. Но я напрягся и в момент, когда увидел, что дуга стала двигаться, молниеносно пригнулся. Поэтому удар, к счастью, пришелся не по кишкам, а по ребрам, по грудине и слегка по тому месту, которое называют «под ложечкой». Поскольку удар был сильный и страшно чувствительный, у меня пресеклось дыхание. Я наклонился, ловя воздух. Это спасло меня от смерти, так как инстинктивно я оказался в положении, когда он не мог поразить второй раз то же место. Резонанс от этой страшной контузии остался надолго в организме. Он, конечно, мог меня прикончить, нанести еще десяток ударов, скажем, по почкам и отбить их. Но спасло также то, что он был псих: удовлетворив свое первое желание, он набросился на еду и стал обжираться.

Я тоже съел все, немного отдышавшись. Как ни странно, когда он меня спросил: «Ну, что, полезешь еще?» — я ответил: «Обязательно!» После страшной боли я почувствовал себя опять духовно окрепшим. То была компенсация за совершенный мною духовный проступок. Броня снова замкнулась, и я стал неуязвим. Моя непреклонность, отсутствие страха и колебаний одержали победу над его психикой; он был раздавлен своей неспособностью подчинить меня своим требованиям.

Наступил следующий день. Он все время крутился, вертелся внизу, ибо наверх не перебрался из какого-то принципа: «Раз уж сбросили, сам больше не лезу». На это его примитивного мышления хватало. В общем, он был вне себя и метался, как зверь в клетке. Я же видел, что побеждаю его своей непреклонностью, и мне было даже интересно. И опять на третий день я не отказался от добавки. До этого мы весь день пререкались, ругались, я опять доказывал, что имею прав больше, чем он. Играла здесь роль еще и чисто животная сторона голода. Но с другой стороны, я считал, что не могу ему уступить, и на этот раз одержал окончательную духовную победу. Я видел, как он весь корежится, говорит сам себе вполголоса: «Ну, какой я блатарь, если не мо-

гу задавить этого фраера... Я гад, падло». К счастью, через три дня яблоко раздора исчезло, но для него совместное пребывание со мной в одной камере стало невозможным. Его убивало чувство какого-то унижения, поражения, сознание, что он не может меня добить. И вот дня через два он прямо сказал: «Иди к начальнику и проси, чтобы меня или тебя взяли отсюда. Не заявишь, я тебя 'сделаю'». Я понял, что это не пустая угроза, так как его «самоедство» переходило в исступление. Во время утренней проверки я потребовал начальника тюрьмы. И при раздаче обеда еще раз сказал, что, если тот меня не примет, мои товарищи будут знать, что чекисты сознательно организуют убийство. Через полчаса или час меня вызвали. Начальником тюрьмы был парень, который пришел недавно с фронта; на руке его оставались еще следы ранения. Я ему объяснил положение вещей: «Вы меня держите с чудовищем. Всем известно, что он невменяемый, что у него тем самым право на убийство. Так вот, отношения у меня с ним дошли до точки: сегодня оно произойдет. Я сопротивляться не могу. Он— здоровенный мужик, которого вы сохраняете для расправы с другими заключенными, несмотря на десятки его преступлений. Имейте в виду: вы — молодой человек, вам есть что терять, мне же терять нечего. Если до вечерней проверки меня или его не переведут, я буду кричать на всю тюрьму, что лично вы совершаете убийство».

Может, угроза была и не страшной, но приятного тоже было мало. Начальник тюрьмы знает, что за ним следят надзиратели. Так или иначе, это возымело свое действие, и вечером раздалась команда: «Лом-Лопата, с вещами!» Я понял, что остался жив.

Лом-Лопату перевели в камеру, сорганизованную как раз в это время из бытовиков и уголовников, которые уже прошли следствие, а теперь дожидались суда и отправки на лагпункты. Их выводили на работу, на мотопилу. Лом-Лопата в первый же день, совершенно без всяких оснований и причин, топором отсек одному заключенному затылок. Видимо, нужна была разрядка, и раз не удалось на мне, он проделал это на совершенно другом человеке, первом встречном, подвернувшемся ему под руку. Ему опять дали десять лет, но это не имело для него никакого значения. Таких людей власти тогда не расстреливали, они были удобны для расправ с контриками.

Тайна славянской души

По странной, забавной случайности мы еще раз встретились с Лом-Лопатой. Это произошло уже через три года на Воркуте в 1946 году. Я работал там на заводе инженером, то есть был в привилегированном положении. Лом-Лопату же прислали очередным этапом, и он, как ссученный вор, попал на мой лагпункт бригадиром режимной бригады. Как-то раз я увидел его издали, и мы перекинулись парой слов на лагерном жаргоне, что в переводе на русский соответствовало примерно следующему: «Ну, как, Лом, твое предсказание не сбылось?» — «Да, ты — живучий».

Вскоре случилось так, что одного нашего чертежника за какую-то провинность должны были отправить в режимную бригаду. На правах старого знакомца я пошел к Лому вечером и сказал: «Так и так, придет к вам наш парень. Не обижать, не курочить, не раздевать. Смотри, чтобы был порядок». — «Ну, что ты, конечно».

Тут же на столе появился котелок с кашей, и он предложил мне принять участие в трапезе. Самое интересное, что я не чувствовал к нему ни злости, ни обиды, ничего решительно. Мы о чем-то поговорили, даже посмеялись и разошлись. Вскоре он уехал с Воркуты, так как послал вместо себя на медосмотр какого-то доходягу, и его «сактировали». Такие истории были обычными. На Воркуте в те годы не держали очень истощенных. Лом попал в Карагандинские лагеря, хотя был, наверное, толще всех заключенных Воркутлага. Перед отъездом я его спросил: «Ну, как ты, Лом?» — «Ничего, когда сыт, я совершенно спокоен, мне ничего не надо».

Причина нашей вполне добродушной и беззлобной встречи открылась мне много позже, когда я стал переосмысливать описанные события. Я ненавижу ложные, вредоносные идеи и ярых их выразителей, но к людям, с которыми меня сталкивала жизнь, я редко испытывал ненависть, злобу, мстительность. Вместо них появлялись отталкивание, отстранение, в худшем случае — презрение, омерзение. Длительное время я рассматривал в себе эти особенности как неполноценность и неспособность достаточно глубоко расчищать делянку жизни от сорняков и плевел. Потом успокоился, когда понял, что зло имеет главарей и задавленную ими мелочь. Ненависть нормальна к первым и неуместна — ко вторым. И если

уж без этого чувства не проживешь, то презирать надо в первую очередь свою способность к низости, к греховному, к пагубному.

Громадная вереница представителей преступного мира, которая прошла перед моими глазами, подарила мне точное наблюдение, что в этом мире — два полюса. На одном — дегенеративные морды из галереи Ломброзо с явно выраженными комплексами, которые при любом строе должны совершать преступления и отдаваться своим порокам: на другом — парни с нормальными лицами. Если последних приодеть, то не отличишь в толпе. Только два признака выдают их профессию: воровские бегающие глаза да вертикальные складки возле углов рта у тех из них, кто не раз садился по «мокрому делу». Вот, в отношении этого второго, преобладавшего тогда среди уголовников, контингента, можно было сказать с уверенностью, что их появление на этом полюсе произошло вследствие колоссальных преступлений бесчеловечного режима, жертвой которого они были. Большинство из них в светлые минуты это понимало, и резкий антагонизм между ними и контриками возникал почти исключительно на почве чудовищного голода, искусственно разводимого властью. В сравнительно сытые периоды злобность почти исчезала, а если имела место, то главным образом за счет ее поддержания беспардонной чекистской сворой.

В 1930 году семью Лом-Лопаты раскулачили и полностью сгубили в Сибири. Один лишь он уцелел, так как, мальчишкой, бросил своих, убежал на железнодорожную станцию и доехал до ближайшего города. Конечно, средства для существования он добывал единственно возможным для него способом — воровством, ставшим позже его профессией. Последовала тюрьма, ряд побегов, новые сроки наказания. В начале войны, чтобы не попасть штрафником на фронт, он убил в тюремной драке другого вора и получил срок десять лет по статье пятьдесят восемь четырнадцать за саботаж в военное время. Играя с блатными на «кровный костыль», он их систематически обыгрывал краплеными картами, за что был признан нарушителем их закона и, как «заигранный», объявлен «сукой». Тогда началась серия драк, убийств, в результате чего его признали психически неполноценным, невменяемым.

Я думаю, теперь станет более понятной наша по-

следняя встреча с Ломом. Когда мы оба были сыты, одеты, не изнывали от изнурительного труда — повода к вражде не было и наши отношения были вполне человеческими. Помешать могла злопамятность, но в нормальных условиях в славянской душе это чувство слабо развито. Отсюда и добродушие нашей встречи. Так, в каком-нибудь XVI веке стрелецкий сын моего рода мог в чистом поле повстречаться с молодым запорожцем Лом-Лопатой, а в наше время потомки стрельцов и запорожцев столкнулись в искусственно созданном аду.

В нормальном человеческом обществе «теорийка» о том, что среда создает преступников, в корне ошибочна и лжива; в свое время еще Достоевский ее разгромил. Но для режима, поддерживаемого ценой нагнетаемых ужасов и гигантских преступлений, это положение вполне справедливо, если только заменить слово «среда» словом «система».

Глава 10

ЧУДО

Почему мы не погибли от голода в лагерной тюрьме

Нас, двадцать восемь заключенных, привлеченных за «попытку вооруженного восстания», продержали в лагерной тюрьме Вятлага одиннадцать месяцев с 19 марта 1943 по 19 февраля 1944 года.

В 1941-42 годах изолятор был набит до отказа, причем многих подследственных, как и нас, обвиняли в таких же «попытках». Они погибли от цинги, дистрофии и пеллагры, а часть из них была расстреляна[7].

В 1942-43 годах волна выдуманных «повстанцев» несколько уменьшилась. К этому времени уменьшилась и смертность.

В нашем потоке из двадцати восьми умер лишь один. Это объясняется тем, что в это время началась продовольственная помощь Америки. Без нее большинство из нас погибло бы в стенах изолятора: выдержать одиннадцать месяцев на тюремном пайке было немыслимо, особенно таким, как я, уже сильно истощенным к моменту ареста.

Американские продукты, естественно, не попадали к нам, но их наличие на лагпункте создавало возможность поддержать нас с помощью больничных пайков, которые теперь как-то выкраивались из общелагерного котла. Великое спасибо народу США, именно благодаря его щедрой помощи уцелело много миллионов жизней. Да воздаст ему Бог за доброту! Америка помогала России не первый раз: так, американская продовольственная помощь (АРА) была оказана голодающим России в 1918-1923 годах. В Москве во время гражданской войны нам, голодающим детям, давали ежедневно по полной миске макарон с маслом. Сегодня эта помощь забыта, а ведь помогла она тоже миллионам.

Как нужно есть голодный паек

Жизнь определяется не одной едой. Но когда ее предельно мало, то сил не хватает даже на самое необходимое. И тогда все зависит от воли человека.

— Голод, истощение, вялость овладевают нами. На дворе мороз. Большинство отказывается от прогулки. Нет, иди!

— От слабости подгибаются ноги. Нет, ходи по камере! Часами ходи!

— Хочется лежать. Нет, сиди! Сиди, хотя твой зад доходяги — одни мослы, и на них больно опираться...

— Хочется думать, мечтать, говорить о еде, только о еде. Нет, нельзя! Ни в коем случае нельзя! Это — смерть. С железной настойчивостью прекращай эти помыслы и разговоры!

— Когда дают пайку, неудержимо хочется продлить наслаждение самой едой. Хлеб режут, делят, катают из мякиша шарики. Из веревочек и палочек делают весы и вывешивают разные кусочки... Так пытаются продлить процесс еды до трех и более часов. Нельзя! Это — самоубийство.

— Пайку надо съесть не долее, чем за тридцать минут. Кусочки хлеба должны быть тщательно пережеваны, превращены во рту в кашицу, эмульсию, доведены до сладости и всосаны внутрь. Пища должна отдать всю пра́ну. Ты, конечно, еще ничего не знаешь о йогах, но опыт поможет тебе в схватке за жизнь самому открыть их секреты. Поступишь иначе — погибнешь.

— Если постоянно будешь делить пайку и оставлять часть ее на вечер — погибнешь. Ешь сразу!

— Если «схáваешь» очень быстро, как едят хлеб в нормальных условиях сильно проголодавшиеся люди,— сократишь свои дни.

— Ты куришь? Горе тебе! Бросить курить при полном истощении могут только люди могучей воли. Я таких не встречал. Прекращать надо раньше, когда на костях еще есть мясо, иначе шансы «загнуться» резко возрастают.

— Все, что приводит к выделению желудочных соков, так как они губительно действуют на стенки пустого желудка, — вредно. Все, что увеличивает количество усвояемой энергии (прáны), — полезно.

Секрет шведа

Вспомнив о йогах, я хочу рассказать об одном явлении, которому до сих пор не нашел точного объяснения. Я не пропускал ни одной прогулки, несмотря на то что это усиливало злобу тюремных надзирателей. Обычно после снегопадов, когда мороз крепчал, я видел, что снег прогулочного дворика был примят туловищем какого-то животного. В этапе на Воркуту в конце 1944 года я нашел объяснение этим вмятинам. Их оставлял Лев К., один из наших так называемых «однодельцев», хотя я до этого его никогда не встречал. Он был обрусевший швед, историк по образованию. На прогулках он раздевался догола и катался по снегу. Об этом легко написать, еще легче прочитать, но невероятно, что в тех условиях можно было проделывать подобное.

Уже значительно позже, на воле, когда я начал с зимы 1962 года купаться в Москве-реке и на канале, я несколько раз наблюдал, как «моржи» из нашей секции напоказ катались по снегу. Раза два попробовал это сделать и я, но, конечно, в теплые дни, при температуре воздуха десять — двенадцать градусов ниже нуля. А когда однажды в двадцатичетырехградусный мороз это проделали два здоровенных водолаза, у одного из них прихватило ухо. Моржи были сыты и в прекрасной форме — Лев К. был кожа да кости. Моржи сразу бежали в теплушку — Лев К. должен был дожидаться, пока надзиратель откроет двери и впустит после прогулки в тюрьму. Но самое удивительное, что это самоистязание происходило в то время, когда он был на мизерном пай-

ке, едва достаточном, чтобы не угасла жизнь. В лагере, уже в гораздо лучшем состоянии, я не раз пытался в закрытом помещении начинать обливаться по пояс водой, но вынужден был немедленно прекращать эти пробы: расход калорий увеличивался — и наступало резкое похудание. Поэтому совсем не просто объяснить феномен Льва К. Скорей всего следует предположить, что он владел секретом использования энергии, аккумулированной в гонадах и солнечном сплетении. Известно, что йоги в Гималаях, держатели этой тайны, сушат теплом своего тела мокрые простыни на ледяном ветру. Быть физически сильнее своих сокамерников помогали Льву К. и эти морозные снежные ванны, о чем он сам нам рассказывал, и это подтверждает мою последнюю гипотезу.

Пример Льва К. обнаруживает громадные возможности души и тела. Мы рвем друг другу глотки, зarимся на чужую собственность, тогда как сами являемся обладателями несметных богатств внутри нас. Мы можем прийти к богочеловечеству, но предпочитаем снижаться до уровня питекантропов...

Смерть из любящих рук

Лагерную тюрьму я покинул еще на своих двоих, пока ничего не болело. Но я и мои однодельцы вполне удовлетворяли критериям доходяг, поэтому нас всех с ходу определили в «стационар», то есть лагерную больницу, почти ничем не отличавшуюся от обыкновенного барака. Только там сделали сплошные верхние нары, а с нижних убрали часть щитов, и таким образом образовались койки. Наверху лежали те, кто в состоянии был туда забраться; внизу — обреченные. Когда у кого-нибудь открывался пеллагрический понос, то он не мог уже забраться на нары, так как силы резко падали, и его переводили на место умершего. Движение шло довольно интенсивно, так как срок жизни больного в таком состоянии — пятнадцать, редко — двадцать суток. Стационар, по сути дела, был той же тюрьмой. Только с нас сняли лагерную одежду, оставив в одном белье. А так как на все отделение была единственная пара ужасных дырявых ботинок и какие-то лохмотья, которые постыдился бы надеть последний доходяга на лагпункте, нас тем самым лишили на зиму и весну прогулок. Правда, на окнах не было «намордников», да кто-нибудь мог забежать

навестить и иногда что-либо принести... Порой включали радио. Как из другого мира донеслись однажды голоса вахтанговцев. Транслировали «Сирано де Бержерак». В эфире переливалась гамма чувств самого Сирано... Там — свет, овации, успех актера... Здесь, под нарами, в царстве смерти — вонь, ругань.

Ежедневно получали скудный больничный паек, к которому можно было что-то добавить, если достанешь. Но в этой возможности таилась страшная скрытая опасность. Вскоре я уже немного огляделся, попривык и однажды, надев лохмотья, побрел по лагпункту в сторону бухгалтерии. По дороге встретил нескольких знакомых. Одни сделали вид, что не узнали меня, другие отвели глаза в сторону. Как видно, перспектива общения с такого рода лагерным преступником, «повстанцем», внушала страх. Я вполне понимал их поведение и считал его оправданным.

В бухгалтерии за барьером сидела женщина средних лет. Когда она подняла голову в ответ на мою просьбу проверить, не осталось ли у меня на лагерном счету денег, я увидел светло-голубые глаза, темно-русые волосы, перехваченные на лбу ленточкой, орлиный нос. Такой запомнилась мне Марика. Я повторил вопрос, и тут она как-то встрепенулась, подошла ко мне, стала расспрашивать, нашла мой счет, предложила купить на все деньги, то есть на сто сталинских рублей, пайку хлеба. С того дня она навещала меня в день по два-три раза, всегда приносила то окурок на несколько затяжек, то целую скрутку, а часто — кусок горбушки или сухарь. Она прекрасно ко мне относилась и уверяла, что при моем появлении в отрепье была сражена выражением большого страдания в глазах. Марика была рижской немкой. Муж ее был высокопоставленный латыш, и красные забрали их вместе во время «чистки» сорок первого года. Два сына-подростка сумели улизнуть, а потом, видимо, пристали к латышам, скрывавшимся в лесах. В то время встречались и такие, — не все покорно ждали своей очереди. Муж Марики, конечно, погиб в лагере; она же благодаря железной воле и энергии выжила. Сердце подлинной христианки Марики постоянно источало любовь. Ее голубые, круглые, чуть выпуклые глаза излучали ласку, сочувствие, жалость. Ее призванием в жизни было творить добро. Вечно она о ком-то хлопотала, за кого-то просила, собирала теплую одежку для тех,

кого отправляли по этапу, облагая данью лагерных придурков. И в ее руки стекались дары и подаяния, а затем, не задерживаясь, переходили к погибающим и выкарабкивающимся из могилы.

В ее сердце я занимал не последнее место. Ей очень хотелось мне помочь, а мне очень хотелось есть. Как-то она достала талон на обед с общелагерной кухни. Не следовало ей этого делать: я не смог удержаться от соблазна и, потеряв осторожность, съел сразу литра два жидкой баланды. Немедленно нарушилось какое-то равновесие, и организм, привыкший к скудным количествам пищи, не справился с усвоением питательных частиц из большого количества жижи. У меня открылся понос.

В тех условиях и при моем состоянии понос означал неминуемую смерть. Лекарств не было; трав и витаминов тоже. Никаких закрепляющих средств — рисового отвара, черники, кагора — об этом даже смешно было думать. О нежной высококалорийной пище не могло быть и речи, — скажи спасибо за больничный паек! Врачи, естественно, были бессильны. Ни я, ни мои товарищи не знали случаев выздоровления[8]. Оставалась только одна возможность — просить пересушить свою пайку на сухари. Утопающий хватается за соломинку: выменивали у углежогов древесный уголь на хлеб, мололи его, ели, воображая, что он абсорбирует воду и тем самым понос прекратится. Надежда оказалась вздорной. При пеллагрическом поносе стенки желудочно-кишечного пути предельно утончаются; реснички на них, производящие мерцательные движения для всасывания питательных элементов из пищи, оказываются почти полностью съеденными, — а те, что еще остались, прилипают к стенкам. Поэтому пища, проходя по таким гладким трубам, не задерживается и плохо перерабатывается. Процесс идет стремительно, день ото дня положение ухудшается. Перед смертью человек уже теряет аппетит, и ему даже не хочется курить. Такой понос обычно возникает, когда уже все более ценное в организме съедено. По великой мудрости Творца, тело, сопротивляясь гибели, отдает на растерзание голоду сначала не самое главное. Конец наступает, когда в пасть голода попадает головной мозг, причем первым уничтожается тоже менее важный элемент — память. Лишь затем — очередь нейронов, обеспечивающих мышление. Начинается пеллагрическое безумие. Нарушения в коре приводят к смерти[9].

Обет Богу

Почти все это я понимал уже к тому времени, когда у меня открылся понос, и умом холодно оценил оставшийся мне срок жизни. Но мои душа и дух были абсолютно не согласны с вынесенным приговором. Меня даже как бы ожгла радость — возникла единственная неповторимая возможность провести поединок со смертью в самых неравных условиях. Конечно, такое чувство не было первичным, а последовало за жаркой молитвой, в которой я дал обещание Богу постоять за выполнение Его святой воли и тем самым чем-то помочь обманутым, защитить их от лжецов и душегубов. Каким-то неведомым путем я уже был подготовлен к этому обещанию. С момента моего обета возникла уверенность, которая уже больше никогда меня не покидала. Я знал, не сомневался, был убежден, что Бог сохранит мне жизнь и у меня хватит умения, воли, чтобы свернуть горы. Я не знал, что́ мне предстоит, но был уверен в реальности достижения высокой цели, которая вскоре появится.

Чудо на сороковой день

А пока была задача отвоевать жизнь, победить охватывающие меня ледяные клешни смерти. В моем распоряжении было лишь одно средство — молитвы и медитации. К молитвам я был приучен с детства. О медитациях не имел никакого представления* и пришел к ним в ходе борьбы с болезнью. Я выбрал «Отче наш» — величайшую молитву, данную самим Спасителем, — и начал размышлять над каждым ее словом. Уже вялым в то время умом я все же сумел прийти к выводу, что в ней изложены почти все важнейшие идеи христианского учения. Если бы Евангелие было утеряно, а осталась одна эта молитва, то такие светочи, как Иоанн Златоуст, и Св. Августин, смогли бы восстановить сущность учения Иисуса Христа.

Первые несколько дней я еще лелеял надежду, что это не пеллагрический понос, а простое расстройство. Дней пять я скрывал свое состояние, цепляясь за право остаться на верхних нарах, но все труднее становилось

* О медитировании я впервые прочел в 1960 году в трактате Рамачерака о радже-йоге и позднее в книге Свами-Шивонанда «Медитация и концентрация».

залезать на них, да и медперсонал кое-что начал замечать. И вот мне предложили занять место в «трюме», как мы его называли, и улечься на койку только что умершего... Дни шли. Два раза в день заходила Марика, приносила покурить. Голод переставал уже мучить. Нередко я стал отдавать баланду, ограничиваясь только сухарями, да их тоже ел как бы по обязанности. Прошло пятнадцать суток—из меня просто хлещет. Длительность и исход болезни были известны. Каждое утро в глазах Марики я читал застывший ужас, немой вопрос, робкую надежду.

Сутки текут. Я молюсь. Силы падают. Болезнь продолжается. Прошло 20—25—30 суток. Оборачиваемость койки смертника уменьшилась благодаря мне почти вдвое. На меня стали смотреть как на исключение.

Прошло еще пять суток — понос не ослабевает.

35—36—37 суток. Я молюсь Богу, как зажженная перед Ним свеча. Все то же — есть не хочется, курить противно.

38—39 суток. Страшная слабость, но на зов Марики подымаюсь и плетусь к выходу. Давно уже сказаны все слова утешения. Мой вид таков, что она спешит проститься, ей хочется заплакать. Сократив наше свидание, сославшись на что-то, она уходит. Я отметил это в своем сознании и побрел на место.

Молюсь, размышляю, снова молюсь.

Сороковые сутки... Просыпаюсь с каким-то новым ощущением бытия. Слезаю с койки. Поноса нет! Я ощущаю прилив сил. В груди все поет. Солнце кажется прекрасным. Забираюсь обратно и отворачиваюсь к стенке. Из глаз льются слезы радости, восторга, благодарности. Воздаю хвалу великому Богу. Бог отметил меня. Отныне я солдат Церкви. С легкостью юноши, преисполненный духовной силой молитвы, иду к двери. Там ждет меня, как обычно, солнечная Марика. В глазах моих она сразу прочла, что я спасен.

Чудо, великое чудо совершил Бог в отношении меня, грешного!

Я многим рассказывал о феномене чуда в своем спасении. Скептики, конечно, называли это «самовнушением». Но современная наука, а главное — йоги́на, у которой гораздо больший опыт, чем у современных лабораторий, занимающихся психотерапией, говорит по этому поводу следующее:

— самовнушением и внушением излечиваются функциональные расстройства, но не устраняются необратимые изменения в организме;

— крупнейшие адепты йогины в ее высших проявлениях могут восстанавливать разрушенные ткани легких, печени и других органов. Но это требует многолетнего обучения под руководством многоопытного учителя, и таких необходимых условий, как свет, воздух, обильное питание; при этом следует также производить омовения и владеть полным йоговским дыханием.

Все это отсутствовало в моем случае. И если я даже сумел ощупью познать верные формы медитации, то без строительного материала воссоздать ткани все равно невозможно. Таким образом, «самовнушение» лишено здесь реальной почвы. Не менее важно и то, что для прекращения поноса мне потребовалось бы в одну ночь вырастить миллионы ресничек. Совершеннейшая фантастика!

Следует обратить специальное внимание на тот немаловажный факт, что исцеление наступило именно после того, как я потерял память. Еще несколько часов, и у меня начался бы распад субстрата мозга, управляющего мышлением. Роль десницы Божией в этом процессе очевидна. Болезнь протекала под контролем великого Разума и была остановлена в заранее намеченной узловой точке.

Лишь позднее, через пять лет, я понял целесообразность свершившегося, когда вплотную приступил к выполнению данного мною обета. Постоянно обремененный делами и обязанностями текущей жизни, я должен был, почти не заглядывая в книги, пропустить через свой ум главное в развитии человечества, создать свое миропонимание, построить для этого сотни гипотез и от большинства из них отказаться... Если бы у меня была нормальная память, я никогда не справился бы с этой задачей. Для решения ее нужна была tabula rasa моего сознания, когда слабая гипотеза немедленно полностью стиралась, а новая возводилась без воздействия отвергнутых остатков.

Естественно, будучи объектом несомненного чуда, я не раз возвращался к объяснению такого рода явлений. Концепция мироздания, из которой вытекает механизм таких явлений, для меня неоспорима.

Инспирированное добро

Жизнь без элементов добра затухает, отмирает. Гибель и смерть там, где царит голое зло.

Если люди в свирепой обстановке, созданной для их уничтожения, как-то выкарабкиваются и не исчезают с лица земли, и жизнь в них теплится годами, это означает, что на данном участке инспирированное добро находит своих носителей и выразителей. При всех своих недостатках лагерные санчасти в самых уродливых вариациях содержали все-таки в себе элементы милосердия. Достаточно появления одного-двух людей, и санчасть становилась источником спасения. Кого-то устроят санитаром, «лепилой», уборщиком; многих поддержат выданным вовремя освобождением от работ; кого можно — сактируют; кому-то выпишут дополнительный больничный паек... При этом следует иметь в виду, что деятельность санчасти проходила под бдительным оком «опера», прямого лагерного начальства, надзорсостава и всевозможных стукачей. Большое мужество требовалось врачам, да и вольному начальнику санчасти, чтобы выполнять свой долг, хотя бы в урезанном и искаженном виде. Конечно, преобладали случаи, когда санчасть сдавалась, шла на поводу у лагерного начальства, и смерть косила ряды заключенных. Но даже и такая санчасть все же кому-то облегчала участь, и кто-то поминал ее добрым словом.

Перевод нас, однодельцев, сразу по окончании следствия на больничный паек — тоже проявление известной самостоятельности и несгибаемости. Другая начальница санчасти легко могла бы в столь критическом положении оставить нас в изоляторе на тюремном пайке, пока люди не перестали бы двигаться... Правда, похвала моя относительна: ввиду страшной убыли поголовья зэков зимой 1941-42 года была «спущена» инструкция, обязывающая лагерное начальство не злоупотреблять голодной смертью.

Сказанное о санчасти относится и к любому участку лагеря, от которого зависела жизнь заключенных. В конце сорок второго мне как-то в лагере показали плюгавого, но разодетого во все заграничное зэка, который шел нам навстречу. Тот, кто обратил на него мое внимание, сказал: «Перед нами убийца почти всех латышей Вятлага». Дело в том, что он был нормировщиком на несколь-

ких лагпунктах, где преобладали латыши. Его нормы и наряды, из которых он тщательно вычеркивал всякую туфту, косили латышей на лесоповале, как из пулемета. Невыразимое отвращение охватило меня от его зеленоватых бегающих гляделок. «Надо внести его в список 'гадов'», — сказал один из нас. «Аминь», — скрепили мы его предложение.

Но одновременно в управлении работала вольнонаемная, Римма Рабинович. Мужественная, благожелательная, отзывчивая девушка сделала много добра заключенным, так как ведала нормированием второстепенных для лагеря работ, например, в мастерских или в «сельхозе». С ее помощью удалось актировать двух инженеров, благо у них были бытовые статьи. Она часто смело приходила в мехмастерские и открыто беседовала с нами. Наши пропускники, в свою очередь, заходили к ней в управление. Все это ей припомнили после того, как нас посадили, но она все же уцелела.

После моего чудесного исцеления я все время был голоден, как волк. Видно, плоть требовала скорее покрыть зияющий дефект массы[10]. Долгое лежание, отсутствие прогулок и общее ослабление привели к нарушению сердечной деятельности. Лицо и ноги у меня отекли, распухли. Я должен был мобилизовать все силы, чтобы подняться на одну ступеньку по лестнице. Как невыразимое недомыслие расценивал я фразу Энгельса, что «труд сделал из обезьяны человека». Наделенный умом, волей, верой в свои и высшие силы, я с огромными усилиями учился снова занять вертикальное положение, хорошо понимая, что иначе гибель неотвратима. А тут от обезьяны, не обладающей ни сознанием, ни волей, потребовали в миллион раз больших свершений.

Я все время заставлял себя двигаться по лагпункту, чтобы побороть слабость. Хорошо хоть, что было еще тепло. В это время мне и моим однодельцам уже дали расписаться под новым сроком, на этот раз — десятилетним. Тем самым мы снова как бы сравнялись с остальными лагерниками, и страх при встречах с нами стал проходить. Вскоре я встретил зэка Зайцева.

До ареста мы жили с ним вместе в бараке для инженеров, хотя не припомню, чтобы раньше разговаривали. Но мой сверхжалкий вид заставил дрогнуть его сердце, и, поравнявшись со мной, он предложил зайти в барак. Я ответил, что лучше подожду на скамейке, так как пять

ступенек для меня — непреодолимое препятствие. Через минуту он вышел с каким-то свертком. Я видел, как у этого почти незнакомого человека появились слезы сострадания, и он сунул мне завернутый кусок хлеба. Слабость была хорошей почвой, и на меня это так подействовало, что потекли слезы. «Какие есть прекрасные люди», — шептали дрожащие губы.

Я отчетливо понял, что великая сила добра соединила нас в это мгновение, пробежала искра любви, а на этом-то и держится мир.

Глава 11

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ВЯТЛАГЕ

Дары Изольды

В перспективе у меня была «десятка», и не следовало давать о себе знать близким. У жены создалось бы впечатление, что я погиб, и она соединила бы жизнь с другим, лучше меня приспособленным к существованию в деспотии. Но в сердце оставалась заноза, да и о маленьком сыне хотелось узнать. Поэтому я написал домой, движимый импульсами чувств. В тех условиях я не имел на это морального права. Надо было хорошо обдумать свои действия, взвесить последствия, но голова постоянно отказывала. После болезни я находился, если можно так выразиться, преимущественно в стадии растительной жизни. Я настойчиво заставлял себя быть в вертикальном состоянии, старался побольше гулять, подымался с трудом на приступочку, короче говоря, делал все, что было в моих силах, чтобы преодолеть беспомощное состояние тела. К тому же я не переставал испытывать жуткий голод.

Мое письмо, видимо, переворачивало душу. Жена накупила на последние гроши на черном рынке американских продуктов и, так как посылки с начала войны были отменены, договорилась со знакомой кассиршей. За огромную мзду мне отправили по железной дороге продукты багажом, а так как сургучные печати при этом не ставят, железнодорожники предупредили, что нельзя быть уверенными в его сохранности.

До 1917 года в настоящей России понятие честности в сознательно христианских семьях внушалось с детских лет и укреплялось затем Церковью, школой, хорошими книгами. Слой честных людей непрерывно возрастал. После катастрофы и начала новой большевистской эры этот процесс резко пошел на убыль. По инерции еще употребляли те же слова, но чудовищная действительность учила обратному.

Антинародная власть сама выкорчевывала правдивое отношение к окружающему миру, подвергая уничтожению всех, с ней несогласных. Поскольку одновременно началось истребление религии и веры, бесчестие охватило огромные слои населения и само слово «честность» вышло даже из употребления. Нередко его стали произносить как насмешку, в издевательской манере. Но в поколениях, сложившихся до катаклизмов, оставались еще некоторые остатки порядочности в отношениях между родными и знакомыми. Поэтому я думаю, что железнородожники свое обещание сдержали, хотя возможно было нарваться также на экземпляр советской формации. Такой мог взятку получить и, не дрогнув, тотчас извлечь содержимое багажа.

Когда, благодаря стараниям Марики, стало известно о прибытии груза, она сама обратилась к знакомому снабженцу из немецких трудармейцев, объяснила ему мое критическое состояние и очень просила доставить все в целости. Через день парень, с лицом как бы натертым жиром, привез на лагпункт поллитровую бутылку перетопленного русского масла и немного сухарей. Удручающий мой вид подействовал на него, он смешался и затараторил, что в ящике-де были обнаружены камни, бумага и привезенные им припасы. Ложь была слишком явной. Бутылочкой он выдал себя с головой, ибо вор-железнодорожник выгреб бы все содержимое. Снабженец и взятые им в долю мошенники взвесили, конечно, то, что я был бесправен, бессилен, и в перспективе у меня была лишь смерть или отправка с лагпункта. Настигающая и разящая совесть заставила его отдать мне крохотную часть того, что выслала мне, совершив подвиг, моя русокудрая, светлоокая Изольда — измученная и несчастная жена. На угрозы и ругань сил не было, я лишь пристально смотрел на него и отказался подписать подсунутую им ведомость, коль скоро не было даже составлено акта на пропажу. Но он вы-

скочил, как из бани... Со временем я начал понимать, что воздействие слов, содержащих истину, и возмущенного взгляда, выражающего крепкое сознание правоты, иногда может сработать сильнее пули, оставляя неизгладимый след в душе, сознании. Дырка от пули зарастает, а пробоина в совести зияет и мучает всю жизнь. Естественно, невозможно пока отказаться от бомб и снарядов, но совершенно недопустима недооценка идейных средств, особенно когда борьбу ведут с погрязшей в преступлениях, взявшей на вооружение принципиально ошибочные взгляды и постулаты, системой, практика которой порочна и ужасна, цели бесчеловечны, а в головах ее руководителей — отжившие методы насилия и угнетения...

Я рвался из больницы, и Марика, презрев всякую опасность, устроила меня в бухгалтерии. Я должен был складывать колонки цифр на счетах. Сидевшая напротив Марика, как наседка, с тревогой посматривала на меня, готовая прийти на помощь. В голове было мутно, одну и ту же колонку приходилось пересчитывать по многу раз, все время получались разные суммы. Под конец Марика сама быстро все проверяла. Мое состояние ухудшалось, ноги стали, как тумбы, я с трудом мог передвигаться. Пришлось еще недели на две попасть в больницу, и Марика меня по-прежнему навещала. Постепенно я поправлялся, хотя все упиралось в количество еды.

Американская помощь позволила к лету сорок четвертого поднять питание не только количественно, но и качественно. Появились настоящая мука, растительное масло, яичный порошок... для поощрительных пайков даже начали печь пончики. Штатные повара не справлялись, после работы на производстве на кухню приглашались женщины. Раза два из-за меня нанялась и Марика. Там она свела знакомство с заведующей столовой, вольнонаемной из эвакуированных, работавшей ранее в торговой сети. Прекрасная рукодельница Марика связала ей кофточку, и за это та взяла меня в ночные дневальные. В мои несложные обязанности входило сидеть у входной двери и препятствовать выносу продуктов. В остальное время я мог думать о своем насыщении. Ночью варили к разводу утреннюю баланду. Вскипятив воду, повара бросали в котлы муку, соль, подливали растительное масло. Когда я подходил, каждый из них плескал мне в миску тестообразную, наибо-

лее питательную, массу плавающего на поверхности слоя. Я думаю, что за ночь съедал литров шесть. Раньше я с усмешкой слушал подобные рассказы, но на себе убедился в огромной вместимости желудка и близлежащих кишок. Ничем более ценным ночная смена не располагала, но и этим я был очень доволен.

Через недели две последовал «стук», кум вызвал заведующую, и меня изгнали. Фундамент был все-таки заложен: на месте серой шелушащейся кожи появилась новая атласная, которую приятно было погладить, отечность лица и ног пропала, силы прибавились. К этому времени разрешили посылки, и я попросил прислать мне только табаку, которого хватило, чтобы отблагодарить за доброе ко мне отношение и обменять на хлеб у придурков, а также у портных и сапожников, зарабатывающих, в нашем представлении, прекрасно, а потому имеющих деньги и лишний хлеб. Вырученные деньги я отправил через верного человека для оплаты табака и его доставки.

Даже в том положении крайнего истощения и голода мы дорожили моральными оценками. Операция по обмену табака производилась с самой «богатой», связанной с рынком, частью заключенных, думавших уже не о хлебе, а о чем-то лучшем. Выменивать кровную пайку у работяг я никогда бы не стал.

Двухнедельную службу на кухне я пережил как пригвождение к позорному столбу. Стыдно было нести столь унизительную обязанность, но хуже всего было сознание, что ты воруешь часть приварка заключенных.

От самоутешительной мысли, что можно не миндальничать, раз тебя довели до такого состояния, легче не становилось. Поэтому я даже обрадовался, когда меня изгнали. Тяжесть сознания вины усугублялась тем, что отношение к лагерному питанию было мною тщательно продумано в изоляторе, и я не мог внутренне спрятаться за какую-либо неясность.

— Раб должен быть накормлен досыта, обут, одет, иметь человеческое жилье. Если у рабовладельца нет средств на содержание рабов, то он обязан их отпустить. Тот, кто морит голодом и изводит непосильным трудом, становится людоедом.

— Раб не обязан решать нравственные задачи тюремщиков-рабовладельцев. Они устроили эту систему, им и отвечать.

— Убийственные лагерные пайки изобретены людоедами. Из-за полнейшего произвола рабовладельцев питание назначается заключенным в зависимости от выполняемой ими работы, а не от потребности их организма. Такой заведенный порядок только уловка, чтобы заставить лучше работать. У раба отнята возможность протеста, и за последствия в ответе рабовладелец.

— Придурок, как и любой зэк, должен быть накормлен. Если бы он тащил недостающее питание с общелагерного склада, то он был бы в своем праве. Но он — вор, обкрадывающий остальных, так как берет с кухни, хлеборезки, каптерки продукты, выписанные на всех заключенных.

Ноги мои отказывали еще ходить, — о работе за зоной не могло быть речи, — и меня определили в кбч — коммунально-бытовую часть, где я выполнял несложные чертежные работы. Здоровье стремительно шло на поправку. Я уже свыкся с мыслью о неизбежном получении дополнительной «десятки» и тут же написал жене письмо, в котором вернул ей свободу и просил забыть обо мне. Моя жизнь не принадлежала мне, я родился не под звездой семьянина и думал проявить непреклонность, хотя одновременно жила какая-то надежда. Поэтому, когда я получил от упрямой фантазерки категорический отказ выполнить мое требование, да упреки, что хочу от нее избавиться, я утвердился в необходимости поступить, как она того хочет.

Я знал, что ее стихия, идеал — семья, материнство, домашний очаг. Все остальное было ей чуждо, далеко, не привлекательно и поэтому малопонятно. Какое право я имел разрушать в ней высокую мечту и толкать ее в лапы гнусной действительности, если она, подобно женам крестоносцев, готова ждать меня всю жизнь? Пусть на земле окажется одной мученицей больше. Лучше подтолкнуть человека на такой путь, чем дать ему возможность сдавать свои позиции, совершать постыдные сделки и уступать во всем. Наш долг — направлять друг друга в борьбе за правое дело, а свернуть с верной стези легко с помощью соблазнов, позывов плоти, слабости...

Я много раз спрашивал себя, как легче: когда знаешь, что один на земле, а она устроилась и сын ничего о тебе не знает, или когда ее связываешь, лишаешь свободы, ничего взамен не обещаешь, заедаешь ее молодость,

требуешь верности, поддерживаешь в ней несбыточные надежды... Спокойней, естественно, первое решение: ты выкидываешь человека из своей жизни, перестаешь за него отвечать, думать, мучиться. Но тем самым ты вычеркиваешь из своих переживаний крупнейшее борение духа и одновременно сталкиваешь под откос самого близкого. А раз так, да благословен Богом второй путь. Пусть мы проиграем, и конечная ставка бита, но наши души будут неоднократно светиться белым ослепительным пламенем, и поражение станет победой.

Долго я терзал мою Изольду уговорами и отказами, но ее алмазная твердость оставалась непреклонной. Какая-то стальная струна вошла в ее душу, и мы остались в то время связанными узами брака.

Сердце женщины

Женщины под следствием, в тюрьмах, за колючей проволокой потрясают, и в художественных произведениях эта тема по плечу лишь огромному таланту.

До 1948 года лагеря были смешанными, и много женских судеб прошло мимо меня. Как только питание улучшилось, я очень страдал от вынужденного одиночества, но, как правило, не разрешал себе близости, так как в тех условиях это было слишком унизительно.

Если бы мне вдруг случилось попасть на воображаемую планету, заселенную людьми с неведомым социальным строем, то я не стал бы изучать всех его особенностей, чтобы получить о нем верное представление. Я готов был бы поверить, что доктрина этого режима обеспечивает жителям счастье, о котором здесь столько говорят, так как, судя по орудиям, заводам, средствам сообщения, данная планета находится на высоком техническом уровне. Я попросил бы ознакомить меня только с двумя вопросами: состоянием искусства и положением женщины.

Если бы мне сказали, что искусство создается для народа и не содержит в себе ничего чуждого его пониманию, да показали бы при этом выполненные кистью копии цветных фотографий или полотна, робко повторяющие начатки импрессионизма, и при этом я узнал бы, что несогласных с существующим положением и постановлениями, его поддерживающими, сажают в сумасшедший дом, то мне стало бы ясно, что в этом об-

ществе свобода духовного развития отсутствует и в нем царит удобный для власти застой.

Если бы мне сказали, что женщина — юридически равноправный член общества и занимает то же положение, что мужчина, а посему вполне счастлива, — то я с особой настойчивостью попросил бы разрешения ознакомиться с разными участками и не с теми, куда меня готовы были провести находящиеся на особом содержании гиды, а с теми, куда мне захотелось бы пойти самому. Получив согласие, я обследовал бы самые тяжелые и грязные объекты, посмотрел бы, кто занят на ремонте железнодорожных путей, на вонючих и вредных химических производствах, на вытягивающих все силы сельских работах. Затем посетил бы тюрьмы, следственные отделы, казематы, где казнят и пытают, лагеря, где при недостаточном питании требуют непосильного труда. И если во всех таких местах я увидел бы женщину, да к тому же узнал бы, что она еще ведет дом, стоит в очередях, отсиживает часами на собраниях, ездит в командировки, подвергается мобилизации... — я проклял бы такую планету со всеми ее «достижениями», ракетами, кораблями и бомбами. Такого положения терпеть нельзя, ибо это — позорная разновидность плохо скрытого рабства. Такое отношение к женщине противоречит природе цивилизованного человека.

Доказательством могут служить многие случаи в лагерях военного времени. Всюду, где была хоть ничтожная возможность, мужчина помогал женщине. Вопреки жуткому голоду, бесчеловечным сталинским установкам на истребление заключенных, ее оберегали, как только было возможно, и она в последнюю очередь вытягивала свой смертный жребий. Существует мнение, что женщина лучше приспособлена к голоду, благодаря бо́льшим запасам в ее организме, и при этом ссылаются на блокаду Ленинграда во время войны. Не спорю. Но в условиях, где надо выполнять непосильную норму, это преимущество исчезает быстро, ибо, обладая меньшей силой, женщина гораздо труднее справляется с огромным количеством тяжелой работы, силы ее иссякают, и она без задержки выходит из строя. Во время войны в Вятлаге почему-то создали специальную женскую командировку при седьмом лагпункте. Результаты были ужасны: все погибли. Напротив, там, где женщины попадали в сильные мужские бригады, они пережи-

вали годы, которые были убийственными для большинства заключенных. В нашей мехмастерской в начале войны были русская Оля и осетинка Зоя, вдова одного из крупных партийных руководителей. Последняя очень любила своего мужа, была с ним счастлива и после разрушения семьи воспылала тигриной ненавистью к режиму, особенно к Сталину; у нее стоило поучиться. Мы оберегали их, как сестер, не позволяли поднимать тяжести, и они занимались секретарскими обязанностями, перепиской каких-то ведомостей. Когда у Оли открылся понос, наши пропускники из-под земли достали рису.

В свою очередь, женщины платили нам любовью и привязанностью. Я всю жизнь невольно поклонялся красоте и, наверное, в силу этого нередко идеализировал тех представительниц слабого пола, с которыми пересекалась моя жизнь. Но в моих увлечениях отсутствовало самое главное — любовь. И поэтому, не желая сделать ничего плохого и даже искренне стремясь сделать свою подругу счастливой, я приносил под конец горе и страдания.

Так складывались у меня отношения с медсестрой амбулатории первого лагпункта. Хорошенькую блондинку, студентку Анечку посадили в тюрьму перед войной, когда Сталин, будучи также «лучшим другом учащихся», ввел для ограбления нищего населения плату за образование. Специалисты по выдуманным делам трансформировали естественную воркотню молодежи в антисоветские организации, а особое совещание дало «участникам» по восемь лет. За не вызывавшую сомнений явную безвредность Анечка получила пять, и поэтому ее допустили в санчасть. Тем самым она, в отличие от других, была спасена от смерти. Кроме того, она находилась в центре раздачи питания, и я был за нее спокоен, считая, что она сыта. В эту ужасную зиму я частенько заходил к ней в процедурную поболтать, выпить стаканчик хвойной воды, так как мы верили в ее целебную силу, способную побороть цингу. Как ни странно, я действительно пережил тринадцать лет заключения, побеждая ее каждый раз в начальной фазе.

С Анечкой у меня установились только братские отношения. Весной наступило небольшое облегчение, рабочий день сократился, и вечером после приема мы часто гуляли с ней по зоне, «отгоняли цингу», которая в то время особенно свирепствовала. Эти прогулки легко

было подвести под нарушение лагерного режима, но не до того было, когда в день умирало до восемнадцати человек. В тамошних широтах в десять вечера в это время года светло как днем, и мы отчетливо могли различить двигающийся ящик на колесах — с трупами. Тогда мы удалялись от вахты, чтобы не видеть, как мертвецам штыками прокалывают затылки.

В мае большую часть нашей мастерской перевели на пятый лагпункт, и мы расстались с Анечкой. Я был крайне занят, поддерживать отношения не было времени, а главное, думая о побеге, я не должен был себя с ней соединять. Когда на следующую зиму я приехал на первый лагпункт, ее там уже не было. Проявив настойчивость, я смог бы, конечно, узнать, куда ее этапировали, но время было наполнено грозным предчувствием и не хотелось связывать ее имя с моим в расспросах и поисках. Вскоре нас арестовали, и я все реже вспоминал славную беляночку.

В 1944 году я находился после изолятора в «больничке» и получил через фельдшера санчасти три раза пайку хлеба. Он не сказал от кого, и я ломал голову над этой загадкой, а в третий раз пристал к нему с расспросами, как говорится, с ножом к горлу. Тогда фельдшер спросил меня, нет ли у меня знакомого на больничном лагпункте. Когда я ответил отрицательно, он передал мне письмо от Анечки, крик ее души. Оказывается, я, сам того не зная, был в глазах придурков первого лагпункта той фигурой, с которой не следовало ссориться; ввиду моего положения одного из руководящих зэков-производственников. Но дело, я думаю, было не столько во мне, сколько во всей нашей пятерке, образовавшей крепкий кулак. Наше знакомство служило для Анечки подобием щита, но после моего отъезда на нее начался страшный нажим: ложись с любым или отправляйся на общие работы. Оказывается, она мне уже об этом сообщала, но записка до меня не дошла, вероятно, перехватили придурки. Если бы я знал, то сумел бы перевести ее к себе в отдел контролером, тем более что статья и срок у нее были вполне подходящими. Не понимая моего молчания, она страшно на меня обиделась, решила, что я от нее отвернулся. Придурки продолжали нажимать. Анечка стала советоваться у себя в санчасти. Там в это время по делу оказался аптекарь с четвертого лагпункта, которому Анечка давно нравилась. Он

выступил одновременно в роли спасителя и предложил ей лагерные руку и сердце. Так как положение у нее было безвыходным, она дала согласие и стала одной из самых обеспеченных зэчек Вятлага. Лекарства для заключенных практически отсутствовали и то, что находилось в центральной аптеке, было на вес золота. Кроме того, аптекарь был хранителем спирта. В силу этих причин на крючке у него находилось все руководство. У Анечки началась царская жизнь, и тем не менее она написала письмо глубоко несчастной, брошенной женщины... Не стоило ей жалеть о пропавшей записке. Наша дружба была у всех на глазах, и, будь она со мной в мастерской, арестовали бы не двадцать восемь, а двадцать девять человек.

Говорят, что женщина — более земное существо, чем мужчина, и нередко в этом приходится убеждаться. Но в сердце прекрасной женщины хранится загадочная призма, которая отражает, отбрасывает жаркие, пронизанные богатым содержанием чувств лучи и с жадностью впитывает в себя скупой холодный свет, излучаемый ее избранником.

На моем пути не раз вставали удивительные женщины. Точно свыше была послана мне Марика. Как взмахи светлых крыльев были ее хлопоты, заботы, советы, внимание. Ее можно уподобить дивным католическим монахиням, преисполненным добросердечием и христианской любовью, которые помогали сирым, выхаживали больных, жертвовали собой, шли за других в газовые камеры...

К начальнику кбч иногда заходила бледная, худенькая, изможденная жена. За верность ей пришлось испить такую чашу страданий, что страшно даже подумать. В несравнимо более диких, чудовищных условиях она была наследницей Марии Волконской, поехавшей в начале девятнадцатого века в Сибирь к своему ссыльному мужу-декабристу.

По приезде в свободный мир жизнь столкнула меня с плеядой западных женщин, которые скромно и незаметно ткут волшебные узоры милосердия.

Советская женщина по своим задаткам не уступит своим западным сестрам, но дикое массовое безбожие изуродовало ее душу, а скотски тяжелая жизнь до крайности затруднила проявление духовных сил вне отведенной для нее ячейки. Но те, кто, невзирая на все пре-

пятствия, искусственно наваленные на их пути, обретают Бога и волю творить истинное добро, способны, благодаря своей внутренней силе, возрасти до подлинного величия и блеска.

Неудавшийся полководец

Начальником кбч был бывший офицер царской армии. Он был похож на большого медведя и в то время был еще достаточно крепким. Голова его уже полысела, к тому же он остриг ее наголо; мускулатура лица была сильной и подвижной; правда, несколько портил очень курносый нос. Жизнь поломала весельчака и балагура по натуре, он стал едко насмешливым и, видимо, опасаясь своего языка, заставлял себя быть молчаливым. Он был вечно голоден, так как советский паек был слишком мал для его габаритов, и частенько напрашивался дежурить на лагерную кухню. Ко мне он относился благосклонно. Кажется, его фамилия была Николаевский. Он был выразителем целой эпохи. К этому времени свое он уже рассказал, теперь же знал, где и что можно говорить, был скуп на слова и шутки. Я слышал больше отдельные возгласы, видел усмешки, мимику лица и огромных рук. В кбч он охотно беседовал о выгребных ямах, ассенизационных обозах, ремонте трапов, а также — по обязанности — о рытье могильных ям, об изготовлении бирок с номером, которые привязывают к большому пальцу умершего зэка, об изготовлении и установке для котлованов с трупами табличек с особыми секретными шифрами... Подобно великому Кювье, восстановившему по однэй кости допотопного чудовища его облик, можно с немалым вероятием дать главные вехи жизни этого человека по ряду узловых точек из близкой и понятной нам эпохи, по переживаниям современников и недавних участников прошлых боев.

— Молодой офицер, участвует в первой мировой войне, получает Георгиевский крест за воинскую доблесть. Об этой полосе жизни он иногда разрешал себе рассказывать. Коль скоро шла война с Германий, его подвиги снова стали патриотичными, хотя до 1936 года все войны царского правительства рассматривались советской властью как реакционные и подлежащие всемерному осуждению.

— В период Временного правительства в 1917 году

он приезжает на побывку. Когда он вышел на площадь у Александровского вокзала в Москве, на него наскочили солдаты с намерением сорвать погоны, но через несколько секунд нападавшие катались по мостовой, испробовав его медвежью силу, а остальные стояли вокруг с озадаченным видом. В Америке он непременно стал бы чемпионом по боксу... Он вспомнил об этом происшествии в отсутствие дневального, рассказывая нам о столкновении с начальником управления Левинсоном в сорок третьем, когда чекистам нацепили старые русские погоны, а он отмочил что-то по поводу звездочек, которые с него сняли двадцать пять лет назад и теперь надели на другие плечи...

— В Белой армии Колчака он был ранен и захвачен в плен, но его не расстреляли, так как он согласился проводить подготовку красноармейцев. В 1920 году он воевал в рядах Красной армии с поляками. Затем следуют годы мытарств, преследований, тюрем, лагерей, ставших единственным местом, где он мог существовать в условно вольнонаемном состоянии.

Николаевский не был, конечно, ни античным героем, ни крестоносцем, воодушевленным великим религиозным порывом, ни солдатом швейцарской гвардии, погибшим во имя долга, ни повстанцем Усть-Усы, ни гордым защитником Алькасара... Но я с большим уважением отношусь к этому человеку. Он сошел с прямого пути только тогда, когда движение было разгромлено, а до этого служил ему верой и правдой. При советской власти он влачил жалкое окололагерное существование, хотя другие царские офицеры, обеспечив победу Красной армии, затем немалое время подвизались в военных академиях и училищах, дожили до второй мировой войны и снова подпирали собой этот режим. Если бы при иной, новой тактике войны за несколько суток в лагерные центры были бы сброшены десанты, Николаевский оказался бы сразу одним из неповторимых полководцев, за ним пошли бы когорты заключенных, и он был бы на своем месте. Спрашивать с рядовых людей как с праведников и героев можно лишь тогда, когда политика больших и малых держав подчиняется ясным этическим нормам. Иначе ошибки великих мира сего перекладываются на плечи простых людей, прекрасно подготовленных для выполнения своих задач, но неспособных на ходу исправлять громадные промахи эпохи. Люди —

члены великого незримого человеческого братства, и, коль скоро каинам удалось объединиться, пора, наконец, этим заняться и авелям *.

Бухгалтером кбч был милейший усач — бывший казачий есаул. Компания была вполне подходящая, и я не сомневаюсь, что мы нашли бы общий язык, но дело портил дневальный и рассыльный оперуполномоченного, одновременно — главный осведомитель. Это был мрачный украинец с совиными насупленными бровями — личность страшная и отвратительная. Когда он появлялся в любом бараке, все знали, что он пришел вызвать кого-то на допрос. Немало людей он спровадил в изолятор не только по заданию «кума», но и по своей собственной инициативе. В любое время он, естественно, мог наговорить и на меня. Правда, гарантией того, что за мою личность в скором времени не возьмутся, было только что перенесенное следствие и новый срок; я и так был уже на самом дне. Чекистов беспокоят в первую очередь те, кто наверху, у власти, у кого влияние. Поэтому я спокойно выполнял свои пустяковые обязанности и не обращал никакого внимания на оберсексота. Моя должность в тот момент была крайне удобной, так как я удачно выменивал свой табак и покупал продукты питания. Так продолжалось около месяца, пока моего начальника не сняли и не перевели в пожарную команду за зоной, а на его место не посадили освободившегося из заключения отпетого стукача осетина Дебирова. Общество двух оберстукачей не предвещало ничего хорошего. Атмосфера резко ухудшилась, пошли косые взгляды, недомолвки. Было ясно, что я чем-то им мешаю. Надо было срочно уходить самому. Временно спасало лишь то, что медицинская комиссия признала меня инвалидом самой тяжелой группы, а без этого меня немедленно списали бы на общие работы. Случай помог: конструктура с лесозавода забрали на этап, и мне предложили занять его место. К тому времени ноги уже окрепли, и я с радостью согласился. Прошло два месяца, и, когда я вполне освоился на заводе, став снова «незаменимым», меня также вызвали на этап.

О резкой перемене в своей судьбе я узнал за два дня

---

* Эта мысль получила дальнейшее развитие в книгах Д. Панина «Мир-маятник» (1977) и «Созидатели и разрушители» (1983), а также в его последней рукописи «Держава созидателей». (*Прим. ред.*)

при таких обстоятельствах. Был конец рабочего дня; я стоял с краю у вахты лесозавода под лампой, хорошо освещающей прилежащий участок. Я был хорошо виден вполоборота с дорожки, идущей вдоль «линейки», на которой строилась колонна. Сокращенный путь между оперативно-чекистским отделом и тюрьмой на пятом лагпункте лежал через лесозавод, и внезапно я заметил начальника следственной части Курбатова. Он был в белом полушубке, в фетровых валенках и в бобровой ушанке. Я следил за ним взглядом. Вдруг его черные, как угли, глаза скосились в мою сторону, на губах появилась отвратительная усмешка, страшная гримаса резко исказила его довольно благообразное полное лицо. Второй раз я увидел дьявола * и приготовился к самому ужасному. Позже мы узнали, что Курбатов нас направил на этап смертников, но, к счастью, железная дорога Котлас — Воркута оказалась к этому времени уже достроенной. Расчет его заслать нас в самое истребительное место был правильным, ибо на строительстве этой дороги погибло огромное количество заключенных. Ошибка произошла по причине засекреченности строительных объектов, и Курбатов не знал, что железнодорожные работы уже закончены. Поэтому мы попали в город Воркуту.

Как быть осторожным

Как-то осенью сорок второго мы возвращались с Юрием из мастерских. День выдался тяжелый, задержались допоздна и потому решили немного пройтись. Не доходя лагпункта, мы свернули на дорогу, ведущую к мосту через речку Нырмоч и, мирно беседуя, смотрели на черные студеные воды под нами. Вдруг мы услышали возглас: «Руки вверх!» — и увидели начальника тюрьмы с пистолетом. Мы выполнили его команду и спокойно объяснились. Он нас узнал, но, маскируя страх бдительностью — время-то было военное, — повел на вахту. Юрий вполне спокойно пережил этот смешной эпизод, но позднее обрушился на меня за предложение постоять на мосту, а заодно и за разговоры о побеге... Человек он был мужественный, стойкий, надежный, но осторожность его перешла грань допустимого.

Вопрос это крайне сложный. Будешь играть с опасностью, проявишь безумие — тебя уничтожат и погиб-

* См. «Лагерное следствие» (Гл. 8). — *Прим. ред.*

нешь без толку. Доведешь осмотрительность до предела — может, и уцелеешь, но для общего освобождения ты наверняка ничего не сделаешь. Будешь ждать да ждать, а когда пробьет твой час, чекисты все равно посадят. Об этом говорило астрономическое число выдуманных дел. А раз так, то надо было быть начеку, но как-то действовать. Осторожность должна быть щитом бойца, а не темными закоулками, куда прячется беглец.

В дальнейшем, после заключения, осторожность была неизменным спутником моей жизни. Я не посвящал ни одну живую душу в свои разработки, а чтобы не обманывать ближайших родных и избавиться от постоянного надзора, обеспечил себя отдельной маленькой квартирой. Иногда, в целях изучения обстановки, людей, их настроений, мыслей, я устраивал «прорывы» моей брони. При этом я напрягал шестое чувство и воображал себя рысью в дремучей тайге, которая, неслышно крадучись, улавливает малейший тревожный звук и запах...

Часто в электричке, когда я, по обыкновению, читал, внимание привлекала вдруг чья-то неосторожная беседа, а чаще — вольные рассуждения подвыпившего человека. В таких случаях, если невозможно ограничиться ролью слушателя, а необходимо проявить живой интерес, то, как правило, ценность и уровень сведений зависят от твоей открытости. Точно так же ты ей обязан отдачей собеседника, когда ты сам начинаешь скользкую тему или поддерживаешь ее.

В той действительности, когда приходилось общаться в течение ряда лет с некоторыми характерными людьми и изучать по ним направление внутреннего развития общества, все целиком зависело от обдуманной дерзости, смелости, ибо без таких самопроявлений никого за железным занавесом на откровенность не вызовешь.

«Черного кобеля не отмоешь добела»

Еще в самом начале работы в мастерской первого лагпункта однажды наш взор поразил великолепный всадник из старого ушедшего мира... Казалось, что ожил статный, стройный, мужественный, красивый гвардейский офицер Его Императорского Величества. Выправка и манеры были безупречны, голос обаятелен; посадка головы напоминала русского былинного молод-

ца, волосы темно-русые, усы ловко подбриты, глаза синие, как вода в Черном море. Погода благоприятствовала: мы находились во время перерыва не в помещении и видели, как он пружинно соскочил с седла, привязал лошадь, оправил гимнастерку защитного цвета и, постукивая стеком по голенищу сапога, прошел в зону. Он доброжелательно поздоровался с нами, обдав волной здоровой ухоженной мужественности и силы, и спросил, где начальник.

Гвардейский офицер и былинный герой оказался эстонским коммунистом, членом Центрального Комитета партии, хотя был из коренных русских жителей. Инженер по профессии, Борис Рождественский был к тому же поэтом, знатоком семи языков, мастером на все руки. Если бы его родители остались жить по соседству от Ленинграда, то за одну только внешность и манеры его давно бы посадили, но в сотне километров от границы, в добившейся самостоятельности Эстонии, он и подобные «рябчики» изнывали от желания воссоединиться с Советским Союзом и строить коммунизм. Их слепота, неосведомленность, отбрасывание верной информации как происков реакции привели к тому, что в 1938 году, в разгар террора, который на этот раз в основном был направлен против коммунистов, он с женой (той же породы людей) перешли кордон, чтобы немедленно реализовать свои, как им казалось, высокие цели. Конечно, их с ходу посадили и дали по три года, но, кажется, все же не за шпионаж, а за незаконный переход рубежей. Освободился он до начала войны, поэтому в «пересидчики» не попал и работал в техническом отделе управления. Иногда он с заказами приезжал в мастерскую и имел с нами дело. Знакомство наше перешло в дружбу, когда мы повстречались в этапе на Воркуту. Его привлекли тоже по делу двадцати восьми. Он никакого отношения не имел к этой истории, но жена высокопоставленного чина безумно в него влюбилась, даже бросила своего мужа, и тот рад был с ними рассчитаться. Надо сказать, что женщина, к своей чести, невзирая на угрозы и опасность своего положения, не вернулась к супругу и не переставала поддерживать Бориса в тюрьме, так что, получив те же десять лет, он, по крайней мере, не голодал.

Борис писал стихи на эстонском, английском, русском и был превосходным рассказчиком. Он украсил

наши этапные будни. Все бредни и давно протухшие коммунистические идеалы слезли с него, как старая негодная шерсть во время линьки. Подобно солженицынскому персонажу Яконову *, для которого мировая политика была родом шахмат, Борис относился теперь к жизни как к игре в хоккей, взяв на себя роль судьи. Он не намерен был участвовать в свалке, полученного с него хватило, он предпочитал стихи... Я уверен, что, кроме лжи, совершенно необходимой в этой системе, он себя ничем не замарал, и не мне его судить. Но пример этого прекрасного человека показывает, что даже самое идеальное служение коммунистической идее, с последующим разоблачением и отказом от нее, опустошает человека, делает его сердце холодным к страданиям ближних, если не сопровождается приходом к Богу и религиозным возрождением.

В последний раз я встретился с Борисом у нашего общего друга-профессора через двадцать лет после описываемых событий. Он уже давно соединился с красавицей женой, у них была прелестная девочка и полное семейное счастье, которое оба так заслужили... Но больно, что такие яркие люди как бы уходят задолго до смерти из жизни и замыкаются в своей ячейке. По их мнению, хоккей идет к концу, но сиди и не шевелись, а то клюшкой снесут голову. А кругом безусые юнцы, пусть неумело и по-детски, но отважно и пылко прокладывают новые, неведомые нашему поколению пути.

«У меня другие задачи, моя ставка — на Запад, а вы обязаны помочь ребятам, — сказал я ему. — Наш опыт, их напор — глядишь, что-то получится». Но раз в груди огонь погас, отговорки придумываются быстро.

В тот же вечер мы разговорились о его земляке и давнем знакомом А. Осипове, бывшем профессоре Духовной академии, расстриге и предателе, выступившем в 1959 году в газете «Правда» против Церкви. Меня интересовало, как мог богослов обосновать уход от Бога библейскими текстами, и я еще до нашей встречи разобрал по косточкам несколько его работ и одновременно понял, что он Иуда, за сребреники продавший свой сан. Так как я бил его фактами, Борис не мог мне возразить по существу, но продолжал настаивать, что Осипов — человек принципиальный, ищущий, пишет-де им с женой письма... Мне было обидно за Бориса, человека

* Из романа «В круге первом». (*Прим. ред.*)

умного и тонкого, обладающего чутьем и интуицией. Прежде он был очень острым в догадках, иначе пропал бы в лагерях, сразу нарвался бы на стукача. Его теперешнее поведение могло служить примером того, как желание считать нечто хорошим начисто вытесняет все неприятное, противоречащее мнению, созданному чувствами и средой. «Борис, — сказал я ему, — ведь в молодости ты сокрушил жизнь свою и жены. Умные люди вас убеждали, но ты не поверил, сделал по-своему и подорвался на мине. И снова — за то же. Значит, не убеждения тобой правят, а какие-то настроения, симпатии. Но ты ведь не женщина».

Еще раньше Борис рассказал мне, что прочел недавно в газете о Василии Лукиче Панюшкине. Оказывается, он не загнулся, а процветает, о нем написан сценарий и снят совсем неплохой фильм «Мичман Панин», прославляющий революцию; в нем Панюшкин баламутит матросов, организует большевистские ячейки, распространяет листовки. Я своим ушам не поверил.

Лукич работал медником на пару с милейшим парнем Мишей Дьячковым на первом лагпункте. Он резко отличался истово русской окладистой бородой и морщинистой крестьянской шеей, был общим любимцем, и наша пятерка мирволила ему с Мишей, как могла. Мы часто заходили в медницкую послушать рассказы Лукича о жизни рабочего и крестьянского люда в царской России. Неизменно они сводились к тому, какими мерзавцами были большевики, как, впрочем, и остальные революционеры, как хорошо жилось народу, так как наступило процветание, от золотых монет в получку даже отказывались, просили бумажками, питание ничего не стоило, за пять копеек в обжорном ряду на любом базаре можно было наесться досыта на целый день. Он перечислял также цены на разные продукты, охал, что жилье было дорогое, хотя постоянных рабочих селили в дешевых фабричных домах... И вдруг — как разрыв бомбы: милейший Лукич, столько раз клявший баламутов интеллигентов, сам, оказывается, из их числа, да не просто из болтающих, а их тех, кто сокрушал в военное время мощь России, разлагал самые основы Империи. Я знал, что искренен он был тогда, перед лицом надвинувшегося вплотную смертельного ужаса, когда костлявая старуха с косой впрягла нас в одну телегу. Шестое чувство у нас работало остро, и если бы он

проделал все на заказ, то был бы гениальным актером, затмившим Шаляпина, Михаила Чехова, Кина и Гаррика вместе взятых, — ведь они играли только по четыре часа подряд, а ему пришлось бы все шестнадцать ежедневно. Уж, наверное, в чем-то прорвалось бы!

Но вот новая страница в жизни Лукича. Его реабилитируют и дают в Москве, как пострадавшему члену коммунистической партии, квартиру и персональную пенсию, раз в год путевку в санаторий, прикрепляют к привилегированной поликлинике, обслуживающей старых большевиков, выделяют дотацию во время болезни. Он встретился с уцелевшими соратниками на собраниях — пожаловались, поворчали. Послушали лестные слова докладчика из ЦК партии и стали подписывать патриотические воззвания. К такому положению быстро привыкаешь, и так приятно становится считать, что жил не зря и если бы Сталин не испортил, то без него они все хорошо бы устроили... Можно и воспоминания начать писать или лучше продиктовать их сценаристам. И вот опять Лукич поет; плохое забыто, виновник найден, кругом поздравляют... Я был полностью уверен в его новой искренности и в возрождении прежнего бесчеловечного партийного отношения к людям. Но все же хотелось самому убедиться, и я послал письмо В. Л. Панюшкину, по-старому называя его Лукичом. Я не стал писать от своего имени, так как непреклонность моих взглядов была ему известна, и реакция могла быть резко отрицательной. Подписал Миша Дьячков, его друг, лагерный кореш, с которым лишнюю кроху они делили по-братски, чудесный русский умелец, сберегший нетронутую душу и ясные голубые глаза... Заказное письмо было дружелюбным, в нем я радовался его успехам, но ответа не последовало. Так же безрезультатно я написал еще раз. Москва не Париж, забастовок на почте не бывает, письма, как правило, доставляют адресату и в случае его отсутствия возвращают отправителю. Значит, он получил мое послание и не ответил, утвердившись в своей новой, верней повторной, вере в возрасте, когда человек вполне сложился.

Расы — не предрассудок

Пристроившись в кбч, я восстанавливал свое здоровье и промышлял обменом. Я имел подходящих клиентов, но считал крайне важным достать немного раститель-

ного масла и яичного порошка, коль скоро, благодаря щедрой американской помощи, они появились даже в лагерях и выдавались основным категориям работяг, попадая, конечно, в первую очередь в руки придурков. Как работающий инвалид, снятый с больничного питания, я получал второй «котел», а тех продуктов нам почти не доставалось. Ночью работали всегда одни и те же кашевары. И поэтому за время своей карьеры на кухне я не смог завести знакомых среди тех, кто готовил днем. Вскоре у меня созрел план познакомиться с поваром-китайцем, который был выделен специально для изготовления пончиков и запеканок, но я не представлял себе, какая это трудно выполнимая задача.

До 1929 года, когда, благодаря нэпу, еще существовали мелкие частные предприятия, в Москве было много китайских прачечных. В моей памяти остались люди за витринами в белых рубахах и портах, неутомимо стиравшие и гладившие. Затем их заведения прикрыли и большинство китайцев пересажали как шпионов. Во время генеральной чистки 1937 года китайцев и корейцев с Дальнего Востока выслали в Казахстан и значительную их часть тогда же пересажали по той же причине. В лагерях были целиком китайские бригады во главе с советским бригадиром из бытовиков, и почти все были уничтожены еще в предвоенные годы. Эти великолепные, исключительно добросовестные работники были необыкновенно выносливы, но не понимали языка и оказывались беззащитными против истребиловки. В 1938 году, когда заключенных специально уничтожали в лагерях по причине их переполнения, десятники получили специальное указание ставить китайские бригады на самые тяжелые участки земляных работ, не засчитывали им вспомогательные операции и даже записывали сделанное ими другим бригадам советских бытовиков. За невыполнение норм китайцев сажали на штрафной паек и доводили до полного истощения, а позже они попали за это в прокатившуюся по лагерям волну расстрелов. Поэтому до войны уцелели только те из них, кому удалось зацепиться в зоне за работу прачек.

Представители этой древней расы в нашем лагере были весьма далеки от русской и западной культур и в своем маленьком землячестве вели себя во исполнение привычных для них обычаев, в какой-то мере естествен-

но уже трансформированных, но сохранивших достаточное своеобразие. Благодаря этому они выделялись, что особенно интересно, так как в лагерях тех лет поведение и образ жизни зэков, в основном, не зависели от исходных и фактических качеств.

В «больничке» я видел таких китайцев. Они были, как и мы, страшно истощены, но резко отличались своим поведением:

— общались только между собой, не отвечали ни на какие вопросы, делая вид, что не понимают;

— днем спали или лежали без движения с закрытыми глазами, часто принимая причудливые, невероятные положения. Мысленно я сравнивал их с курильщиками опиума из какой-то хорошей, старой, еще немой иностранной кинокартины;

— при раздаче пищи они пробуждались или выходили из оцепенения лишь на время, необходимое, чтобы спрятать полученный паек в тумбочку, которая была в их распоряжении, так как все они лежали на нижних щитах;

— начинали ночную жизнь через час после отбоя, когда большинство уже засыпало. Деловито перемещались, бесшумно волоча самодельные туфли, тихо переговаривались друг с другом и, наконец, принимались за священнодействие насыщения, длящееся часами. Видимо, они обладали секретом, который был неведом даже йогам, если не отправились от всего этого к праотцам.

У меня были самые честные намерения в отношении повара-китайца, и я хотел узнать время, когда возле окошка, через которое он подавал обеды по третьему — лучшему — котлу, не было народа. Верней всего было сунуться к нему через час после раздачи: придурки, дневальные и местные работяги получили уже свою еду, а производственные бригады не вернулись еще в зону. И вот однажды с независимым видом я подал ему талон второго котла и немедленно получил его обратно. Одновременно я протянул правую ладонь, на которой в тряпочке лежал табак. Опытным взглядом курильщика он сразу оценил, что там было не менее трех спичечных коробочек, то есть трехдневная порция, которую мало кто мог себе позволить предложить. Но он отпрянул назад и замахал руками, крайне удивив меня, так как мой самосад имел большой спрос у придурков, славился своим качеством и про него говорили, что он крепок,

как спирт. Я забрал в другом окошке полагающуюся мне баланду и побрел восвояси. Дорогой я понял причину своего поражения. Лагерный быт вынуждал каждого повара кормить немалое число зэков, от которых зависело его положение на кухне и даже физическая безопасность. Это означало, что он должен был отдавать ряду лиц без талона наиболее ценную еду, и в количестве, сильно превышающем норму. Таким образом, котелки нарядчиков наполняли доверху запеканками, пончиками, иногда даже мясом, причем все заливали маслом, а для отвода глаз покрывали слоем каши. Остальные придурки получали соответственно своему положению и степени влияния на кухне. Уркачей тоже надо было кормить: главарей — как нарядчиков, а рядовым давать просто побольше каши. Во всех лагерях Советского Союза положение было одинаковым. Изредка удавалось добиться количественного сокращения хищения, но изжить его не удалось еще нигде. Начальство, как правило, борьбу с этим не вело, лишь когда кто-нибудь попадался с поличным, главным образом из-за сведения личных счетов, отдавали приказ и. виновника сажали в карцер. Добровольные осведомители играли на этом, выслеживая жертв своих доносов и шантажа с целью заставить себя кормить. Такой деятельностью занимался в свое время и наводящий страх дневальный кбч, хорошо известный кухне. А так как я был тоже из кбч, то китайцы недвусмысленно истолковали мое поведение. Открытие меня не столько опечалило, сколько рассмешило, и я решил продолжить усилия и поиск, но теперь я делал это уже больше с назидательной, чем с коммерческой целью.

Вскоре я выяснил, что повар проживает в том же бараке, где и вся китайская колония. Я заходил туда два-три раза, пытаясь увидеть Ваню-китайца, как его звали в лагере. И хотя дневальные встречали меня крайне неприязненно, я настаивал, объяснял, что мне надо с ним поговорить по делу. Видимо, на своем совете они решили, что от моего натиска не отделаешься, и поэтому сказали зайти перед отбоем. На этот раз я услышал: «Ваня дома», — и меня провели в отделенную глухой перегородкой часть барака. В лесном лагере такие причуды были неудивительны, ибо там все время что-то перестраивали, в частности, выгораживали в зоне мастерские для инвалидов. Я зашел в комнату, размером пять

на шесть, очень чистую, с отверстием в полу. В таком подполе можно было держать компрометирующую Ваню-повара пищу и приобретенные на нее вещи. В случае обыска то, что оставалось на виду, мгновенно пряталось и закрывалось снятыми досками, которые были сложены в углу. Дневальный указал мне направление и вышел. Приближаясь к подполу, я увидел, как оттуда поднялся, высунулся какой-то человек, но сразу трудно было понять, кто это, хотя света от лампы хватало. Фантастическая обстановка, резко диссонирующая с галдящими переполненными бараками, способствовала потере ориентации. Ваня-китаец на все сто процентов сумел использовать свое особое положение. Вероятно, мой начальник кбч дал ему разрешение на эту некоммунальную квартиру. Надзор в то время был крайне ослаблен, так как состоял из инвалидов войны, которые проходили раз в день через бараки, ни во что не вмешиваясь, а комендатура, по лагерной традиции, была, конечно, на содержании у кухни.

Я присел на корточки у крайней доски и улицезрел половину туловища Вани, который в упор на меня уставился. Тогда я разыграл вторично все как по нотам: открыл ладонь, на которой лежало в той же тряпице то же количество табака.

В раскосых черных глазах китайца что-то блеснуло, он уперся руками о пол, изогнувшись, приблизил свое лицо к моему, и я услышал свистящий шепот: «Ваня — честный китаис, табаку не берет, Ваня — честный китаис». Он отодвинулся, а с моих уст сорвалось: «Ты — честный китаец, ну а я — честный лагерник». Было ясно, что он не поймет заготовленную мною речь, и я ограничился несколькими сбивчивыми фразами на более доступном для Вани блатном жаргоне, которые должны были означать следующее: «Я вырвался из лап смерти, а теперь честной торговлей хочу поддержать свои силы, и ряд придурков ведет со мной дела. Можешь у них справиться. Молчишь, боишься? Смотри, это может повредить здоровью. Прощай!» Позже мелькнула догадка, почему Ваня принял меня в столь необычном положении. В случае агрессивных действий с моей стороны и желания вывести китайское землячество на чистую воду, мне была приготовлена западня: рядом с Ваней наверняка находилась пара припрятанных свидетелей нашего разговора и его защитников на случай

моих «военных действий». Ему ничего не составляло найти доброжелателей, хорошо знающих русский. Вполне вероятно, что у нас в дальнейшем могли бы завязаться торговые отношения, но я скоро ушел из зоны и стал работать на лесозаводе, где питание было несколько лучше. Для себя, после попытки войти в отношения с китайцем, я сделал вывод, которого придерживался все остальные восемь лет своей неволи: выдержит лишь тот, кто способен извлекать все необходимое для жизни из пайки хлеба и жалкого лагерного приварка. В тех условиях погоня за лучшим требовала несоразмерной затраты нервов и энергии, которые себя не оправдывали. Жаркая молитва питает дух, а дух помогает телу. Надежда на Бога, мир в душе и спокойствие помогают обходиться без недостающего и извлекать все ценное из скудного лагерного пайка. Помощь в виде посылок допустима лишь при критических состояниях организма; из-за возможного шантажа привыкать к ней нельзя.

Глава 12

ЭТАП НА ВОРКУТУ

С дьяволом в сделки не вступают

С заключенными обычно не стеснялись, и на этап вызывали, не предупреждая заранее. Утром в барак заходил нарядчик и сообщал, что зэк такой-то на развод выходить не должен. Когда все же опасались, что кто-нибудь пронюхает об отправке и спрячется, отводили в изолятор, а оттуда передавали этапным конвоирам. Марику за ее доброту и отзывчивость любили; не только многие заключенные, но кое-кто и из вольнонаемных относились к ней с благодарностью. Поэтому, когда список этапируемых из Вятлага на Воркуту пришел во вторую часть, одна девица в тот же день сообщила Марике все подробности, и я за несколько дней узнал о своей участи, сумел подготовиться, предупредить знакомых.

Из нашей пятерки «загремел» я один. По общему мнению, Воркута тогда была гиблым местом, но я уже был подготовлен к беде после памятной встречи с Курбатовым. За полтора месяца до этого я расписался под новым приговором, а теперь неокрепшего инвалида бросали

в лютую зиму на Крайний Север строить железную дорогу. В сравнении с этим ужасом лесной лагерь, где я продолжал бы работать по специальности, представлялся курортом. Новая напасть не смутила моей бодрости и крепости духа, однако было обидно, что невозможно за себя постоять, а надо подчиняться и терпеть все измывательства.

В мыслях я был все время с теми, кто смог с оружием в руках восстать против надеваемого на народ ярма террора. Я считаю себя обязанным рассказать читателю о том, какое невообразимое количество людей уничтожено террором. Я веду свой внутренний счет и вправе дать на каждую сотню погибших на моих глазах по одному напоминанию. У того, кому полсотни лет угрожала машина террора, особенно когда ее колесо его переехало и едва не задавило насмерть, достаточно оснований, чтобы об этом писать. Тем же, кто, к счастью, этого не испытал, надо для блага близких и своего собственного напрячь воображение, вникнуть, понять и поверить, когда предупреждают об опасности. Иначе может быть слишком поздно, чему немало примеров в недавней истории. С 1918 года трупный смрад из подвалов чекистов пополз по земле, залпы расстрелов возвестили немедленно о водворении власти подонков, но не сразу и далеко не все поняли жуть эпохи, пропитанной кровью застенков.

И даже из тех, кто осознал надвигающийся кошмар, лишь малая толика встала грудью на защиту народа, свободы, человеческих прав. Таков был Зандрок, словно родившийся для подвигов. Весной 1942 года его по спецнаряду вызвали в Кировскую трудколонию срочно налаживать производство сухопутных мин. Больше десяти дней он ждал конвоя, и все это время проводил в нашей мастерской, в разговорах. Я старался с утра исполнить обязанности в цехе, чтобы потом уже не отрываться, и с упоением слушал этого великолепного рассказчика. На германскую он попасть не успел, но в 1917 году прекрасный, чистый юноша с возвышенными, благородными идеалами был уже юнкером где-то на востоке, кажется, в Казани. Училище целиком примкнуло к белогвардейцам, став одной из наиболее надежных частей Колчака. Описание сражений, в которых он принимал участие, было необычайно увлекательным. Их бросали туда, где требовались самоотверженность и героизм. Поражала его стойкость и верность идее Белого движения. После того

как чехи предали и выдали Колчака для расстрела красным, Зандрок остался в числе малочисленных соединений, которые сохранили боеспособность и вырвались в Монголию... Он описывал годы эмиграции, Китай, прием у Чан Кай-ши, где угощали изысканным лакомством — мозгами еще теплой обезьяны, — а также гостеприимство в Японии, невероятное с точки зрения европейских обычаев. В Шанхае или Маньчжурии он устроился вполне сносно, но все время ему чего-то не хватало. Он возвращается добровольно в СССР и за недопустимую доверчивость платит годами ссылок, тюрем, этапов, лагерей. Так как предки его были из Шотландии, он казался мне неприхотливым вереском из тех мест, способным переносить суровые ветры и непогоды.

На исходе двенадцатого года заключения я познакомился в каторжном лагере в 1952 году еще с одним, не менее характерным представителем Белого движения. После ряда приключений мне удалось, наконец, выбраться на «спокойный» лагпункт и добиться перевода в мехмастерскую. Я завоевал там не безопасное, но зато не связанное с физическим трудом положение «романиста», а так как уже давно превзошел все тонкости описания выдаваемых нарядов, то легко выправил положение бедствующей бригады, еле-еле натягивавшей сто процентов. С моей легкой руки она стала передовой, перевыполняющей на бумаге план, работали в ней уже не десять, а двадцать человек, получали питание по наилучшему котлу и на руки — сотнягу сталинских рублей, что позволяло покупать в лавочке хлеб, сахар, маргарин. Я чувствовал себя Одиссеем, вернувшимся из странствий к подобию покоя, был окружен друзьями, в которых недостатка у меня никогда не было. Однажды вечером ко мне на койку подсел великан, которого я заметил раньше в другом отделении барака, и, протягивая ладонь размером в штыковую лопату, отрекомендовался: «Наездник Нечкин». Я сразу не понял, но оказалось, что до ареста он работал на ипподроме, а смолоду был военным кавалеристом.

Из уст бывшего тифлисского корнета, ерника и циника, полились тысячи рассказов о царской России, согласный хор которых подтверждал, что в предвоенные годы страна переживала невиданный расцвет. Шумно, весело было в офицерской среде на Кавказе, рекой лилось вино, но в 1914 году началась война. Отличный командир, участвует в десятках боев, берет Эрзерум, получает не-

сколько раз Георгия, становится очевидцем развала Кавказской армии и ее позорной эвакуации. Его природный скептический ум не щадил ни Распутина, ни Протопопова, а Родзянко с Милюковым он величал предателями и фанфаронами. Насмотревшись на расправы с офицерами, начальниками станций, избежав их сам благодаря своей отваге и физической силе, пользуясь уважением у своих солдат, он добрался до Ростова и там с несколькими подчиненными вступил в армию Деникина. Весь путь атак, побед, отступлений он прошел до конца, хотя никаких иллюзий у него не было. Себя он, впрочем, никогда не забывал, в Кременчуге даже участвовал в ограблении ювелирного магазина и частенько отпрашивался в тыл для пьяных кутежей. Если денег не хватало, чтобы расплатиться, то в отдельном кабинете подрисовывали на портрете Деникину страшные усы, вставляли в рот окурок и, позвав хозяина, кричали: «Как смел? Застрелить, как собаку!», и тот был рад-радешенек спровадить гостей без денег. Но даже компрометируя подобными выходками Белое движение, он продолжал болеть за него, и его возмущало, что в полку лошади не подкованы, как в красной коннице Буденного. Солдатом он остался до конца и беспрекословно исполнил последний приказ об участии в арьергардных боях, прикрывающих эвакуацию Белой армии. Когда отходили последние пароходы и многих оставляли на берегу, он, верный себе, за пару бриллиантов купил место на санитарном пароходе и поэтому одного раненого снесли на берег. Лагерь в Галлиполи вызвал у него горький смех. Он вырвался оттуда и попал в Александрию, где после пьяного дебоша в английском гарнизоне его посадили в военную тюрьму. Там он отказался исполнить установленную процедуру — вынести ночную посудину и вернуться в камеру — на том основании, что он гость короля Георга Пятого. Позднее тот, по рассказам Нечкина, даже пригласил во дворец великана, настолько импозантны были его внешность и находчивость в разговоре. Вскоре бриллианты кончились, он нанимается на ипподром. Именно к этому времени в СССР объявили нэп и прощение всем, кто вернется. Он вряд ли поверил посулам, но, рассчитывая все же на свой ум и работу скромного наездника, приехал тоже в большевистскую страну.

Оба белых офицера были храбрецами, но почему-то сдались на милость победителя. Идеалист понадеялся,

циник допустил в расчетах ошибку, а конец один — решетка и колючая проволока. «Статистика», собранная мною за время заключения, подтверждает, что все белые офицеры и солдаты, поверившие советскому правительству, окончили жизнь в подвалах, тюрьмах, лагерях. С дьяволом в сделки не вступают!

В ту ночь перед этапом я особенно остро позавидовал тем, кто с оружием в руках отстаивал право на свободную жизнь своего народа, и досадовал на их бесславную капитуляцию перед режимом, когда борьба с ним становилась с каждым днем все более и более необходимой. Какую громадную пользу они могли бы оказать! Во время погрома Церкви и проведения коллективизации вождей и руководителей искали, но их не было; в то время они все были арестованы или куда-то попрятались.

Битва в пути

Проводы всегда утомительны, и с чувством облегчения, невзирая на грозное будущее, мы сели в вагон какой-то неизвестной конструкции, без перегородок между купе, с подобием общих нар за решеткой. Нам представилась возможность познакомиться со всеми участниками этапа и, быть может, понять его целевое назначение. Иногда сразу было ясно, что освобождались от доходяг, инвалидов или нестерпимо надоевших лагерному начальству блатарей... Но чаще всего этапы ярко выраженной физиономии не имели. Так внешне обстояло и на этот раз, но отбор однодельцев был показателен и не оставлял сомнения в мстительном умысле.

Из тех, кто получил «десятку», взяли:

— Павла Салмина — главу выдуманного вооруженного восстания и главного свидетеля обвинения, давшего на всех показания. Хорошо осведомленный участник следовательских махинаций, знавший все их слабые места, представлял для чекистов скрытую опасность на случай перемен в конце войны. Такого спокойнее было отправить на тот свет;

— Бориса Рождественского, дабы неповадно было отбивать у чекиста жену;

— меня — за непримиримую и нескрываемую враждебность к режиму;

— Льва К. — за такую же непримиримость и еще бóльшую откровенность;

— Мишу Дьячкова — рабочего парня, всегда ругавшего следователей, обзывавшего их фашистами и вредителями.

Без предварительного уговора начался сразу бойкот Салмина. Неоднократно приходилось убеждаться, что жертвы чекистского террора не дышали местью к своим палачам, считая достаточным их обезвредить. Но примирительное отношение к сексотам, провокаторам было редким и лишь при полной раздавленности или страшной трусости. В нормальных условиях формула была одна: «Смерть стукачам!» Если бы среди нас был Кнебель, запутавший почти всех лживыми доносами, то он, скорей всего, не доехал бы до места назначения, поплатившись жизнью в уборной пересылки в первый же вечер. Но Салмин не был стукачом, а оказался быстро сломленным на следствии неврастеником. К тому же среди нас не было, скажем, Саши Л., который считал его провокатором, инициатива не была проявлена, и к Кнебелю его не приравняли. Впрочем, Салмин и сам стремился убраться с глаз долой, забраться в уголок потемнее и от нас подальше.

До Кирова доехали очень быстро, но расстановка сил уже наметилась. К Борису, которого его временная жена снабдила в дорогу хорошей зимней одеждой и порядочным запасом продуктов, пристроился, как сокол голый, инженер Ручкин. Я познакомился наконец с обрусевшим шведом — историком Львом К., очень интересным собеседником. По старой дружбе от меня не отрывался Миша Дьячков, примкнули также еще двое рабочих парней, отчасти как к центру кристаллизации, отчасти из-за остатков крепкого табака, который мы изредка раскуривали, по-братски передавая «бычок» из одного рта в другой.

Затесался среди нас также Савка-рыжий, почти столь же легендарный, как Лом-Лопата, но все же до него не дотягивающий, вор и бандит, от которого также стремились избавиться в лагере. Отдельно расположились два бытовика, работавшие где-то на складе и, следовательно, в тогдашнем нашем понимании — люди богатые. Большинство из нас еще было истощено, достать еду на дорогу не сумело и поэтому невольно завидущими глазами смотрело на их сидоры. Они могли их довезти только до первой пересылки, и прямой смысл был присоединиться к нашему отряду. Поделившись запасами, сохранили бы

остальное для себя. Но на наше предложение они ответили: «Мы блатных придерживаемся!» Ну, что ж, как говорят, на себя и пеняйте, никакой помощи от нас не ждите. На наших глазах разыгралось вскоре их раскурочивание. К ним подсел Савка, и они вытащили хлеб и соленую рыбу. Савка обжирался, бытовики были довольны. Но вот он произвел «наколку», то есть оценил содержимое мешков и оглядел их одежду. На пересылке он решил ощипать до основания этих каплунов, а пока, свернув из их табака скрутку толщиной в палец, блаженствовал. Дураков жалеть ни к чему, и ребята начали их подначивать. «Ну, как, Савка, пообедал? Когда соберешься ужинать, нас не забудь. У тебя там на всех хватит, а твоим «фраерам» жрать не обязательно — ведь они все припасли для воров на пересылке». Посмеялись, закурили.

В Киров приехали поздно вечером в лютый мороз. Старая пересылка находилась на берегу реки, и идти к ней надо было через весь город мимо громадной Кировской тюрьмы, где производили расстрелы. Одним из палачей — «исполнителей», как их вежливо именовали чекисты, — был вохровец Вятлага украинец по фамилии Гетман. Когда набиралась подходящая партия смертников, его посылали в командировку. Выполнив свою миссию, он возвращался к обязанностям стрелка на вышке возле лагеря. Естественно, его «за заслуги» никогда не посылали в лес охранять бригаду, а держали на более привилегированной службе. Никакими другими способностями, кроме палаческих, наделен он не был. О нем ходили рассказы, которые начинали казаться даже преуменьшенными, достаточно было посмотреть на его низколобую плотоядную харю. Коронный номер он выкинул со своей женой. Однажды она поперла прямо к вышке с обедом, который всегда ему приносила, забыв о тонкости конвойной службы, — к сторожу на посту имеет право подойти лишь разводящий. Гетман немедленно заорал: «Лягай и не вертухайся»*, что в переводе с украинского означает: «Ложись и не двигайся!» Бабонька выполнила приказ супруга в точности, так как не раз испытывала на себе его характер, и пару часов пролежала на земле.

---

* Само слово «вертухай», которое прилепилось к конвоирам и охране, скорее всего, трансформация этого грозного окрика 1937-1938 годов.

До войны из таких головорезов и выродков были укомплектованы охрана и конвойные части лагерей, но к середине сентября сорок первого они куда-то исчезли, и на их место прибыли мобилизованные деды из окрестных Кайских деревень. Позднее стало известно, что золотой фонд режима пополнил состав внутренних войск НКВД, простоявших всю войну в тыловых областных городах, хотя мы тогда думали, что этих садистов послали на фронт. Для бедного Гетмана это означало, вероятно, потерю командировочных, так как из гарнизона, в котором он теперь находился, было рукой подать до Кировской тюрьмы.

Холодно, конвой подгоняет. Отставать начал Лев. Его имущество состояло из драного ватного одеяла, которое он накинул на плечи, но кто-то наступил на конец. Лев перекочевал в задние ряды, одеяло волочится уже почти целиком по земле, конвой натравливает на него свирепого пса, который кусает за ноги. Спасло то, что мы были в черте города, поэтому начальник остановил колонну, и мы подхватили Льва под руки, не забыв и про одеяло.

Наконец дошли до пересылки. Но внутрь не пускают, опять заминка, ждем минут сорок, замерзли окончательно. Желание одно — попасть в теплое помещение. Последняя остановка в коридоре, и наконец мы в камере. С твердым решением во что бы то ни стало нашему ядру держаться вместе и давать дружный отпор, мы осмотрели помещение. Народу хватало, но на верхних нарах были свободные места, куда мы и устремились. Узнав, что половина людей в бане, мы стали ждать их прихода, пока не раздеваясь. Вскоре раскрылись двери, и ватага предупрежденных блатарей кинулась штурмовать наши нары. Преимущество нашего положения — мы стояли в рост — позволило нам ударами ног сбрасывать карабкающихся. Но некоторым из них удалось сзади забраться с краю на нары и подобраться к нам со спины. Тогда как по команде мы начали прыгать на головы ревущих внизу воров. Одетый по-зимнему мужик, с мешком за плечами, падая, был равносилен выстрелу из пушки. Последними отбивались мы с Ручкиным, и, как мне показалось, под моим грузом хрустнули чьи-то косточки.

Дверь, до которой рукой подать, была ориентиром приземления, и компактная масса небольшого нашего отряда загородила выход. Мы зверски отбивались от блат-

ных внизу, хотя многие из нас не зря числились в инвалидах; еще минуты две — и силы покинули бы нас. Особенно отличался Ручкин; по природе хороший солдат, он был к тому же без вещей и не истощен. В камере шум и крики усугубились тем, что мы начали дубасить ногами в дверь. Невыдержавший тюремщик распахнул ее, и это дало нам возможность выскочить в коридор. В наступившей тишине мы услышали голос Льва: «Братцы, я с вами!» — и потребовали, чтобы его тоже выпустили. Красный как рак, он протиснулся к нам, не расставаясь с одеялом.

Мы оказались все вместе; нас было человек десять. К бандитам возвращаться мы не собирались. Нас отвели в нетопленое, покрытое инеем помещение, но мы и этому были рады. Борис раздал весь свой хлеб, и силы прибыли. Снаряжение уцелело. Мы осмотрелись. Холодно, замерзли. Надзиратели, работавшие в доле с блатными, пообещали поместить нас в «тихую» камеру. Мы не упирались и не послушали Бориса, который предложил добиться вызова начальника пересылки и не двигаться; но он не стал настаивать, так как был в меховой шубе и валенках. Глядя на посиневших ребят, я тоже его не поддержал. И мы совершили огромную глупость. Вполне можно было продержаться еще час, а то и до утра: лечь в кучу на нары, одеялом Льва закрыть ноги, с краев положить Бориса и еще одного парня в справной шубе... А за это время либо начальник пришел бы, либо надзору надоело бы с нами возиться и мы попали бы в обещанную тихую камеру. В критических положениях решать должен дух, а не плоть, но человеку всегда свойственны одни и те же ошибки. Надзор, зарясь на пресловутые шубу, полушубок да несколько мешков ребят, которые были позажиточней, сунул нас в другое осиное гнездо, еще похуже. Половина зэков опять в бане, но тактика оставшихся была совсем другая — улыбаются, приглашают, освобождают места. У двери я заметил знакомого техника из Вятлага, обрусевшего чеха, с которым мы в Вятлаге были в приятельских отношениях. «Ржегак, здоро́во, как тут, ‘казачат или половинят’?» — «Порядок, располагайся!» — ответил он. Бросилось, правда, в глаза, что сидит он как приклеенный, будто обделался, но ощущение было мимолетным. Услыхав его ответ, ребята окончательно потеряли осторожность, разбрелись по углам. Следуем приглашению любезных хозяев и постепен-

но отходим, раздеваемся, мирно разговариваем. Но вот хлопает дверь, впускают вернувшихся из бани. Резкая перемена декорации — к каждому из нас подходит несколько блатарей с намерением поживиться на наш счет. Передо мной оказался парень с вполне интеллигентным лицом и начал объясняться даже не на воровском жаргоне. В то время, когда человек знал, что его должны посадить по пятьдесят восьмой, случалось, что он совершал мелкое хищение или воровство, получал два года и отправлялся в лагерь как бытовик или вор. Такое решение было понятным и как-то оправданным, но при условии, что в отношении контриков поведение оставалось приличным. Как только этот парень по-хозяйски схватил мой мешочек, я понял, что передо мной сума переметная, и нанес ему сильный удар тычком в лицо. Чья-то волосатая лапа немедленно схватила за шею, на мне повисли еще двое, а оправившийся парень наотмашь хватил меня по носу. Ручьем потекла кровь и залила белую рубашку. Меня отпустили и жадно начали выгребать ценные для них вещи, а я от боли и крови был неспособен сопротивляться. Вдруг на пороге появился военный в голубых погонах и крикнул: «А ну, инженеры, кто сейчас приехали, выходи из камеры!» Спасителем был Ручкин. Вещи его не обременяли, поскольку их у него не было, и здоровый парень, оценив обстановку, огрызком карандаша накатал заявление начальнику пересылки о том, что группу инженеров-специалистов везут по спецнаряду на Воркутский комбинат, а в его вотчине нас бьют, грабят и по приезде мы будем жаловаться на здешнюю администрацию. Нам повезло. Надзиратель был сердит на блатарей этой камеры, считая, что они обделили его награбленным, и бумага, которую ему вручил Ручкин, дошла по назначению. Мы все равно добились бы своего, так как слаженная воля и ум преданных друг другу людей пробивали брешь в системе, которая с виду только монолитна, а на самом деле разрозненна, продажна, труслива, построена на страхе и взаимном предательстве. Но ублаженный блатарями надзиратель не ударил бы палец о палец, и нам пришлось бы добиваться задуманного, используя метод объявления коллективной голодовки.

Мы предстали перед начальником. Вид у нас был растерзанный и жалкий. Очень уж страшно выглядела моя окровавленная рубашка и другие разлохмаченные товарищи по этапу. Не пострадавший Ручкин и представи-

тельный, в уцелевшей еще роскошной одежде, Борис стали врать без зазрения совести, объяснять, какие мы крупные, незаменимые специалисты, вызванные для пуска завода, показывали, до какого состояния меня избили, кричали, что этого никто из нас так не оставит. Рассвирепевший начальник потребовал старосту камеры. Вышедший блатарь был необыкновенно живописен: рожа красная, распаренная, рубаха на груди расстегнута, на шее красный, рубиновый, снятый с кого-то крест, на лице полнейшие преданность и старательность. Начальник заорал: «...Расстреляю без суда и следствия. Вы что мне здесь разбой устраиваете?» Блатарь ел его глазами и успевал выкрикивать в тот момент, когда тот набирал в легкие воздух: «Гражданин начальник, всё без меня, мы в бане были, я их, гадов...» Вранье, конечно. Курочить начали сразу, как они появились, но начальник смягчился: «Бытовик?» — «Конечно», — преданно ответил староста. Последовала команда: «Вывести всех и обыскать камеру!» Мы старались не пропустить вещи, которые урки могли уже на себя напялить, и тут же их снимали. Затем нас запустили в камеру, и мы нашли все наше имущество. Только блатари рассыпали по полу мешочек с горохом Бориса, почуяв недоброе, с тем чтобы потом собрать по горошине и съесть. Победа была одержана, нас отвели в действительно спокойную камеру, где преобладали калеки войны, с палочками и костылями. Мы почувствовали себя как в раю — ни разбоя, ни драк, ни шума. Расположились и заснули.

Остальные дни, проведенные в пересылке, были скрашены рассказами Льва. Как зачарованные, слушали мы часа по четыре подряд его поставленный красивый профессорский голос. В его изложении Дюма приобретал глубину и христианский смысл; из беспутных драчунов незаметно получались светлые герои, преодолевавшие темные силы злодейства. Лев всегда сидел на верхних нарах на неизменном одеяле, скрестив ноги и не меняя позы в течение всего своего повествования. Позднее я понял, что ему, как йогу*, была необходима для медитаций такая поза лотоса.

Вездесущий Ручкин узнал у надзирателя, что упорному стремлению загнать наш этап в камеры, «где вечно

---

* О его йоговском купании в снегу, когда он был зимой сорок третьего — сорок четвертого года в изоляторе, рассказывается в главе десятой.

пляшут и поют», как романтично сами себя рекламировали блатарики, мы обязаны были Савке. Во время нашего первого стояния в коридоре он шепнул знакомому тюремщику, что Борис — богатый «бобер», то есть обладатель ценной одежды, не только надетой, но и спрятанной в его сидоре. На этот раз полный мести и ненависти философ и поэт Борис стал неузнаваем. Случай свести счеты представился всем нам в день отъезда. Савка спрятался и не откликался; на Воркуту он ехать с нами не хотел. Решили проверить по формулярам камеры, в которые он мог попасть с этапа. Времени до отправки оставалось мало, и начальник, когда мы стояли уже в коридоре, готовые к этапу, вспомнив об оказанной им помощи, обратился к Борису, которого запомнил. К моему удивлению, тот согласился немедленно, и они вместе с Ручкиным стали у двери, через которую по одному выпускали всех заключенных. Как и следовало ожидать, Савка оказался в камере, где разыгралось наше сражение, был обнаружен Борисом, и его присоединили к нашему этапу. Мы крепко его обругали и даже попытались что-то ему объяснить, но тщетно: такие изверги, если уж когда-нибудь исправляются, то только с помощью Церкви.

Общий смех и издевки вызвало появление двух бытовиков, которых легально начал курочить Савка еще в нашем присутствии. После пребывания в камере со своим «другом» они оказались без сидоров и одетыми в рубища вместо справной теплой одежды, которая была на них поначалу. «Ну как, и дальше будете держаться блатных?» — спросили мы, но ответа не получили.

Вернувшиеся с Воркуты заключенные рассказали нам перед самым отъездом, что железная дорога доведена уже до самого города, следовательно, мы ехали не на ее строительство. Наш малюсенький этап разместили в пассажирском, а не в телячьем вагоне, что при нашей худой одежонке имело огромное значение. Мы вздохнули полной грудью, и я как-то всем существом понял, что эра ужасов закончилась, впереди ничто уже не могло испугать и, по сравнению с пережитым, все должно было вызывать лишь усмешку.

Реальные политики на пересылке *

В девятнадцатом и в начале двадцатого веков руководители государств еще имели дело с людьми, схожими с нами по воспитанию и уровню развития. Поэтому они понимали друг друга и примерно одними глазами смотрели на жизнь. Положение резко изменилось, когда появились деспотии двадцатого века. Западные деятели, окончившие Оксфорд, Гарвард, Итон и им подобные заведения, отлично понимали друг друга и воображали, что их коммунистические партнеры имеют тот же круг понятий, оценок и установок. Причина колоссальных провалов Запада во время второй мировой войны в том, что, доверившись обещаниям Сталина, ему отдали пол-Европы и весь Китай. Меньшие ошибки продолжаются и поныне, но в атомную эпоху, когда агрессорам делают хоть какие-либо уступки, они становятся более опасными.

Всего за бытность свою в заключении я прошел через одиннадцать пересыльных тюрем, но уже после первой из них у меня появилось вспомогательное средство оценки людей: поведение человека на пересылке. Заключенным это нравилось, и часто такой способ превращался в игру, особенно когда фактического материала для суждений не хватало. Тогда выбранное жюри решало, чья версия более правильна.

В 1972 году на Западе я убедился, что демократическая свобода допускает насмешки над государственными деятелями, исключая, кажется, коронованных особ, охраняемых добрыми историческими традициями. Это справедливо, так как избранник народа не должен мешать остроумным его представителям выражать свое мнение.

Я тоже позволю себе пошутить над сильными мира сего, так как, чтобы вести правильную политику, надо понимать психологию тех, с кем ведут переговоры. В первую очередь следует ознакомиться с мышлением руководителей деспотий, а также и других стран свободного и третьего мира, которые далеко не все понимают так, как принято в ведущих западных странах. Поэтому неплохо тем, от кого зависят судьбы мира, пройти необходимую стажировку в пересылочной тюрьме с настоящими блатарями и только проследить, чтобы, кроме пары синяков,

---

* Написано до путешествия Никсона и Киссинджера в Москву и Пекин.

иных увечий нанесено не было. Но так как такое условие невыполнимо, придется ограничиться актерами, хорошо изучившими нравы и взгляды настоящего блатного мира, скажем, из Голливуда, благо там собрались отовсюду и говорят на любых языках. Однако руководители должны быть готовы к худшему и знать, что они в любой момент могут попасть в руки настоящих блатарей.

Я думаю, что легче всего пришлось бы президенту Никсону и его помощникам. Они подошли бы к вопросу прагматически — ознакомились, подготовились, оценили реальные наблюдения и выводы. Возможен был бы такой разговор:

— Послушай, Дик, надо вызвать ученых-советологов и кремлеведов. Они нам смогут помочь.

— Хорошая идея, но сейчас нам полезнее парни, которые сами поездили по сталинским пересылкам.

— Что ж, поищем. А тем временем разучим несколько приемов дзю-до да займемся с тренерами бокса.

Вполне подготовившись, компания из четырех-пяти министров в своей одежде, захватив вещи и продукты в рюкзаки, отдает себя в руки надзирателей пересылки. Камера набита зэками смешанного состава. Какое-то время стажеры присматриваются. Но вот на середину сцены выходит явный блатарь, одетый согласно идеалам сталинской эпохи: сапоги с загнутыми ниже колен голенищами, свешивающиеся на них широченные шаровары с непременным напуском, цветастая рубашка, поверх которой напялен жилет; во рту на левом клыке блестит обязательно золотая коронка. Это, конечно, высший чин — «фиксатый»; обычно к титулу добавляют имя вора: «Юро́к-фиксатый» или «Митянька-фиксатый»... Его наряд — идеал каждого блатаря, но так щегольнуть редко кому удается, да и то на короткое время, так как очень быстро шикарная уворованная сбруя проигрывается в карты и исчезает из камеры в обмен на табак, а иногда и на водку. Потоптавшись на середине камеры, блатарь запевает: «Разменяйте мине сорок миллионов» или «На Молдаванке музыка играет, а би́кса в доску пьяная лежит...» На родные звуки из углов и с нар слетаются экстравагантные фигуры воров. Это давно сорганизованные блатари, подчиняющиеся кровавой дисциплине воровского закона и своему паха́ну — особая каста со своим языком, проверенной тактикой разъединения, а затем подавления поодиночке. Самые шустрые из них ле-

зут вперед, всё выясняют, оценивают. Задача американцев пока наблюдать и ни во что не вмешиваться. Разыгрываются типичные сценки. «Фраера» и «сидоры поликарповичи» сидят на своих мешках, лишь кое-где они сбились в кучку по два-три человека. Начинается процедура раскурочивания. Наши стажеры видят, как одних «оказачивают», то есть отбирают всё, других только «половинят». Вид у бедняг испуганный. Их много, вместе они могли бы смять и задавить несколько блатарей, но они безропотно отдают свои пожитки. Рядом с хорошо одетым старичком на большом мешке подле стажеров примостился парень, и они мирно разговаривают. Уже несколько раз мимо них проходят блатари. Один из них, наконец, как бы невзначай натыкается на мешок и сбивает его ногой, другой толкает первого на старика, парень его отбрасывает, и в это время выдергивают шмотки. Парень стремительно кидается на помощь, трое блатарей начинают его лупить, а в это время торба исчезает. Вокруг никто с места не сдвинулся и не пришел на помощь. К парню, которому крепко досталось, подходит пахан и менторским тоном говорит: «Тебя не трогают, и ты не дрыгай ногами». Этот основной закон пересыльных тюрем блатари внушают своим жертвам, а тоталитаристы — всему миру.

Дик: «Знаете, ребята, мне не по себе. Паршиво както. Несколько человек избивают одного, а мы сидим и смотрим».

Генри: «Что говорить, это против наших традиций».

Вильям: «Я вцепился в локоть Агню, иначе он бросился бы в свалку, но больше этого делать не стану...»

Обмен мнениями прерван появлением блатного пацана лет четырнадцати, который, ни слова не говоря, пытается утянуть рюкзак Вильяма; тот как раз его снял, так как уже всем захотелось есть. Генри ближе всех и пинает мальчишку ногой, не больно, а так, чтобы тот не приставал. Появляется громадный, мрачного вида верзила: «Ты что, падло, маленьких обижаешь?» — и хочет приблизиться вплотную.

Дик: «Вдарь ему как следует».

Крепким мастерским ударом в челюсть верзила отброшен на сидящих рядом фраеров. Блатные застыли от неожиданности. Уркач, кряхтя, подымается. Явное замешательство, ретируются. Через полчаса появляется пахан со своей свитой, и они запросто подсаживаются

к стажерам. «Вы что ж, мужики, маранули нашего? Он даже ходить не может... давайте по-хорошему! Сами отдайте ему «шкары», «бобочку», «колеса». У вас в сидорах полно, и давайте закурим».

Стажеры рады представившемуся случаю и стараются втолковать, внушить свою западную точку зрения. Пахан разъяснений не слушает, это ему ни к чему, но закуривает американские сигареты и, ничего не добившись, уходит.

Ночь. Утомленные стажеры засыпают, но вдруг их будят крики. Всем скопом блатари наскочили на группку фраеров человек в шесть, которые накануне ни во что не вмешивались, но к себе не подпускали. Один из них нарочно не спал и охранял справные шмотки и сидора́, которыми можно было поживиться. Но хотя нападение не было неожиданным, на стороне блатарей было явное преимущество. Из речей стажеров пахан усвоил, что они не намерены больше сидеть сложа руки, если около них начнут избивать людей. Поэтому они рассчитывали во время свалки стащить пару американских рюкзаков и молниеносно передать их за дверь надзору, с которым они были в доле. И действительно, стажеры бросились на помощь фраерам: блатные не выдерживают их натиска, отступают. Правда, на войне не без потерь, и один рюкзак ушел за дверь. «Поликарповичи» не реагируют, лишь подымают голову, вроде их это не касается. Стажерам жаль мешка, но они компенсированы. Происходит консолидация сил: возле них располагаются те, кому они только что помогли, — избитый утром парень и еще десяток крепких ребят из разных углов камеры. Рабская зависимость от блатарей давно опротивела, и преподанный им урок понравился. Многие из них только ждали случая объединиться, но не знали, как это сделать. Теперь у стажеров целая армия, и перевес над блатарями несомненен. Дик посылает ультиматум с Вильямом: немедленно отдать все награбленное накануне, или заберем силой. Такой язык блатарям понятен. Они сносят вещи, которые раздаются хозяевам, а сами расползаются до того времени, когда появятся шансы на успех. Дик подводит итог: мир — громадная пересылка. Позор тем, кто трусливо ждет своей очереди. Мы окажем помощь всем, кто достоин ее своей ответной борьбой.

Остальные стажеры, а с ними и все подлинные американцы — с Диком согласны.

Новогодний тост

В столыпинском вагоне было тепло. Этой же зимой прибывали целые составы товарных вагонов, холодных, так как не хватало топлива. Там плохо одетые замерзали насмерть, и после такого привоза трупы складывали штабелями; у многих же мороз надолго оставлял тяжелые воспоминания. У одного зэка, кроме щек и носа, пострадал во сне даже глаз, так как в вагоне он лежал у стенки, куда задувал ветер.

Мы наслаждались неслыханными в то время и в нашем положении удобствами: верхние полки купе были уже заняты, и люди с них не слезали, но внизу нас было только восемь человек, так что днем мы сидели на скамьях, а ночью лежали впритык на них и на вещах. Конвой тоже попался не очень вредный. Мы «катились» по его вине всего двое суток без хлеба. Этап продолжался две недели. Хотя была самая темная часть года, свет проникал из коридора, и обстановка располагала к беседам, рассказам и размышлениям.

Лев теперь молчал, реванш взял Борис. Три дня подряд мы слушали затаив дыхание изумительно интересный приключенческий роман о девушке Сузи, которая в самых невероятных положениях не потеряла невинности. Я уверен, что автор книги Сесиль Барт не додумался до многих подробностей, которыми Борис украсил свое повествование. Отдавая дань составу слушателей, он добавлял крепко просоленные подробности, а когда становилось ясно, что на этот раз Сузи уже несдобровать, заканчивал торжественно неизменной сентенцией, которую мы, подражая его интонации, повторяли хором за ним: «Но Сузи знала, что мораль есть узенькая балочка и, сорвавшись, обратно не подымешься».

В перерывах между слушанием «романа» и другими разговорами я стремился подвести итоги своему пребыванию в Вятлаге. Больше всего я думал о своих друзьях, оставшихся там. Наш наставник и добрый гений на первых порах столь трудной лагерной жизни Жорж Лаймер скончался в конце сорок второго от воспаления легких, которое схватил, когда ехал на паровозе и продрог. Вопреки этой версии, я убежден, что это было самоубийством. Мне два раза приходилось совершать такое путешествие, и я все время находился снаружи на боковой площадке и лишь, когда сильно стыло лицо, заходил

в будку погреться. По сравнению с остальными, Жорж питался калорийной здоровой пищей, был в хорошем меховом полушубке, валенках... Заболеть можно было только сознательно, распахнувшись и простояв на ветру до окоченения. В год после нашего отъезда на управленческий лагпункт Жорж чувствовал себя очень одиноко, и мы говорили с ним об этом во время редких встреч. Жорж острее нас чуял и понимал угрожавший нам арест, и ему, как и нам, было ясно, что на следствии его постарались бы сделать вождем. Страшные условия лагерной тюрьмы ему были известны лучше, чем нам. Общее разочарование в Гитлере он переживал особенно сильно, и дальнейшая перспектива рисовалась в безнадежных тонах. Кроме того, он был крайне расстроен своей ссорой с Юрием, жаловался на это, и, беспристрастно, истина была на его стороне. Юрий, невзирая на все достоинства и талант, обладал одной страшной чертой — умел создать отрицательное мнение о человеке. А именно ему следовало быть особенно благодарным Жоржу, без которого он едва ли пережил бы первую зиму: срок у него был восемь лет, место конструктора было занято стукачом, и без таланта Жоржа не видать бы ему мастерской как своих ушей. Юрий не обладал глубиной мышления, а качества ума всегда совершенствуются в профессии человека. Он был первоклассным конструктором и рассказывал, как еще в 1930 году, с помощью имевшего тогда хождение одного только технического справочника Хютте, изобрел телевизор с механической разверткой, а в дальнейшие годы конструировал самые разнообразные машины и механизмы. Так как моя судьба сложилась позже схожим образом, мне хорошо известно, что такая работа не способствует оттачиванию мысли. Вникнуть как следует в тонкости никогда нет времени, всегда надо срочно делать заказ, и сразу по его выполнении переключаться на другой. Иное бывает, когда конструктор всю жизнь посвящает одной проблеме, тогда даже при отсутствии нужных природных качеств, они в какой-то степени появляются в процессе работы. В силу этих причин Юрий не додумал линию своего поведения. Надо было нырнуть в норку, вроде моего электроцеха, чтобы тихо и по возможности без приключений пережить свой срок. Но Юрий хотел быть конструктором, то есть одной из центральных фигур мастерской, и одновременно отключиться от всех разговоров, представляющих опасность. Стре-

мясь его уважить, мы обычно при нем замолкали. Но он требовал бóльшего — прекратить вообще между собой разговоры, поскольку они могли закончиться для него критически. Этот каприз исполнить, конечно, было невозможно, и позднее его гнев обрушился на нас. Он не допонял, верней, упустил из виду, что половина наших однодельцев не вела никаких опасных разговоров, и все же угодила вместе с нами и сердиться следовало на эпоху, чекистов, но не на нас. Обида его на Жоржа была такого же сорта.

Прискорбно все это вспоминать, но крайне важен вопрос взаимоотношений хороших людей, а в дальнейшем — и борцов за правое дело. Доморощенные установки не устраняют зависти, соперничества, выдуманных обид, вспышек злобы.

Современные диссиденты должны устанавливать свои отношения и правила поведения по уставам современных рыцарских братств. Тот, кто вступает на путь борьбы с тоталитаризмом, должен победить в себе жалость к самым близким людям и свыкнуться с тем, что мученики на земле увеличивают сонм святых на небесах.

Сионист Борис X. остался в моей памяти высоким блондином с мефистофельскими чертами лица. Он ошибался меньше всех и обладал удивительной целенаправленностью мысли. В разгроме Германии он был убежден и еще в Бутырках до начала войны доказывал это сравнительными цифрами, отражающими экономические возможности намечающихся коалиций. Никакие успехи германского оружия не могли сбить Бориса с его позиций. Более того, он ошибся лишь на год, предсказав поражение Германии. Несмотря на то, что при упоминании имени Гитлера он приходил в фанатическую ярость, он считал, что его людоедские акции в отношении евреев объективно помогают скорейшему образованию жизнеспособного еврейского государства, и полагал, что это произойдет сразу же после конца войны. Он уверенно, спокойно ждал своего часа, о побегах и бунтах даже слышать не хотел. В шутку он благодарил «товарища» Сталина за посадку, но был в претензии, что ему дали три, а не пять лет, ибо тогда он подоспел бы прямо к победе.

Четвертым был мой любимец Василий. Политика его абсолютно не интересовала. Он был от природы человеком действия. Ему бы быть солдатом, путешественником, авантюристом, золотоискателем, конквистадором, охот-

ником... Как запорожец, он считал дом и оседлую жизнь местом отдыха и выполнения скучнейших обязанностей. Но в советской системе вольный орел был обречен. Его не только в общей сложности на пятнадцать лет посадили на цепь за решетку, колючую проволоку, на прикол в ссылке, но и всю остальную жизнь он был привязан паспортным режимом к определенному городу, который мог покидать только на время отпуска. Судьба Василия не единична. Такова трагедия всех сильных, энергичных и, главное, предприимчивых россиян за истекшие пятьдесят лет. Ученый и инженер еще могли частично укрываться от тошнотворной действительности, но люди, в груди которых горел огонь личной инициативы, подверглись массовому уничтожению. Оставшиеся чудом в живых были обращены в рабов, привязанных к одному и тому же месту, и необходимая для них деятельность была заменена нудной работой на государство, телевизором и водкой. Чудовищное распространение пьянства в этой деспотии объясняется пребыванием в рабстве мужчин, созданных для свободной деятельности.

Мои размышления были прерваны, так как постановили, что каждый по очереди должен рассказать что-либо смешное и обязательно из своего личного опыта. Пальма первенства на этот раз досталась не нашим менестрелям Льву и Борису, а милым рабочим ребятам. На той же пересылке они сумели подметить ужимки блатарей, которые имели наибольший успех, а теперь изобразили смешные сценки. Пришла моя очередь — от рассказов никого не освобождали. Обобщать не стоит, но часто восприятие жизни у более мыслящих проходило в то время через призму трагизма. Я поведал, как хорошо одетый человек лет пятидесяти, стоявший во главе отдела снабжения Вятлага, бывший начальник крупной тюрьмы, стоял возле своего дома, в сумерках. Он до смерти боялся темноты, и мог так ждать несколько часов, но в помещение не войти. Ледяное молчание было мне ответом. Меня заставили выступить на «бис» и, порывшись в памяти, найти все-таки что-либо смешное. Тогда я вспомнил, как к нашему инженерному бараку, где были только люди с высшим образованием, «культурно-воспитательная часть» (квч) прикрепила воспитателя из ссученных воров, окончившего два класса, и он по вечерам проводил с нами политбеседы. Теперь я уже с полным правом потребовал, чтобы засмеялись. Ведь какой-нибудь но-

вый Рабле заставил бы потешаться весь мир, располагая таким фактом. Хотя — вряд ли. Трагизм и ужас действительности не позволили бы даже великому сатирику вызвать смех, скорей появилась бы саркастическая усмешка, но, несомненно, вся прогнившая система с ее «единственно научным мировоззрением» была бы им пригвождена к позорному столбу.

Все же меня оставили в покое, поскольку успеха рассказы мои не имели, и я снова погрузился в думы о Вятлаге. О двух наиболее ярких зэках той поры мне хочется поведать и западному читателю.

Летом сорок второго в нашей мастерской появился молодой человек лет тридцати пяти, бытовик в чине снабженца, с пропуском, Макс Бородянский. Он был веселым, очень общительным одесситом. Как бытовику, ему следовало бы держаться от нас подальше, но его тянуло к разговорам, к обмену мнениями. А кроме нас, поговорить так, как ему хотелось, было не с кем. По своей должности ему много приходилось разъезжать и встречаться с разными людьми. Из поездок он всегда привозил какое-нибудь наблюдение над чудовищной, а по сути идиотской действительностью. Комментировать свои сообщения ему, бытовику, не полагалось, и это мы уж взяли на себя. Он же голосом, преисполненным ядовитой насмешки, произносил неизменно в конце одну-единственную фразу: «Все нормально!» Интонация при этом была такой, что часто не надо было больше ничего прибавлять к его рассказу, оставалось лишь дружно рассмеяться.

Он был финансовым гением, и я уверен, что на Западе создал бы крупный банк. В сталинской деспотии он проворачивал какие-то головокружительные денежные операции, вполне, как он говорил, законные, и создал себе подпольное состояние. Может быть, его бы и не загребли, если бы он вел себя поскромнее. Но общительный нрав его погубил. Он сорил деньгами, обедал каждый день с семьей в одном из лучших московских ресторанов, где его знали, и метрдотель брал всегда его дочурку на руки, поднося к вазе с фруктами или конфетами. Рестораны кишат сексотами, и первый вопрос был, откуда у него деньги, не шпион ли. Осудили его по бытовой статье, так как в Советском Союзе преследуется любая частная инициатива; в декабре сорок второго сакти-

ровали по болезни, которая к тому времени уже обнаружилась.

Второй зэк был первоклассный инженер-инструментальщик Линдберг, немедленно получивший прозвище «Чарльз» благодаря своему тезке — знаменитому американскому авиатору. Он был немец или швед, член партии, директор крупного военного завода, выпускающего снаряды. О его талантливости можно было судить по тому, как на пустом месте, в тайге, без специальной литературы, он наладил производство всего необходимого нам инструмента. Прочел он тогда и несколько лекций, одна из которых была о процессе затылования фрез на токарном станке, обнаружив выдающиеся знания и великолепную память. Инженерам свободного мира ясно, что такой специалист мог бы занять блестящее положение в солидной фирме или создать крупное дело. В сталинской деспотии он пал жертвой неизбежных склок и попал на восемь лет в лагерь по указу сорокового года «О нарушении качества выпускаемой продукции». Да и то такой маленький срок он получил лишь потому, что благодаря блестящей инженерной интуиции и глубокому знанию дела смог отпарировать возведенную на него напраслину и умело использовать любые промахи экспертизы и свидетелей. Если бы ему было предъявлено обвинение во вредительстве, то он получил бы «вышку» или двадцать лет. Линдберг был нашим товарищем, вел себя с этой стороны безупречно, и тем досаднее, что для меня он остался ярким образцом коллаборациониста. Он приносил ежедневно с немецкой старательностью талант и даже свою личность в жертву режиму в оплату за партийный билет. Весь этот строй, к сожалению, держится на таких людях, у которых в главных жизненных вопросах нет ни гордости, ни человеческого достоинства. В угоду партийным директивам, подгоняемые злобными газетными окриками, они поддерживали любые требования, указы и старательно внедряли их на своих участках.

Вот наконец и Воркута. Нас отправили на громадный лагпункт, тысяч на семь-восемь заключенных, принадлежащий угольной шахте «Капитальная». Нам повезло. Комбинат «Воркутуголь» был индустриальным предприятием с целой серией шахт, механическим заводом (ВМЗ), двумя крупными мастерскими и большим про-

мышленным и гражданским строительством. В таком лагере на большинстве лагпунктов инженеры занимали главенствующее положение. Нам это сразу стало ясно, и вся наша компания находилась в веселом расположении духа, ибо и рабочим хорошо, где хорошо инженерам.

Лучший лагпункт Вятлага был нищей дырой по сравнению с новым местом, как нам показалось по прибытии. Несмотря на карантинное положение в этапном бараке, кормили нас достаточно. Мы сложили вещички на одних нарах и оставили Льва их сторожить. Продукты были только у Бориса, и он обещал вечером приготовить пиршество — отпраздновать наступающий сорок пятый. Вскоре мы вернулись. У Льва был расстроенный вид: его разыграли воры. Они уселись через пару вагонок от него и закурили, а Лев стал на них с жадностью поглядывать. Тогда один из них крикнул: «Эй, старик, докурить хочешь?» Забыв осторожность, Лев кинулся к блатарям, но следовало обождать, пока последний по очереди передаст ему окурок. Воры специально устроились так, что Льву пришлось сесть спиной к нашим вещам, и один из них по-пластунски подполз под нижними щитами, освободил мешок Бориса, а затем таким же способом достиг двери и скрылся за ней. Пьяный от нескольких затяжек*, Лев вернулся к вещам, проверил, все ли в них цело, но воров уж и след простыл. Он был так расстроен, что мы кинулись его утешать.

Вечером пошли по зоне. Приближалась полночь, встретить Новый год было нечем. Зашли в чужой барак, где у вездесущего Ручкина был знакомый, но его не оказалось — ушел на встречу Нового года к друзьям. Тогда мы сели за стол неподалеку от выхода, и Ручкин объяснил дневальному, что будем дожидаться. В бараке все спали. Мы наполнили кружки настоем хвои из бачка, и, когда стрелка часов подошла к двенадцати, Лев провозгласил тост:

— Выпьем, чтобы из объектов истории превратиться в ее субъектов.

---

* Непостижимым для меня остается, каким образом курение сочеталось у него с почти несомненной принадлежностью к йогам.

Глава 13

НА ВОРКУТЕ

Где хуже

Гиблым местом считали лагеря лесоповала, но еще хуже была золотодобывающая Колыма со свирепствующими морозами. В Вятлаге в военные годы лишь два раза было пятьдесят четыре градуса ниже нуля, а на Воркуте за три года однажды минус сорок пять. На Колыме такие морозы были рядовым явлением, и в шестьдесят градусов гоняли на работу. Я, человек северный, смолоду свыкся с холодной зимой, люблю ее, после заключения девять лет был «моржом», но не представляю себе, как можно в лагерной шкуре весь день проработать в таких условиях, да еще при ветре. Это прямое убийство: там на наземных работах все погибали и уцелевших колымчан-работяг мне повидать не удалось. Встречал я позже лишь придурков, служащих санчасти, агентов снабжения и нескольких чудом выживших шахтеров. Вот почему, как старый, видавший виды лагерник, я отношусь с недоверием к тем колымским рассказам Шаламова, в которых не хватает самого главного — деталей, и отсутствуют мысли, отвечающие столь тяжелым переживаниям, будто он описывает лошадей.

Дорожные лагеря занимали первое место по истреблению людей еще в мирное время, уж не говоря о военном. В знаменитых лагерях — Севжелдорлаг, БАм (Байкало-Амурская магистраль), пятьсот третья стройка (Салехард—Обь), гушосдор (строительство шоссейных дорог) и многих других — зэки строили железные дороги, прокладывали шоссе в особенно тяжелых условиях: не имели постоянного местожительства, так как лагпункты передвигались по линии возводимых объектов. Эти лагерники ночевали в нетопленых, очень холодных палатках, особенно когда дорога проходила через безлесные местности. Вши их заедали, но редких бань боялись как огня, так как изо всех дыр времянок дуло и обсушиться было негде. В дни, когда работали под дождем по двенадцать часов, насквозь промокшие лагерники ложились на настланные жерди вместо дощатых нар и на себе сушили одежду. Трудно вообразить падеж, происходивший по причине страшной заболеваемости, в част-

ности дизентерии: воду кипятить было негде. В таких временных лагпунктах было особенно трудно обеспечить охрану: вохровцы, а также надзорсостав подбирались из настоящих зверей, которые ни перед чем не останавливались в своей жестокости, стремясь запугать до смерти несчастных зэков. Частые перебои были с подвозом продуктов, и хлеб нередко выдавали с опозданием в несколько дней. Правильно говорили, что каждая шпала таких дорог покоится на нескольких трупах заключенных.

По замыслу Курбатова, в такой лагерек, да еще в военное время, должен был попасть и наш этап. Нам повезло — дорога была окончена, и мы попали в старый промышленный лагерь, с которого правительство крепко спрашивало план. Вследствие этого инженеры и техники, которые могли, умели и хотели работать, были в относительной цене, а потому ставились в условия, в которых здоровый человек мог существовать и трудиться. Неспециалисты-работяги на шахтах и стройках подвергались беспощадной эксплуатации, «доходили» и отправлялись в Карагандинские лагеря для инвалидов. В конце первого полугодия в такой лагерь был отправлен наш дорогой профессор-историк Лев К.

Карантин наш продолжался всего около недели, после чего нас прогнали через медицинскую комиссию. Невзирая на то что в прошлом лагере я числился инвалидом самой тяжелой группы, мне, как и всем остальным, поставили на формуляре две буквы «тт», означавшие годность к тяжелому физическому труду. Наплевать на это было инженеру, а также нашим мастеровым ребятам, коль скоро комбинат испытывал во всех нас нужду, но положение прибывших с нами украинских хлопцев да пожилых людей, вымученных и истощенных на следствии, незнакомых с заводскими работами и получивших неизменное «тт», было трагично. Лес Вятлага на Воркуте заменяли шахты. Труд был не менее изнурителен, но питание — благодаря американской помощи и значению «Воркутугля» зимой 1945-46 годов — было достаточным. Поэтому крепкий, здоровый человек мог тянуть работу, не превышающую его возможностей. Большинству прибывавших на Воркуту необходимы были отдых и усиленное питание в течение двух-трех месяцев. Разумный хозяин применил бы эти меры. Не исключено, что так же поступил бы, несмотря на самодурство, отличавшийся деловой сметкой начальник комбината генерал Мальцев,

но общая система лагерей делала это невозможным. Удалось только добиться, что начали периодически отправлять огромные этапы доходяг в инвалидные лагеря; на их место принимали все новые и новые пополнения. Поэтому смертность заключенных, с учетом уехавших даже в этот благополучный год, не могла быть ниже среднего процента по всем лагерям, и истребление людей на Воркуте оставалось на общелагерном уровне тех лет.

Вскоре началось распределение по местам работы. Борис попал в «комбинат умельцев», как мы его прозвали, где люди с изобретательской жилкой и золотыми руками чинили перегоревшие электрические лампочки, изготовляли бумагу и карандаши... Там он был сам себе хозяин, жил в «кабинке», сразу завел бабенку и находился в отборном обществе зэков с образованием.

Ручкин «спланировал» в проектный отдел, Лев К. — на кухню, я — в конструкторское бюро механического завода. Мастера своего дела Миша Дьячков и Мишуткин угодили туда же. Салмина поначалу послали на строительство новых корпусов этого завода. Он должен был жить в одном с нами бараке, но ему было немедленно заявлено, чтобы он подобру-поздорову выкатывался и искал себе другое пристанище. Недели через три его увезли в так называемый северный район, где строительных объектов хватало и требовались инженеры. Больше мы о нем ничего не слыхали.

Завод работал в три смены, каждая по восемь часов, что означало с дорогой почти все девять. После этого можно было читать, думать, беседовать. Мы находились в привилегированном положении: питание было достаточным, одежда — по сезону. На том же заводе на возведении новых корпусов трудились неквалифицированные заключенные, на девяносто процентов — женщины. Они работали по двенадцать часов, и частенько их задерживали еще на два-три в случаях, когда бригадир не умел убедить прораба, что сверхзавышенные нормы перевыполнены. Нам их было жалко, но помочь им ничем не могли: это был другой мир, хотя перегородка была достаточно тонка и переместиться в их среду большого труда не составляло.

Творцы уродливой социальной системы начали с обещаний равенства, но быстро превратил ее в царство уродливого неравенства. К нему во всех видах настолько

привыкли, что разница в нашем положении, по сравнению с другими, считалась вполне естественной и не подлежала даже обсуждению.

Месяца через два в конструкторском бюро технического отдела появился профессор артиллерийской академии Н. Береснев. Он был истощен, но, благодаря своей хорошей зимней одежде, не обморожен, хотя проделал путь в тяжелых условиях телячьего вагона. Мы с ним сидели рядом за чертежными досками, быстро подружились. С очередным этапом прибыл обрусевший голландец Генрих Ван Вибе. Степень его истощения была значительной, и, походив несколько дней в наше бюро, он слег в лагерную больничку. Подкормившись, он стал работать по своей специальности инженера-литейщика и готовил к пуску цех. Вскоре мы стали неразлучны, и первый год, пока нам еще не выдали пропуска на бесконвойное хождение, мы чудесно втроем коротали вечера долгой заполярной ночи. Петрович, как мы звали нашего профессора, был изумительным рассказчиком, не уступавшим ни Льву, ни Борису. С огромным удовольствием мы слушали его повествования из прошлого о родных и знакомых. Торговые операции с моим табаком, который я еще несколько раз получал, взял на себя Генрих: в довершение всех благ у нас троих образовалось еще и даровое курево. Мы блаженствовали.

«Мещанин и пошляк»

Петрович родом был из Вятки, главного города нынешней Кировской области, где в тридцатые годы был организован Вятлаг. До 1917 года жили скромно, в уюте и достатке. Отец служил в пароходстве и под конец жизни стал там небольшим совладельцем. Мать вела хозяйство, два брата и сестра учились в гимназиях. По воскресеньям пеклись пироги, неуклонно всей семьей посещали всенощную и воскресную обедню, мальчики в соборе пели на клиросе, на подоконниках цвела герань. Тихо и мирно протекала жизнь этой трудолюбивой семьи. Как могли и умели, помогали обществу: отец подписывался на военные займы, делали пожертвования в пользу раненых, шили для солдат теплую одежду. Свержение царя было воспринято главой семьи как конец России. Вскоре после октябрьского переворота в городок прибыл маленький отряд человек в пятнадцать матросов. Они вы-

гнали из городской управы представителей местного выборного самоуправления и начали заводить большевистские «порядки». В городе стояли два запасных полка старой русской армии, но никто из них пальцем не пошевелил. Сопротивление оказал только союз охотников: старики с гладкоствольными ружьями, большинство из которых были участниками Балканской войны 1877 года, и, по старой привычке, пулям не кланялись, пошли штурмом на городскую управу, откуда их встретили пулеметным огнем и уложили почти всех. Уцелевших добили в Чека. Полновластными хозяевами над жизнью и смертью граждан стали отбросы общества. Начались обыски, реквизиции, аресты, расстрелы заложников, трудовые и прочие повинности, доносы, натравливание людей друг на друга... измывательство и невиданное унижение. Впрочем, Петрович очень редко говорил о конце идиллии, а больше вспоминал обо всем хорошем в простых русских семьях до 1917 года. Досадно было, что он величал их мещанами, и мы с Генрихом предлагали замену: редко употребимое слово «посадские», равноценное, в нашем понимании, «бюргерам». Петрович, видимо, чтобы нас подзадорить, слегка надувая щеки, заявлял: «Я — мещанин *, пошляк, и горжусь этим». В этой очередной шутке Петровича, над которой мы смеялись, было неизмеримо больше смысла и пользы для рядового человека, чем в любом так называемом революционном учении, где за химеры будущего счастья приходилось платить миллионами жизней и в результате иметь аркан на шее. Влюбленный в свои «детали машин» (до ареста он преподавал этот предмет в своей академии), Петрович, к сожалению, не удосужился изложить и развить наблюдения юности даже в своем дневнике, который тщательно вел, и ограничился лишь несколькими тезисами, вытекающими из его любви к простому уюту.

— Царствование миротворца Александра Третьего было лучшим. Он с нежностью называл его царем-мещанином.

— Счастье простых людей условно начинается с появления красной герани в их жилищах, что свидетельствует о начале материального благополучия. В таких элементарных ячейках уже заложена основа для жизни,

---

* Слово имеет два значения: 1) лицо городского сословия, 2) человек с мелкими интересами и узким кругозором.

достойной европейских граждан, и для должного формирования юных душ. Последняя истина, давным-давно известная и успевшая надоесть Западу, была для нас откровением.

Разговоры и споры о мещанах — посадских людях — принесли мне пользу, дали толчок к разделению населения на слои, определяющие современный мир, и способствовали выяснению виновников катастрофы, постигшей Россию. К посадским, иначе говоря — рядовым труженикам, я отношу тех, кто:

— имеет специальность, профессию, знает свое ремесло, владеет мастерством и выполняет ради денег необходимые для существования общества работы;

— несет исторически обусловленные повинности, такие как служба в армии, налоги, подати...;

— получил, в лучшем случае, среднее образование и вынужден, за отсутствием знаний и свободного времени, многое воспринимать на веру.

К рядовым труженикам относятся рабочие, крестьяне, ремесленники, владельцы и служащие мелких предприятий любого типа, военные, полицейские... В эту категорию входят также люди со специальным высшим образованием — инженеры, врачи, фармацевты, учителя..., администраторы, предприниматели, которые часто не обладают широким кругозором и также оказываются пострадавшими от лживой информации.

Великие бедствия этой основной части населения, которую хотелось бы назвать «сословием цивилизации», могут проистекать от распыленности, трудности установления прочных связей, недостаточного интереса к политическим событиям... У малоразвитого населения к этому добавляется еще темнота, невежество, наивная доверчивость, легкая возбудимость низменных инстинктов...

Слова Петровича об его уважении и любви к мещанам звучат теперь для меня как желание видеть рядовых тружеников:

— обладателями отдельного жилья для своей семьи;

— имеющими заработок, достаточный для прожиточного минимума;

— достойно пользующимися принадлежащими им гражданскими свободами;

— умеющими постоять за себя и свое сословие в случае надвигающейся опасности;

— воспитывающими своих детей в вере;

— располагающими необходимой правдивой информацией в доступной для них форме.

По «сословию цивилизации» можно судить о состоянии общества. Если бо́льшая часть его удовлетворяет этим требованиям, то честь и хвала такому государству, так как это означает, что остальные сословия хорошо и слаженно выполняют свой долг, а вредоносная шайка нейтрализована и опасности не представляет.

Подлинный прогресс и расцвет создается небольшим числом интеллектуалов, образующих «сословие культуры». Это — подлинные ученые и философы, крупные, ведущие специалисты, настоящие писатели, художники, композиторы. Они принадлежат к уважаемым гражданам, выполняющим свои обязанности перед обществом, и отличаются высокой образованностью, большой умственной одаренностью, способностью делать открытия; они прекрасно владеют своей специальностью, являются выразителями наиболее сильных и верных идей своего времени, не противоречащих вечным истинам. Их не следует путать с интеллигентами *.

Но нормальная деятельность сословий культуры и цивилизации невозможна без руководства государственных властей и Церкви. В безбожных деспотиях двадцатого века Церковь подвергается гонениям и уничтожению. Ее место занимает антицерковь — партия, чекисты, эсэсовцы... а государство превращается в слугу и исполнителя ее приказов.

Подпольный миллионер

Зиму на Воркуте мы все трое работали рядовыми конструкторами, в барак возвращались в полпятого, час уходил у нас на неторопливый обед, и затем весь вечер был в нашем распоряжении. Петрович пел соловьем, а мы с благодарностью его слушали, отдыхали, набирались сил, иногда спорили.

Большинство повестей Петровича были яркими картинами быта русского губернского города, прекрасного, как мечта, хотя многие вечно недовольные интеллигенты его ругали и не ценили. Для меня все истории Петровича слились в одну картину здоровой, радостной, трудовой жизни народа, который почувствовал свои гигантские

* Об интеллектуалах и интеллигентах см. в книгах Д. Панина «Мир-маятник» («Письмо Глебу Струве») и «Созидатели и разрушители» («Российские интеллигенты»). — Прим. ред.

силы и значение. Дальше начиналась пропасть, но о ней мы избегали в ту зиму говорить.

Однажды Петрович рассказал во всех подробностях, как это только он умел делать, о подпольном миллионере, с которым он довольно долго сидел в этапной камере. Речь шла о человеке незаурядного ума и, скорей всего, ненавидевшего, как и мы, режим. В ту пору было ему лет сорок. В одну из чисток двадцатых годов его выкинули из Плехановского института народного хозяйства, кажется, со второго курса. Он сообразил, что игра не стоит свеч, сам тоже решил поставить крест на советском учении, так как дикие количества политграмоты, дурацкой «общественной» работы и ежедневных собраний стояли у него поперек горла. Начавшиеся в 1928 году процессы над ни в чем не повинными инженерами, три года продолжавшаяся борьба с вредительством и так называемое «спецеедство» утвердили его в правильности принятого им решения. К тому времени нищенская оплата труда сравняла бухгалтера, преподавателя, высококвалифицированного рабочего, инженера, врача. Но диплом таил в себе опасность преследований, зоркого наблюдения со стороны органов подавления и огромную ответственность, за которую большое число специалистов поплатилось головой. Взвесив все это хладнокровно, герой рассказа Петровича решил, что сумеет добыть гораздо больше денег, используя бесхозяйственность и путаные формы учета. Правда, для этого надо было все изучить до тонкостей, и он нанимается счетоводом, а затем младшим бухгалтером в учреждение, — уж он нюхом его почуял, — где производилось изъятие части народных средств, захваченных в государственные лапы. Кажется, это было одно из отделений Центросоюза по торговле молочными продуктами. Он тщательно во все вникает, уясняет себе механизм производимых махинаций, но сам ни в чем участия не принимает. Наконец, в этом заведении, как это обычно бывало, из-за внутренней склоки или по доносу одного из своих, произвели аресты, начались следствие и суд. Дело не политическое, бытовое, поэтому он мог ознакомиться с материалами дознания и постичь во всех тонкостях судебное разбирательство. Обогащенный приобретенным опытом, он нанимается в учреждение, ведающее мясом. Его линия поведения не меняется. Когда там устроили громкое судебное дело, на этот раз с привкусом вредительства, его уже привлека-

ют в качестве эксперта. Сидел он все время на своей жалкой зарплате, но так как с 1929 по 1934 годы в городах были введены карточки на продукты и особые талоны — ордера на промышленные товары, — то денег хватало, чтобы выкупить свой минимальный паек. По окончании второго судебного процесса он решает, что с учением покончено и пора приступить к личному обогащению. Времени он не терял даром также по части приобретения полезных знакомств и присмотрел заранее будущее место. Там он окружил себя достаточно проверенными и надежными людьми и в течение почти десяти лет проводил, быть может, даже гениальные комбинации. Герой Петровича сумел выкачать у государства в свою пользу несколько миллионов, подручные его тоже обогатились. Он учел все ошибки своих предшественников, ни разу не был в ресторане, скромно одевался, о машине даже не помышлял, приобретенную небольшую отдельную квартиру обставил в стиле стандартной бедности и убожества.

Через подставных лиц и родственников он приобрел более десятка дач, квартир, накупил антикварную мебель, а главные денежные суммы вложил в драгоценности и валюту. Радостям жизни он предавался на одной из своих дач, покупая у государственных врачей освобождение от работы на требуемое число дней. Во время войны он купил себе и близким «брони», освобождающие от военной службы. К аресту в 1944 году он был вполне подготовлен, заранее обсудил все необходимое с умнейшим адвокатом, приготовил деньги для подкупа следователя, прокурора и других служебных лиц. Следствие и суд прошли как по маслу. Каждую неделю он вне очереди получал богатейшую передачу, составленную из американских продуктов, надзиратели варили ему какао... По закону дали ему десять лет с конфискацией лично принадлежащего имущества, состоявшего из пары поношенных костюмов и одной трети жалкой мебели из его официальной квартиры. Все его богатство осталось, естественно, вне досягаемости властей. Адвокат и судебные чиновники, благодарные ему за отличный заработок и в расчете на новый, обдумывали способы скорейшего его вызволения из заключения. Вначале решили организовать побег, во время которого ему ровно ничего не угрожало, но, прослышав о готовящейся послевоенной амнистии, остановились на этом варианте. Мил-

лионер был доволен собой, весел и с удовольствием произносил нравоучительные речи. Обсуждая возможную амнистию, он со скрытой усмешкой заранее оправдывал действия правительства. Разглагольствования его сводились к следующему.

— Возьмем вас, профессор, — обращался он к Петровичу. — Вы потеряли все: положение, имущество, одежду. На вас и ваших лежит клеймо «враг народа». У вас нет даже квартиры, коль скоро вас забрали в эвакуации, в Самарканде, а ваша московская занята уже другими. Безусловно, вы обижены, особенно если учесть, что явных преступлений не совершали, значит, в глубине души озлоблены и представляете для советского общества скрытую опасность. Вождь народов товарищ Сталин это учитывает и вряд ли распространит на политических заключенных свою амнистию. Иное дело со мной — человек я обеспеченный, обид на советскую власть не имею. Выпустив меня на волю, она получит надежного члена общества, далекого от крамольных мыслей и полностью поддерживающего действия партии и правительства. Закуривайте, профессор, отведайте копченой рыбки, она недурненька...

Петрович говорил, что при этом в его усмешке и выражении глаз сквозил следующий скрытый смысл: «Дурачье вы, дурачье, хоть и воображаете себя умниками! Исходите в болтовне, а на дело неспособны. Поучитесь лучше у меня: я их ограбил на десяток миллионов и вышел сухим из воды. Не меньше вас я ненавижу эту власть, но огрел ее делом, а не словом. Я боролся народными методами, а вы неспособны изменить свою интеллигентскую природу. Ну, и подыхайте теперь, никто о вас особенно не пожалеет».

Глава 14

НА ВОРКУТЕ

(Продолжение)

Жонглеры

Известную средневековую легенду «Жонглер Богоматери» я впервые услышал от одного молодого парня, работавшего как перемещенное лицо в войну в Германии и осужденного за сотрудничество с немцами. В стародав-

ние времена где-то на юге Италии у бродячего жонглера или клоуна случилось несчастье, кажется, с сыном. Положение было безнадежным. Он обратил жаркую молитву, убогую словами, но сильную чувством и верой, к Мадонне. Свершилось чудо, снизошла помощь — мальчик выздоровел. Благодарный отец зашел в первую придорожную часовенку. Он был наедине с Богом и застыл перед образом Мадонны. Жалкая безграмотная молитва его не удовлетворила, и тогда, стоя на коленях, он начал подбрасывать палочки, так как ничего лучшего в жизни делать не умел. Божья Матерь закивала в такт головой и заулыбалась...

Мне вспомнился жонглер, когда весной Петрович, оправившись от тяжелых переживаний, с энтузиазмом описывал нам по вечерам начатую еще в эвакуации работу о пространственных кулачковых механизмах. Если бы она не имела отношения к военному ведомству, следовало бы радоваться, что человек нашел в себе силы продолжить научный поиск, и я, вероятно, так бы и поступил, но в данном случае я решил поделиться своим опытом.

— Петрович, перед кем вы бросаете палочки? Вы — профессор по деталям машин, а я стал теперь профессором по жизни в условиях заключения. Послушайтесь меня. Ваши надежды тщетны. Вашу работу, в лучшем случае, потеряют, а в худшем — кто-нибудь напечатает под своим именем. Досрочного освобождения или сокращения срока вам это не принесет. Кроме унижения, вы ничего не получите. Вы — представитель мещан, а у них есть плохая черта — не хватает чувства собственного достоинства... Поучитесь на моих ошибках, вспомните мою работу над сухопутными минами. Согласитесь с моим выводом: не надо делать никаких работ, служащих военным целям или непосредственно укрепляющих эту систему. Когда мы с вами на заводе занимаемся ремонтом шахтного оборудования, то можем еще себя утешать, что восстанавливаем машины общегражданского назначения. Но ваши пространственные кулачки идут на прицельные механизмы и прочие смертоубийственные узлы артиллерийских систем. Вам это известно лучше, чем мне. Опомнитесь и остановитесь! Вы бросаете палочки перед дьявольской харей с рогами.

Петрович принадлежал к породе чрезмерно старательных и педантичных работников, которые в лагерях вызывали смех, нарекания, ненависть. Общность судьбы

превращала заключенных в один большой клан, и деятельность «органов» заключалась в разрушении его единства. В таких трудных условиях в семье полагалось вести себя не в ущерб остальным ее членам. Мне часто приходилось одергивать Петровича, когда его назначили начальником технического отдела завода, и напоминать об обстановке, в которой мы все находились. Увы, безбожная среда сумела во многих из нас воспитать стремление заботиться только о себе и наплевательски относиться к остальным. Большинство инженеров с изобретательской жилкой, прошло через этот соблазн. Возникновение тюремных закрытых конструкторских бюро — следствие оформления таких желаний, а отнюдь не реализация дальновидного замысла чекистов. В Вятлаге я отличился с хвостовиками мин; в сорок первом Жоржу удалось сковырнуть руководство мехмастерской, состоящее из стукачей, не только одними производственными обещаниями, а военным изобретением, описанным с помощью Юрия и поданным через «опера». Нам казалось, что это — мыльный пузырь, благодаря которому мы смогли закрепиться в мастерской, но не исключено, что какая-то дельная мысль этих талантливых ребят в дальнейшем была использована одним из специальных конструкторских бюро. Изобретение Жоржа можно было все-таки рассматривать как проделку Жиль Блаза, но не так было с инженером Махотиным. В 1941 году он прибыл с нашим московским этапом и был отправлен вместе с другими инженерами Путиловского завода на лесоповал. Все его коллеги погибли к сорок второму или доживали последние дни в бараках-могильниках на отдаленных лагпунктах. Жоржу удалось узнать, что Махотин по приезде напирал на свою партийность, на огромные заслуги и колоссальные идеи, которые он предлагал реализовать, почти не вылезая из кабинета опера. В начале сорок второго он снова появился у нас на лагпункте в добротном коричневом драповом пальто, остроконечной зимней шапке и по нескольку раз в день ходил с огромным котелком на кухню. Работа его была сверхсекретна, и он проводил ее в кабинете своего начальника, как того и хотел. К тому же нам стало известно, что два путиловца попали в изолятор, причем он сыграл при этом сомнительную роль. Мы все его сторонились. У нас сложилось твердое мнение, что он украл свое изобретение у одного исключительно талантливого и одаренного инженера. Месяца

через два Махотина по спецнаряду отвезли из лагеря, вероятно, в какое-то закрытое конструкторское бюро для реализации предложенного им орудия.

Так, подобные махотины строили свое жалкое благополучие, покупая свою жизнь ценой вооружения сталинской деспотии.

Проба сил

Петрович многому нас научил. Сам того не желая, он быстро выдвинулся по работе и стал общим консультантом. Я с его помощью разобрался лучше в коррегировании зубчатых колес, а также смог решать обратные задачи: устанавливать по зубьям сломанной шестеренки технологические показатели, заложенные при ее изготовлении. Для меня это было полезно, интересно, отвечало моей неизменной любви к инженерному делу, хотя на всех этих мелочах я не мог проверить свои силы.

Конструкторское бюро было расположено в помещении кузнечного цеха. Невольно много раз в день приходилось проходить около молотов и приглядываться к их работе. Больше всего меня поражало разнообразие производимых поковок. На токарном и других металлорежущих станках время обработки детали определяется в основном так называемым машинным временем, которое исчисляют по необходимым оборотам шпинделя, величине подачи, глубине резания и другим факторам. Короче говоря, минимальное время обработки может быть заранее вычислено по наилучшим технологическим показателям, давно уже изученным и приведенным в систему. Иначе определяется время свободной ковки. Область эта еще мало разработана, хотя кузнечное дело знакомо людям со времен глубокой древности. В справочниках указано время отдельных операций, таких, например, как вытяжка, осаживание, рубка... и из этих компонентов технолог должен был составлять время ковки изделия. Такая задача по плечу лишь первоклассным инженерам, да и то для производства массового или крупносерийного характера. Для предприятий, где преобладали индивидуальные заказы, способ неприемлем, ввиду трудоемкости и ненадежности.

Я подолгу смотрел на изменение размеров заготовки под ударами молота, и у меня родилась мысль: решить эту задачу по величине работы, затраченной на дефор-

мацию и по мощности процессов ковки за время отдельных операций или изготовления всего изделия. Работу деформации нетрудно было вычислить по размерам заготовки и получаемой из нее поковки, мощности могли быть определены заранее по точным наблюдениям.

Петрович, а также остальные инженеры считали, исходя из громадного разнообразия поковок, что его единым методом не охватить, поэтому не оценили возможности такой идеи и предсказывали мне неминуемый провал. Они говорили, что надо три жизни, чтобы в полном объеме решить подобную задачу. Мне хотелось попробовать на этом свои силы и понять, насколько мой ум приспособлен для исполнения главной миссии — избавления людей от нависшей над ними угрозы. Мне казалось, что в случае положительного результата я смогу дать конструктивные решения и в другой области. Вопреки уговорам друзей, я перешел технологом в кузнечный цех и стал ответственным за вопросы нормирования. Сразу же я добился образования группы из двух хронометражистов, а через полгода увеличил ее до пяти человек. Все вместе мы составили справочник новых технически обоснованных норм. Производство не могло ждать моих теоретических разработок, и пока что приходилось многое предугадывать, но голова работала неплохо, несмотря на недостаточно качественную пищу. Основная работа шла параллельно. За этот первый, наиболее трудный для меня период я допустил около пяти крупных ошибок, тогда как до моего метода они совершались сплошь да рядом. Это доказывало, что основная идея была плодотворной. Работа была чисто инженерной и не представляла военного интереса. Управлению лагеря она понравилась, ввиду того, что сулила навести порядок на крайне запущенном участке нормирования, и меня зачислили в технический отдел комбината «Воркутуголь» с вытекающими для зэка последствиями: пропуском на бесконвойное хождение за зоной в радиусе тридцати километров и сносным питанием.

День начинался для меня в четыре утра, когда дневальный будил по моей просьбе, и до семи я работал в бараке над своими соображениями. С восьми утра до пяти вечера, имея в своем распоряжении час на обед, я был на заводе. В начале шестого я ложился не раздеваясь, накрывшись с головой, чтобы не слышать шум и разговоры вернувшихся с работы друзей, и спал до

семи-половины восьмого. После ужина, с половины девятого и до двенадцати ночи, я штудировал нужные книги. Так я создал себе два утра и способствовал сублимации энергии. Более двух лет я упорно трудился по этому расписанию. В целом поставленная мною задача оказалась необычайно сложной. Решил я ее тогда на девять десятых и постоянно додумывал оставшуюся часть, возвращаясь к ней почти ежегодно в течение последующих двенадцати лет, но лишь в 1959 году в Москве я сумел опубликовать краткое изложение этой работы[11]. На основании моих выводов кузнечное дело из сборника отдельных рецептов превращалось в стройную систему, где фактор времени определял ковку, число подогревов, их длительность и связывал другие показатели процесса воедино.

На основе разработанного метода и выведенных уравнений знатоки кузнечного дела могут переработать описание свободной ковки под молотами, так как добытые и проверенные на деле решения просятся быть поставленными на службу технологическим процессам. На тему своей воркутской работы уже на воле я мог бы, безусловно, защитить диссертацию. Но времени на сдачу всяких экзаменов не было, да и не хотелось становиться более заметным. Решающим было то, что уже через год после начала работы мне стало ясно, что свой вклад в дело общей борьбы я обязан сделать в сфере идей, плодотворных решений, и последующие годы все мои помыслы были заполнены размышлениями о помощи рядовым труженикам.

Темнейший князь

С конца 1946 года питание снова ухудшилось: американские продукты кончились, во многих областях страны был очередной голод. Некоторые получали посылки: кто умел — комбинировал; заводские работяги мастерили мундштуки, портсигары, зажигалки; пропускники, имевшие к тому склонность, подторговывали. Я обходился казенным пайком. Одним словом, все заводские сводили концы с концами и находились в дееспособном состоянии. Многие из нас руководили важными участками работ. Начальником литейного цеха был назначен Генрих, главным механиком завода — старый воркутянин Костя Митин, новым оборудованием ведал Ди-

ма Щапов, во главе других цехов также стояли заключенные. Оборудование тогда было сплошь американским, в глазах рябило от названий фирм станков, и несколько знатоков английского языка пристроились на переводах документации. Завод выполнял большие ответственные задания. Под началом Кости несколько инженеров осуществляли сборку железнодорожного моста через реку Воркутку, другие комплектовали оборудование цементного завода и готовили его монтаж. При таком положении начальник лагпункта был в большой зависимости от начальника завода и часто выполнял его требования. Так, была выделена отдельная комната в небольшом бараке для наиболее ответственных зэков, где каждый получил койку с постельными принадлежностями, и наша тройка попала в число двенадцати счастливцев. Уютные вечерние беседы теперь кончились; получив пропуска, Петрович и Генрих пропадали на заводе. Но раз в неделю раздавался клич: «Даешь по тридцаточке!» *, и это означало, что на собранные деньги вечером достанут спирт. Учитывая наше особое положение, надзор смотрел сквозь пальцы на «гуляние маршалов», как они его называли, и проходил мимо барака. Выпивали еще на заводе, а гулять шли в зону. Людям требовалась разрядка, хотелось посмеяться, пошутить, и хотя никакого повода не было, немного спирта и много изобретательности разрешали подурачиться. Коронным номером были конные турниры: зэки полегче забирались на плечи более крупных и, размахивая подушками, старались сшибить соперника с его «коня». По правилам требовалось, чтобы «конь» не придерживал руками седока. Хохотали до упаду, хмель быстро улетучивался, и участники турнира засыпали богатырским сном.

Во время наших прежних бесед мы в своей узкой компании обсуждали вопрос о приверженности людей к титулам и званиям. Я склонялся к мнению, что стремление к так называемому равенству — проявление зависти. Если средний революционер получит титул и деньги, он останется доволен, и революция для него пойдет побоку. Не в счет, конечно, фанатики и теоретики, но их ведь мало. Петрович кипятился и доказывал, что мещанину никакие титулы не требуются, так как ему нужен

* На сталинскую «тридцаточку» можно было купить полкило сахара.

домашний уют, а на все сверх этого ему наплевать... Красноречие Петровича победило, и в то время с ним согласились. В благоприятной обстановке, без стукачей, мы провели эксперимент на двенадцати зэках, вполне советских, из которых четверо ранее были в партии. Все они происходили из крестьян, рабочих или мещан. В одну из «тридцаточек» Петрович предложил присвоить каждому тот титул, какой ему нравится. Костя, самый шумный и напористый из всех, потребовал себе «светлейшего князя», Валера на меньшее тоже не соглашался, мне и Петровичу дали графа, Генриху — барона... Как я предполагал, игра всем страшно понравилась; много шутили, смеялись, и ее не прекратили, а продолжили в следующие дни. Моя жизнь стала легкой и прекрасной. Раньше приходилось тратить уйму времени и ходить по инстанциям, чтобы добиться крайне необходимого инструмента для моих ребят, проводивших в кузнице хронометраж, или вырвать оптический пирометр, добыть секундомер взамен выбывшего из строя... Теперь все изменилось. Я приходил, скажем, в отдел Валеры и вполголоса говорил парню, посвященному в нашу игру: «Доложи князю, что граф Панин испрашивает у него краткую аудиенцию». Через несколько минут дверь в кабинет торжественно приоткрывалась и мне сообщали: «Вас просят». Приближаясь к столу, за которым заседал Валера, я бросал: «Ваше сиятельство!» Он растягивал до ушей и без того очень большой от природы рот, зеленоватые глаза его на рябеньком лице маслились от восторга.

— Садитесь, граф. Я вас слушаю.

— Бесценный князь, простите мне мое вторжение. Вы заняты решением проблем огромной важности, а я с такой ничтожной просьбой, что даже неловко занимать ваше время.

— Ну, что вы, граф, я всегда рад вас видеть,— говорил Валера искренне, хотя раньше мы в достаточной мере не жаловали друг друга.— В чем дело?

Я снова пару раз нажимал на его титул, пускаясь на самую грубую лесть, по принципу чем больше, тем лучше, и излагал свою просьбу, которая немедленно разрешалась благоприятно.

У любящего поговорить Петровича, мещанина и пошляка, по его собственному определению, была слабость: длинный язык и желание посплетничать. Раза два

его предупредили, а на третий, невзирая на профессорство, обещали побить. Первые два случая я улаживал в гражданской обстановке, до введения титулов, и процедура была крайне тяжелой и неприятной. В третий раз из-за гораздо более грубого нарушения я отправился к светлейшему князю Косте. Правда, за лагерные повадки, любовь к блатным выходкам и умение темнить к нему вскоре прилипло, и кажется навсегда, прозвище «темнейший». Но в ту пору он еще ходил в светлейших, и я со своей неприятной миссией направился в его служебную резиденцию, захватив для представительства Генриха. На этот раз, как секунданты, мы были сухи. «Как изволили почивать, Ваша светлость?» — перебарщивает Генрих. «Барон, — одергиваю я его. — Вам следовало бы помолчать. Вы значительно моложе и ниже по геральдике. Когда Их светлость соблаговолит, Они сами вас спросят». «Светлейший» доволен. Разговаривая с ним, я посильно перевожу его лагерную угрозу «избить» на язык дуэльного кодекса, при этом настаиваю на мировой между двумя столь значительными титулованными особами. Чувства удалось на этот раз загасить быстро и безболезненно. Взаимное величание могло продолжаться долго, но нас решили переселить в новое общежитие, рассчитанное на двадцать четыре человека. Дело в том, что при данном составе совершенно невозможно было кого-то выдернуть и поселить на его место стукача: среди нас ни одного не было, и его сразу бы выявили. Поэтому начальство решило оборудовать новое помещение: фирма перед расходами не останавливалась. При переезде было решено с игрой покончить.

Рассказывают, что на Руси у бояр были шуты, шпыни, балагуры... Наверное, так, потому что сами видели шутов на лагпунктах. В одном из соседних бараков, где проживал нарядчик, при нем в этом амплуа состоял свихнувшийся троцкист тридцать седьмого года Рувим. Хриплым голосом он пел, верней, выкрикивал фашистский гимн «Хорст Вессель», при этом у него как-то дергались и выпучивались глаза. За это его содержали при особе нарядчика. Видимо, дело не в деньгах, а во власти над человеком.

Рувим свихнулся во время одного из расстрелов на Воркуте. Их постоянно производили в старых, заброшенных каменоломнях за городом по мере оформления лагерных дел, выпекаемых оперативно-чекистским отде-

лом. В конце войны карательная команда была укомплектована какими-то белобрысыми, низкорослыми, совсем юными и слабосильными птенцами. Побывавшие под следствием и получившие новые сроки зэки, вернувшись на лагпункты, рассказывали, как эти парни, сами чуть не плача, наваливались все вместе на одного здоровенного бандита, с трудом его вязали и увозили. Ходили слухи, что это были дети чекистов, которым родители сумели заменить фронт безопасной работой палача... Устроили им «производственную практику»...

Кроме этих будничных «экзекуций», на Воркуте прогремели два массовых расстрела. Первый остался в памяти очевидцев как «комиссия Григоровича». В 1938 году вспыхнула знаменитая забастовка троцкистов. На нескольких десятках лагпунктов, разбросанных на огромной территории, никто не вышел на работу. Реакция была стремительной. Расправой вершил приехавший со сворой чекистов Григорович. Троцкистов свозили на лагпункт кирпичного завода и там ежедневно расстреливали. Уцелели немногие — зеленая молодежь, в том числе и Рувим, и несколько особо отличившихся стукачей, которых впоследствии все сторонились как зачумленных.

Кашкетинский расстрел последовал в ответ на восстание в Усть-Усе в конце сорок второго. Свидетелей этих событий остались тоже считанные единицы по причине ужасного падежа заключенных в военные годы. Один из уцелевших рассказывал, что Кашкетин делал упор на бандитов и всех, кто мог еще быть опасным в плане активных действий. Блатари здорово струхнули, начали выходить на работу, «вкалывать» с максимальным старанием, на какое были способны, и продолжали свою линию до отъезда московских чекистов. Кашкетин начинал с обхода выстроенных вдоль линейки заключенных, зорко вглядывался в очередную жертву и приказывал: «Выйти из колонны!» Это означало расстрел. У блатаря, которого отличить было нетрудно, он спрашивал:

— Фамилия?

— Иванов.

— Дальше!

— Семенюк.

— Дальше!

— «Разувай корыто».

— Дальше!

Блатарь молчал, и Кашкетин заканчивал:

— Выйти из колонны!

Жестокая действительность все время давала о себе знать. Мы веселились в фешенебельном общежитии «маршалов», а рядом на шахтах, под землей, особенно на лагпунктах, где верховодили блатные, творилось такое, что волосы вставали дыбом даже у нас, на все насмотревшихся и ко всему привыкших. Пахан шайки блатарей узнал, что его «маруха снюхалась с фраером». Суд блатных приговорил женщину: ее раздели, отрезали груди, чудовищно изуродовали и выбросили из барака. В комендатуре она не выдала своих мучителей, так как хотела умереть блатнячкой.

Однажды блатные привезли в зону спирт, напились, стали буянить, ворвались в кухню, сожрали лучшие продукты, забрались на плиту и оправились в котлы.

На шахтах, где верх взяли блатари, особенно плохо приходилось прибалтам, которым тогда дали прозвище «лямпочки»*. Они выполняли самые опасные и тяжелые работы, а блатари на «блатных» должностях надсмотрщиков их обирали и избивали.

Кому-то из нас в нашем сверхпривилегированном общежитии прислали книгу о Древнем Египте. Невольно напрашивалась аналогия при ее чтении. Возводившие пирамиды рабы были счастливцами по сравнению с рабами сталинской деспотии, на которых держались все стройки. Их кормили вполне достаточно, в перечисленный паек входил даже зубчик чеснока; морозов в пустыне не было. Раб стоил денег, поэтому о нем заботились, его не рассматривали как врага, которого надо поскорее уничтожить...

На одной шахте лесные партизаны — бандеровцы и литовцы — образовали прочное объединение, совершили переворот, лишив блатных всех их преимуществ, и стали хозяевами положения, взяв кормление людей в свои руки. Все сразу стало на свои места, и жизнь сделалась терпимой.

На нашем лагпункте начальником планового отдела был красавец-мужчина с темно-синими глазами. Звезд он с неба не хватал, но, придерживаясь простых и ясных

* Шахтеру при спуске в шахту выдавалась лампочка, и многие прибалты произносили это слово смягченно. Отсюда прозвище, данное им блатарями.

христианских принципов, умело прилагал их к условиям лагпункта. Сильной его воле подчинились не только придурки; он имел благодаря ей большое влияние на вольнонаемное начальство. Он требовал, чтобы официальные раскладки питания выполнялись с максимальной точностью. С этой целью добился, чтобы ценные продукты как можно меньше кидали в котлы, а выдавали по весу каждому заключенному в чистом виде, и тем самым в большой мере ограничил вакханалию воровства. Он делал свое дело тихо, скромно, без похвальбы, и мы обо всем узнали только потому, что около года он был соседом Петровича по вагонке.

Много раз мы убеждались в том, что стоит людям доброй воли объединиться, понять свой долг, свою силу, — и зло отступает, подчиняется, на какое-то время перестает вредить даже в самой своей цитадели, при всем своем количественном перевесе. Достаточно людям доброй воли * разных стран объединиться на разумной действенной основе — и их враги понесут сокрушительное поражение.

На крыльях любви

Несколько жен декабристов поехали в сибирские остроги, где отбывали наказание их мужья, в крытых возках под защитой верных слуг, титулов, денег. Восхищение общества и симпатии местных властей облегчали их невзгоды.

В сталинской деспотии женам осужденных по пятьдесят восьмой свидания категорически были запрещены. Крайне редкие исключения были связаны с опасностями и тяжелыми последствиями. Я и зэк Булгаков за составление справочника технических норм получили от управления лагеря через министерство внутренних дел разрешения на свидания с женами. В той мере, в какой это зависело от меня, а не от внешних обстоятельств, я не хотел сам способствовать развалу души моей избранницы и выслал вызов. Коль скоро она сама ко мне стремилась, мне не хотелось ее отталкивать. Тогда она меня еще любила, мрачные стороны жизни как-то ее обходили, в современном мире она плохо и наивно разбиралась. Я никогда не делился с ней своими мыслями. Мне казалось, что должно соблюдаться резкое разделение между

* Принципы людей доброй воли изложены в книге Д. Панина «Мир-маятник». *(Прим. ред.)*.

мужчиной и женщиной: первый должен решать суровые задачи жизни, для второй — очаг, дети, искусство, религия. На склоне лет я вижу, что был прав, — так должно быть для женщин, созданных для материнства и семьи.

На Воркуте находилось много обрусевших немцев. Среди них были прекрасные люди, которым пришлось перемучиться немногим меньше нашего. В первый год войны всех работоспособных немцев, решительно ни в чем не виновных, посадили в лагеря, обозвав при этом трудармейцами. В одинаковых с нами условиях они работали на соседних лесоповальных лагпунктах Вятлага. Женщин с детьми отправили прямо в ссылку. К описываемому времени от немцев осталось меньше половины, мужчины зрелого и пожилого возраста почти все погибли.

Одна деталь была почти по-свифтовски гротескна: у немцев не отняли их партийные и профсоюзные книжицы, и живые скелеты за колючей проволокой обязаны были устраивать партийные и профсоюзные собрания, выступать на них, восхваляя товарища Сталина за счастливую жизнь, одобрять все действия советской власти, включая и свою посадку...

Я сумел договориться с немецкими инженерами, моими хорошими знакомыми, о комнатушке в засыпанном снегом домике, где был припасен даже с осени уголь. Мне повезло, так как хозяин-холостяк уехал как раз в это время в длительную командировку. Пропуск у меня был, но на пассажирской железнодорожной станции не должна была появляться нога заключенного, и я послал двух молодых товарищей по работе, Мишу и Петю, встретить жену. Хотя они жили в зонах для заключенных и в тех же бараках, но, по иронии сталинских порядков, пока рассматривались вольными, ибо статью и сроки еще не получили. Считалось, что они, как власовцы, проходили фильтрационную проверку. К концу года им, а также военнопленным, стали лепить по двадцать пять, реже—по десять лет.

В первые два года после войны в лагеря шли огромные пополнения, состоящие из власовцев, пленников, перемещенных лиц, легионеров, солдат эсэсовских национальных дивизий, немцев, рассматриваемых как военных преступников, бандеровцев, военных из белоэмигрантов... Кого же так называли?

Власовцы — это все русские солдаты, дравшиеся против Сталина в составе частей вермахта или особых чисто

власовских соединений. Общее число их превышало миллион.

Пленники — российские военнопленные, находившиеся в Германии за колючей проволокой или на различных работах. Первые пять миллионов пленных сорок первого года видели в Гитлере освободителя, не хотели с ним воевать. Пленники последующих лет в большинстве своем сдались не по доброй воле. Власовцы комплектовались из тех и других.

Перемещенные лица — гражданское российское население, угнанное немцами, а частично добровольно уехавшее для работ в Германию.

Легионеры — солдаты особых соединений, комплектовавшихся немцами из грузин и других кавказских народностей, калмыков, казахов.

Эсэсовцы — немецкие солдаты и солдаты из национальных дивизий прибалтов.

Бандеровцы — украинские националисты, главным образом из Западной Украины, прозванные нами западниками, боровшиеся сначала против Гитлера, а потом и против Сталина.

Вряд ли можно было узнать человека лучше, чем в тюрьме, лагере, на пересылке, этапе. Десять лет можно было работать на гражданке, но узнать своих соседей по работе меньше, чем за два дня на пересылке. В рабочей обстановке, встречаясь ежедневно, человека постигали до донышка, если только не было помех в виде стукачей. Откровенностью платили за откровенность, рабство восполняли внутренней свободой, возможная завтрашняя гибель располагала к исповеди или излияниям. Пленников я изучил в Вятлаге, власовцев — на Воркуте. В моем рабочем звене из пяти человек двое были власовцы.

Власовца следует сравнивать и сопоставлять не с мобилизованным в Красную армию, а с добровольцем, причем с таким, кто остался до конца идеалистом-патриотом. Власовцы своим умом дошли или согласились с необходимостью страшной войны на два фронта, с двумя тиранами. Они решили уничтожить сталинскую деспотию, тогда как остальные ее поддерживали. Семьи власовцев были заложниками, семьи идеалистов добровольцев получали по аттестатам денежные пособия. Мы оказались бы народом рабов для мира и для себя, если после всего пережитого за 25 лет не появились бы власовцы. Не случайно продажные перья советских интеллигентов

оклеветали и очернили этих рядовых героев. Но следует помнить, что великим людям огромные ошибки легко сходят с рук, а когда судят рядовых тружеников, то забывают об истинных виновниках, создавших гибельную ситуацию:

— страну превратили в концлагерь, население истребляли, как скот, а от людей требовали поддержки ненавистного режима, чекистов, колхозов, коммунизма;

— коммунисты в 1917 году продали Россию. Когда же россияне дождались, наконец, войны и взялись за оружие с целью свержения позорнейшей в мире сталинской деспотии, их шельмовали изменниками;

— у рабов и жертв террора свои оценки и законное чувство мести.

Работа наша шла успешно. Я смог на три дня распустить свое звено на отдых, а на последующее время дал задания. В течение недели я не намеревался показываться на заводе, полагая, что разрешение на свидание даст мне такое право. Вопрос с жильем и топливом был решен с помощью добрых людей, с питанием предстояло выкручиваться с ловкостью, давно уже присущей советским людям. В стране был местами голод, в основном, зверские недостачи и неизбежные карточки. В таком положении была и Москва, поэтому жена могла привезти самую малость. Когда Генрих приносил в особых трехэтажных судках пайку хлеба и мой обед, она что-то туда добавляла, превращала его из лагерного в домашний, да вдобавок приготовленный на двоих. Вторую пайку я обеспечил себе без труда за деньги, так как хлеб в это время в лагере был довольно дешев. По вечерам к нам заходили друзья — Петрович, Генрих и несколько других близких нам ребят из пропускников. Жена угощала домашними лакомствами, варила напиток, который должен был напоминать кофе... Все были очень довольны. Я строго-настрого запретил любые разговоры на политические темы, и мы вполне обошлись без них. Выручал Петрович: мирное успокоительное содержание его повестей из мещанского быта было новым, интересным, даже романтичным для моей фантазерки. Она согласилась на обратном пути заехать к матери Петровича в город Киров, бывшую Вятку, и они часами обсуждали, что она должна рассказать о сыночке-профессоре. Один вечер Генрих посвятил истории, развивая свою любимую гипотезу о соединении Германии и России в одну страну во

времена Бисмарка и раскрывал преимущества, перспективы, возможности, мощь такой страны... Раскрасневшийся «чугунный Генрих», как мы его частенько называли, блестя небольшими голубыми глазками, сыпал доводами и доказательствами. И ведь действительно все могло получиться замечательно... Петрович кое о чем спорил, но Генрих разбивал его возражения, а я лежал и думал, что не разум управляет человеческим обществом, и воистину полезные идеи приходят в голову простым маленьким людям, а великие мира сего чаще осчастливливают страны истребительными войнами, а в двадцатом веке — еще и организованным людоедством. Моя хозяюшка украдкой позевывала, все это ее не интересовало. Когда Генрих выдохся, я попросил Петровича, чтобы ее немного развлечь, рассказать, каким образом 12 сентября 1946 года мы с ним на спор бросили курить. Опасность рецидива была вполне реальна, так как к тому времени прошло всего полгода. Умудренный собственным опытом, я предложил письменные условия, в случае нарушения которых уплачивается сумма трехмесячного вознаграждения за арестантскую работу — в переводе на сахар она равнялась трем килограммам в месяц — и требовалось публичное признание своей неполноценности. Документ, кроме нас, был скреплен еще подписями двух секундантов. С тех пор мы не сделали ни одной затяжки. К рассказу Петрович прибавил еще ряд выдуманных подробностей. Мы веселились. Генрих был в ударе и переключился с Бисмарка на проделку с одним хиромантом. Это был неплохо говоривший по-русски эстонский паренек, работавший у нас чертежником. Молодость любит шутить. Мы решили выдать его за крупного хироманта и разыграть наших титулованных валер и костей. Первой жертвой пала заводская подружка Вера, в ту пору лагерная жена главного врача больницы нашего лагпункта. Как-то она проговорилась Петровичу, что ее врач — импотент. Длинный язык Петровича принес нам эту тайну, и, взяв с него клятву молчать, мы вооружили этим фактом нашего хироманта. Как бы невзначай мы разожгли любопытство Веры, и кончилось тем, что хироманта пригласили к богатой чете. Парень своими предсказаниями произвел сильное впечатление, но вскоре они что-то сообразили. Мы посмеялись, Вера же обиделась, но через месяца два все пошло по-старому.

Смех не далек от слез. На следующий день разрази-

лась беда. Хоть мы всё тщательно скрывали, но слухи просочились, кто-то стукнул, и машина лагерного режима захватила нас своими зубьями. Утром я пошел на лагпункт, чтобы показаться и принести хлеб. Вернулся в пустой дом: печь погасла, светлоокий ангел улетел. От соседки узнал, что два солдата увели ее с собой. Я бросился на завод, к друзьям. Хорошо, что нас не застали вдвоем: теперь меня могли забрать на работе, а не в недозволенном месте. Мишу и Петю я послал в мой отдел управления, просил их обо всем там доложить и быть в распоряжении пленницы. Минут через тридцать—сорок пришли два оперативника и повели меня в штаб вооруженной охраны лагеря.

Туда попадали только за крупные провинности, и нарушителя отсылали на шесть месяцев на известковый завод — штрафной лагпункт. Это была не дача капитана Борисова, срок был реальный, вынести его было можно, люди возвращались, правда, до крайности измотанные. В штабе меня сразу к начальству не провели, что было хорошим признаком, конвоир даже предложил закурить: значит, из отдела уже позвонили, объяснили, уговорили. Я решил, что, так как штабу главное — не уронить престиж, у меня отберут пропуск и этим ограничатся. Поэтому я спокойно объяснил, что все делалось официально, разрешение дано Москвой. Но оказалось, что я виноват, так как не предупредил штаб. «Образованные, а не знаете! Сдать пропуск!» Сказано это было без крика, видно, для проформы. «Отправить на лагпункт!» От сердца отлегло, душа ликовала: если бы я совершил такую глупость и действительно заявил о приезде жены, то они разрешили бы двухчасовое свидание в присутствии оперативника. Ведь только сейчас они мне втолковывали, что всё в их руках. Мы вырвали у судьбы восемь суток, игра стоила свеч. Люди мы были закаленные, привыкшие к невзгодам. Жена не потеряла присутствия духа, разговаривала спокойно и, имея разрешение, требовала, чтобы ее соединили с отделом управления по телефону. Ей приказали немедленно уехать. Ребята пошли за билетом, но поезд был только через два дня, и ей пришлось остаться в обществе моих друзей. В день отъезда мы решили попрощаться на заводе. В десять утра ее привел Генрих, пропуск он выписал через своих зэков. Атмосфера была тревожная. Мы встретились в отделении помещения лаборатории при литейном цехе, нервничали, быстро по-

прощались, и Генрих увел ее обратно. Я шел за ними до заводской вахты, взгрустнулось. Задумавшись, я тихонечко пошел к кузнечному цеху. Мимо меня пробежали рысью к правлению завода трое оперативников. Я понял причину беспокойства. Видимо, когда Генрих предъявил пропуск на ее имя, предупрежденный вахтер тотчас позвонил в штаб. Там решили нас наказать по-настоящему за явное и наглое, по их понятиям, нарушение. Слава Богу, все обошлось благополучно. Мои ребятки вскоре посадили путешественницу в поезд. Пропуск недели через две мне вернули, правда, сильно ограничив радиус хождения. Я частенько проходил мимо домика, где мы провели восемь дней, и сердце сжималось от грусти.

Робингуды

Среди прибывших в два послевоенных года заключенных были партизаны — бандеровцы и литовцы, — боровшиеся у себя на родине с оккупантами-коммунистами. Они любили рассказывать о своей лесной жизни, лихих нападениях, облавах, стычках, актах террора против чекистов. Лишившись пропуска, я проводил вечера в одиночестве и думал о методах такой борьбы. В оценках помогали мне разобраться ранние воспоминания.

Детьми мы с удовольствием слушали, не больно-то вникая в тонкости, рассказы очевидцев о партизанской войне батьки Махно на Украине, об Антоновском восстании тамбовских крестьян, о мужицких «зеленых» дружинах, уходивших в леса. Наши детские души были целиком на стороне бедных людей, вынужденных отстаивать жизнь близких от непрерывных насилий, надругательств над религией, бандитских выходок, хорошо нам известных и по городской жизни.

От домашнего воспитания многое зависит. Мне посчастливилось прочесть книги, воспевающие рыцарство, верность, подвиги, доблести. И в дальнейшем это помогало мне правильно ориентироваться и понимать меру своего отступления от образцов. Нам с детства внушали правила честной борьбы, недопустимость пускать в ход запретные приемы и бить лежачего... До 1917 года этому еще учили в нормальных российских семьях.

Действия русских партизан против Наполеона в Отечественную войну 1812 года я воспринимал как личную обиду, и мне больно было от лютой партизанской войны

испанцев с французской армией, которая велась в ту же эпоху. Как же так? Ведь сходятся геройские армии, принадлежащие христианским народам, и вдруг, наряду с открытой борьбой регулярных обученных воинских соединений, под покровом ночи, из-за угла, происходит подлый разбой людей, воспитанных не в духе воинской славы и посему способных на любую жестокость и низость.

И вот теперь, в зрелом возрасте, жизнь заставила меня понять, что террористические акты и народная партизанская война допустимы только как ответ власти, которая вонзает в население зубья организованного террора и производит его истребление, ниспровергает религию, устанавливает экономическое закабаление (отнимает частную собственность, преследует личную инициативу и предприимчивость), лишает людей мирной борьбы за свои интересы, уничтожает право на гражданские свободы.

Во всех остальных случаях при поражении армий следует подписывать мирный договор, а далее придерживаться европейских традиций: если нужно, накапливать силы, формировать армию и уже открыто вступать в новую войну.

Терроризм и партизанская война против нормального противника-победителя должны не допускаться, подвергаться всемерному осуждению и искоренению, ибо вызывают репрессии против ни в чем не повинных людей, обращают жизнь в ад и, не имея истинного оправдания, являются уголовными преступлениями.

В свете этого партизанская война Махно, Антонова, «зеленых» с большевистским режимом полностью обоснована: она была ответом крестьян на террор, невиданное систематическое ограбление, лишение элементарных прав, издевательства над верой...

Вполне оправданы партизанские действия поляков, югославов, французов и других против гитлеризма; партизанская война и террор украинцев-бандеровцев против гитлеризма и сталинизма, борьба прибалтов с советскими оккупантами за свою независимость.

Но невозможно согласиться с партизанскими войнами в России и Испании против войск Наполеона, хотя среди партизанских отрядов, особенно в Испании, преобладали народные дружины. И уж полного осуждения требуют современные, так называемые партизанские войны, разжигаемые тоталитарными режимами. За малым

исключением их ведут отряды, состоящие из простых людей, действующих по приказу власти, коммунисты, выполняющие партийные директивы, и солдаты регулярных частей. Такие «партизаны» не выражают интересов народа, терроризируют его и навязывают ему свою волю.

Заповеди зэка

У нашего дорогого профессора, прекрасного работника, часто возникали конфликты с заключенными. Как начальник технического отдела завода, он был слишком требователен для лагеря; по его мнению, обязанности выполнялись не так быстро, как ему хотелось. Однажды нам с Генрихом на лету удалось предупредить его желание посадить провинившегося зэка на пару суток в изолятор. Сначала мы пригрозили ему полным разрывом, а потом постарались доказать, учитывая, что он молодой лагерник, недопустимость такого поступка. В ходе разговора я понял, что Петрович — частично, под прессом советской действительности — выработал жестокое, бездушное отношение к рядовому человеку. Оно было в резком противоречии с его идеалами, и под конец он вынужден был с нами согласиться.

Это было наше единственное острое столкновение, но я убедился, что мои требования к поведению в условиях заключения, сложившиеся в страшной обстановке военных лет, представляют собой ценность не только для новичков, но полезны и старым лагерникам, поскольку нравы блатного мира и внушения чекистов все время действуют на людей разлагающим образом. Я хорошо обдумал свой опыт и извлек из него правила, которыми давно руководствовался. В краткой форме заповеди зэка звучат так:

1. Смерть стукачам.
2. Удар за удар.
3. Помогай достойному.
4. Не суй нос в котелок соседа.
5. Не задирайся.
6. «Кровный костыль» — тебе одному.
7. Мораль рабов — чекистам.
8. Друзья — твое семейство.
9. Раб снаружи — внутри воин.
10. Спасешь душу — сохранишь тело.

В тех условиях заповеди укрепляли человеческое до-

стоинство. Желание Петровича посадить заключенного разбивалось о некоторые из них:

— седьмую, так как он хотел действовать, исходя не из нашей, зэковской, морали, а с позиций чекистов;

— четвертую, ибо столь грубое вмешательство во внутренний мир зэка, тем более методами чекистов, было совершенно недопустимо. Приказать и напомнить зэку обязывала деловая необходимость. Можно было «оттянуть», отругать, накричать, желательно один на один или тщательно выбирая угрозы на людях. В условиях завода этих средств было достаточно, люди дорожили своим местом;

— пятую, поскольку Петрович при этом бросал вызов обществу и сам себя превращал в предмет широкого обсуждения, осуждения и презрения. К тому же это правило в скрытом виде говорит: будь готов дать отчет в своем поведении на пересылке. За такую выходку его могли убить.

Глава 15

ДОРОГОЙ В МОСКВУ

Расстрел блатарей

В начале сентября сорок седьмого года мне было объявлено, что я должен распрощаться с Воркутой. Это — большое событие в жизни каждого заключенного, и, естественно, я бросился выяснять, куда идет этап. Поскольку я работал в управлении, удалось узнать, что отправляют в Москву, видимо, в распоряжение четвертого главного управления министерства внутренних дел, которое ведало специальными работами инженеров в закрытых конструкторских бюро, получивших позднее название шарашек. Уезжать мне не очень хотелось, я даже предпринимал некоторые шаги, чтобы остаться. Но потом решил, что надо испытать судьбу, и перестал упираться.

Из Воркуты этапируют всех с одного пересыльного лагпункта, куда я и еще двое заключенных прибыли с утра. Накануне убили там пять блатарей, хотя в мае этого года Сталиным был издан указ об отмене смертной казни и замене ее двадцатипятилетним сроком тю-

ремного или лагерного заключения. Весть о расстреле без суда взбудоражила всех нас. Заключенные, обслуживавшие лагпункт, ничего не скрывали, и мы выяснили, что это были «воры в законе». За лагерные преступления они должны были быть отправлены на штрафной лагпункт, так называемый известковый завод, который находился в руках «сук», их непримиримых врагов. Многие происходившие события становились известными остальным заключенным, поэтому не могло быть сомнений, и воры это знали наперед, что, если они туда попадут, их ожидает немедленно мучительная смерть. Естественно, они отказались ехать, тем более что смертная казнь им теперь не угрожала, и забрались в пустой барак, где разворотили кирпичную печь. Когда их нашли и хотели уже «брать», они начали бросать кирпичи в надзирателей, и в перепалке ушибли одного или двух. Тогда их заперли в этом бараке. Начальство обратилось в управление Воркутлагеря, оттуда по радио снеслись с министерством в Москве, где приказали произвести расстрел блатарей. Это была не официальная казнь, а мера пресечения вооруженного сопротивления властям. Но существенно ли для убитых, как в них выстрелили — в затылок или в висок? Вызванная опергруппа была вооружена огнестрельным оружием. А что можно сделать кирпичом, когда в тебя стреляют из автоматов? И, конечно, всех застрелили. Мы имели возможность видеть этот барак, когда его еще не привели в порядок: печь была разворочена, оставались следы крови, но трупы были уже вынесены.

Для меня был ясен ход мыслей блатарей, перед кровью которых я все же снял шапку. Они думали так: мы кидаем, в нас стреляют, кого-то убьют наповал, большую часть только ранят. Раненых, как «друзей народа», отвезут в больницу. Пройдет время, и, глядишь, решение об отправке забудется. Расчет вполне реальный именно для воров, то есть для социально близких режиму, для его «друзей». Если бы такое сопротивление оказали мы, контрики, то нас тут же добили бы из пистолетов и не подумали бы испрашивать разрешения.

Это кровавое событие мы восприняли, в общем, как рядовое явление. Нельзя сказать, чтобы оно нас слишком омрачало. К этому времени мы уже достаточно огрубели. Нравы были кругом жестокие; жизнь человеческая ни в грош не ценилась. Поэтому каждый из нас только

усмехнулся лишний раз насчет «законности» этой системы. Мы знали, что они делают все, что им нужно, и так, как им хочется. Советские путаные, противоречивые законы и нарушающие их указы — лишь «руководство к действию», простор для произвола и должностных преступлений. В них заглядывают только для оформления «дел» и для того, чтобы оградить себя от происков со стороны своих же «товарищей» по «органам», партии, надзору... Способность пожирать друг друга, как это делают крысы в железной клетке, и создавала видимость наличия каких-то действующих юридических норм. Впрочем, сказанное относится к бытовым и уголовным преступлениям. В делах же политических царил голый произвол, так как знаменитая пятьдесят восьмая статья давала следствию возможность возводить любую нелепость в обвинение, что и было продемонстрировано созданием нескольких десятков миллионов выдуманных дел.

Предтеча «шестидесятников»

На пересылке скопились дивчины с Украины, где тогда был очередной голод. На вопрос «за что?» мы получали стандартный ответ: «за колоски». За сорванные на колхозном поле колосья их осуждали на десять лет. Нам было ясно, что, как только их распихают по шахтам, они попадут в лапы блатарей и пройдут через все муки унижений.

Здесь же я встретил одного грузина. Он удивительно вольно разговаривал, хотя ясно было, что не провокатор и не стукач. Он сообщал мне такие неожиданные вещи, которые бросали только в лицо следователю, когда запираться уже нет никакого смысла, и сводишь счеты с властью, тем самым ее обличая. В обычной обстановке об этом беседовали не с первым встречным, а когда были хорошо друг с другом знакомы. Особенно запомнились два его положения. Во-первых, он соединял христианство и демократию, доказывая необходимость совмещения в человеке обоих качеств. Во-вторых, он уверял, что Сталин — наше, российское, создание, и, хотя он грузин по происхождению, Грузия его не признает, от него отказывается, а возвеличиваем его мы, русские. К грузинам у нас не может быть никаких претензий, сами во всем виноваты. Если бы мы, русские, были грузинами, то Сталин никогда не имел бы такой власти.

Во времена сталинизма такое открытое выступление, подобное вышеописанному, означало самоубийство. Чекисты обязательно сделали бы такого отчаянного человека главарем целой организации террористов. А это означало бы убийство еще нескольких неповинных людей и вполне возможную гибель его семьи.

К тому времени со мной произошла уже большая эволюция. Я, человек правдо- и вольнолюбивый, под влиянием непрерывной борьбы за жизнь в столь сверхтяжелых условиях как-то настолько припал к земле, в нее въелся, с ней сцепился, приспособил свой духовный и умственный склад к ежедневной схватке, что уподобился жителю первобытных джунглей, где каждый шорох предвещает смерть, гибель, чей-то прыжок. Так и тут, ты должен каждую минуту остерегаться лишнего слова, неверного движения, жеста. Тебя может продать, оклеветать человек, которому ты даже ничего не сказал. Любой материал принимался, все пускали в ход — ведь шло истребление людей. Естественно, что после того, как я прошел суровую семилетнюю школу лагерей, столь открытое выступление грузинского профессора показалось мне невероятным, — я не мог себе представить, что можно так вольно разговаривать.

Наша беседа была прервана довольно оригинальным способом. Один из нарядчиков с пересылки подошел к нему и сказал: «Хватит! Будешь еще разговаривать, в карцер посадим». Он стушевался, пошел в свой барак, лег на нары, и больше я его не видел. Видимо, перспектива побыть в карцере ему не улыбалась. Я же не имел возможности выяснить, как сложилась дальше его судьба. Через пересылки проходит много народа, пути заключенных расходятся, редко удается кого-нибудь потом встретить. Иногда, спустя много-много лет, что-нибудь о ком-нибудь узнаешь. Об этом грузине мне ничего больше услышать не удалось, но встреча с ним засела в моем сознании. Такая страшная обстановка и приспособление к ней приводят к появлению рабского комплекса. Одни становятся рабами, другие, покрепче, настолько изощряют свои мысли и чувства, боясь сказать лишнее, заронить в ком-либо подозрение, что теряют способность к свободному и открытому волеизъявлению. Но нужно ли так себя ломать? Не заявить ли просто, как этот грузинский профессор, о своих убеждениях, а там — будь что будет?..

Грузины, которые чем-то перешли дорогу Сталину или Берии, истреблялись с полной беспощадностью на общих основаниях. В войну у нас на лагпункте было небольшое грузинское землячество. Его ядро состояло из бывших грузинских меньшевиков. Один из них, кладовщик мехмастерской Вашекидзе, мыкался по лагерям с 1924 года. В памяти моей они остались твердыми, мужественными, надежными людьми. Было в них что-то от рыцарства. «Моя честь — это все, что у меня осталось!» — сказал однажды Вашекидзе.

На лесоповалах, в мареве северных сияний, при страшных морозах, в глубинах шахт, на обледенелых заполярных стройках, на прокладке чудовищно ненужных дорог, изощренная в страшных схватках мысль нащупывала методы борьбы с системой в этих, казалось бы, совершенно невозможных условиях. А через четыре года удалось так тряхнуть* это рабовладение, что режиму от него пришлось отказаться, вернее, сильно сократить его масштабы.

Мой собеседник-грузин на пересылке опередил почти на пятнадцать лет средства своей эпохи. В тех условиях он отважился высказать свои идеи и дать критику Сталина. Поэтому в моем сознании он представляется предтечей открытых борцов за демократию шестидесятых годов, провозгласивших стремление к свободе и элементарным демократическим формам жизни.

В шестидесятые годы, когда сам режим в лице своей высшей инстанции осудил Сталина, хотя традиции сталинизма продолжают жить и поныне, произошел прорыв полувекового молчания. Первым героем этого прорыва был, конечно, А. Солженицын.

Прекрасно, что есть такие люди, но в условиях диктатуры партийной олигархии средства внешнего прорыва должны не заменять, а отражать глубинную работу, ведущуюся в недрах общества.

Снова на Кировской пересылке

Я снова попал на Кировскую пересылку, где уже останавливался на пути в Воркуту. Там недавно попытались разделить заключенных. Дело в том, что с окончанием войны и без того большой поток их резко увеличился. Теперь он состоял в основном из бывших военных.

* Речь идет о забастовках в пятидесятые годы в лагерях Экибастуза, Кингира, Джезказгана, Воркуты... (Прим. ред.).

Многие из них прошли штрафные батальоны, ходили в разведку боем, участвовали в рукопашных схватках... Некоторые советские вояки осатанели от позорной сталинской амнистии 1945 года, когда выпустили всех дезертиров, а их, попавших в плен, в окружение, или посаженных за какую-то вражескую листовку, гнали в лагеря. До указа об отмене смертной казни им давали по 10 лет, после отмены стали лепить по 25. Этапировали их в лагеря вперемешку с блатными и бытовиками. Стихийно или, может быть, по какому-то сговору ребята сообразили такую шутку. Парень со сроком «25» осторожненько узнает, у кого осталось мало лет до конца срока. Затем подсаживается к «малолетке», выспрашивает его установочные данные, то есть фамилию, имя, год рождения, статью, срок, или запоминает их на перекличке. Далее зорко следит за дверью и во время вызова на этап, когда слышит фамилию, которую решил присвоить, быстро проговаривает все полученные сведения и уезжает вместо разини. Это явление достигло гомерических размеров. В камерах оказались люди с маленькими сроками, а в конторе пересылки — чужие формуляры тех, кто имел 10 и 25 лет. И теперь, когда на этап вызывали «тяжеловесов», никто не откликался. Потребовалось несколько месяцев, пока навели порядок, но под «шум волны», вероятно, несколько десятков, а может, и сотен, дошлых вояк все же успело выскочить на волю. Даже я, у кого оставалось впереди целых шесть лет, был осторожен.

В результате этого тюремного бедствия начальство решило разделить потоки. Сделано это было достаточно халтурно, так как этапировались по-старому все вместе, но на пересылке сортировали по отдельным камерам. Контрики количественно резко преобладали, поэтому в их камеры втискивали сверх всякой меры. Человек лежал на человеке. Днем каждый сидел на полу, на своем мешочке, а ночью, так как деваться было некуда, ложились просто один на другого, и ноги оказывались на голове у соседей. Пройти к параше было невозможно, приходилось шагать по людям. Жара была дикая. Сидели раздетые, потные. Приносили только кипяток, и от него становилось еще жарче. Помню, что, когда нас выводили на оправку, мы жадно набрасывались на холодную воду в умывальнике, и думали только о том, чтобы скорей напиться.

Известно, что в камере существует какая-то очередность, когда вновь прибывший постепенно перемещается от параши к окну или к нарам, где можно лечь. Зная эти порядки, я ни на что не претендовал и расположился у параши. Ночь прошла тяжело; воняло и часто будили.

Перед отправкой с меня сняли более или менее щегольскую робу и выдали одежку двадцать первого срока: живописный латаный-перелатаный бушлат, старые стеганые брюки, фуражку, которая на обысках выдавала свои дары — кусочки бритв, ножей, спичек, зашитые в нее целым поколением блатарей. На моей рубашке, на груди и спине были цифры, чтобы не перепутать белье в бане. Номера носили также каторжники, которые были на некоторых лагпунктах Воркуты, и поэтому я в своей живописной одежде был принят за одного из них. К тому же на груди у меня висел крест. Новички, которые в лагерях еще не были, решили, что я какой-то страшный бандит, из тех, кто часто украшает грудь крестами — не во имя религии, а по какой-то языческой страсти, из стремления себя разукрасить, выделить. К тому же на этот раз я был в хорошей форме и даже загорел под скупым солнцем Крайнего Севера. Во всяком случае, моя наружность говорила о том, что я старый лагерник, прошедший огонь и воду и медные трубы, и держался я соответственно.

Смотрю: к двери, около которой я находился, подходит староста. Верней, не подходит, — пройти было невозможно — а пробирается. Был он не из новичков и, увидя мои доспехи и внешность ветерана, сказал: «Ты чего здесь остался? Давай иди на нары. Ведь оттуда ушел человек». Я это тоже заметил. В пересылке к нашей группе воркутян присоединили с другого этапа молодого латыша. Но вместо того, чтобы ночь провести рядом со мной, он куда-то исчез. И вдруг вижу, что этот новичок уже лежит на нарах, а я — ветеран — провел отвратительную ночь. Я всегда согласен был подчиняться законам, которые одинаковы для всех, но счел неверным, что привилегии дают молодому здоровому парню. «Что ж, староста, у тебя порядки такие?» — спросил я, присовокупив для полновесности соответствующую ругань. К этому времени я уже отучился от нормальной речи, находясь все время в смешанной зэковской среде, и не обходился без блатных оборотов. «Порядок — порядок, а беспорядок — беспорядок». Староста был не против. «Человек ушел, можешь занять его место».

Пожалуй, я даже не пошел бы, это не в моем характере. Не люблю лезть, нарываться. Но я понял. что латыши пригласили к себе этого малого и посадили у себя в ногах. Утром, когда человека с нар взяли на этап, они положили его туда. По справедливости это место следовало занять тому, кто уже полтора месяца не спит по-человечески и чей черед настал. Моя решимость еще не созрела; думаю и пока что продолжаю разговор:

— Почему у вас не выполняются правила?

— Да там какие-то «мужики» сидят.

— Ну, они мужики, им, может, хорошо в углу и нравится на полу, а мне нет. Я с этим малым приехал, а он уже лежит там. Если у вас нет твердого порядка в камере, считаю, что это мое место.

Староста был парень, видно, не очень инициативный. «Ладно, я не против. Иди ложись, если можешь», — сказал он.

Настроение у меня было воинственное. С бравым видом продираюсь к ним и говорю этому малому: «Давай слезай! Это мое место». Сперва, конечно, спросил мужиков: «Не хотите здесь лечь? Вам что, хорошо на полу?» Они молчат. Латыши же были из национальной дивизии СС. Парни белокурые, здоровые, в шрамах. Видимо, это и остановило очередников; боялись с ними связываться. Тогда я сказал парню: «Скидайся-ка отсюда! Ты со мной приехал, лагеря еще не нюхал». И положил свои пожитки на это место. Смотрю, парни приподнялись и ощетинились. Каждый из них, наверное, был сильней меня. Они были не истощенные, их только везли на правеж, и я понял, что без драки ничего не выйдет. Мне, собственно, терять было нечего; развернулся — дал одному, дал другому. Думал, они меня просто сотрут в порошок. Ничего подобного. Они даже боятся ударить. Ах, боитесь ударить! Ну, тут я уже дал как следует по зубам. Вижу, сопротивление прекратилось, парень уползает на свое место, а я ложусь на нары. Победа была одержана очень просто и без каких бы то ни было кровопролитий.

Об этом случае не стоило бы рассказывать, если бы он не имел продолжения. Изложу свои соображения о причинах легкости одержанной мной победы. СС на нарах было слишком много, теснота им мешала, они стояли вплотную друг к другу, на коленях, размахнуться не могли, а только тыкали руками. Столкновение разыгралось сразу же после оправки, когда большинство еще

не уселось на пол. Возле нар было относительно свободно, и у меня оставалась возможность двигаться и как-то маневрировать. Если бы двое СС слезли с нар, то одержали бы надо мной победу. Но, возможно, они боялись, что меня поддержат сокамерники, а также предполагали, что в голенище сапога у меня нож и что я владею страшными блатными приемами близкого боя, когда, сближаясь почти вплотную, бьют в подбородок или в лицо противника маковкой своего черепа, превращая их в кровавую массу...

Я лежал на своем месте, мысленно восстанавливая картину столкновения, и стремился найти изъян в своем поведении. При хладнокровном рассуждении он немедленно обнаружился. Изложенные выше соображения моих действий были по-лагерному просты и вполне понятны. Особенно придраться в тех условиях было не к чему. Но тут меня как стукнуло Я вспомнил седого, как лунь, семидесятилетнего старика немца, сидевшего около бака с кипятком, привстал и посмотрел на чистые изможденные черты его красивого лица Он находился как бы в полузабытьи, сил не было, дни его были сочтены... «Вот, — сказал я себе, — пойди, положи его на свое место и сделаешь доброе дело. Этим загладишь свое поведение, ибо ты начал как поборник справедливости, а окончил как лагерный пес, отлаявший себе местечко получше» Я стал размышлять о возможности исполнить мелькнувшее намерение. Нереальность его осуществления проявилась сразу. В камере этот зэк недавно, поскольку сидел у стены с входной дверью. Отношение к немцам тогда уже значительно смягчилось, но все же из «фрицев» они не вылезали. Ослабленные люди были и кроме него и могли загалдеть, закричать, что пришли в камеру раньше, или что-либо в этом роде. Все это еще можно было превозмочь... Но размышления были прерваны: я почувствовал, что мое тело начинают все больше и больше сдавливать с обеих сторон. Оказывается, соседи по нарам решили дать мне реванш, для чего, по сигналу, все напряглись и продвинулись в моем направлении. Я не стал дожидаться конца сеанса и, ни слова не говоря, двинул сапогом по голым ногам своих соседей, так как не разулся, не ощутив еще прочности завоеванного положения. Они перекинулись на своем языке, раздвинулись и больше ко мне не приставали. Положи я сюда старика немца, он сразу заохал бы и запросился

обратно к стенке. Видимо, поэтому очередники не стремились занять освободившееся место на этих нарах: наверное, кто-то из них уже попробовал. СС зря переносили ненависть к советскому государству на зэков. Так поступать не следовало.

Князь Святополк-Мирский

Случай слегка загладить свое поведение представился мне уже через сутки. Вечером в нашу переполненную камеру, когда стемнело, а свет не зажгли — видно, была какая-то неисправность, — втолкнули все же еще человек пять. Только что прибыл этап из Москвы. И вот в темноте раздается хороший чистый русский голос, и кто-то спрашивает, не хочет ли честнáя компания его послушать. Рассказы любят все, начиная от блатарей и кончая высокообразованными людьми. Когда человек сидит в тюрьме, его мучит жажда впечатлений, и хороший рассказчик — всегда лучший друг. «Романиста» сразу препроводили в центр камеры, там уж потеснились, как могли, и начались дивные повествования. Мы, лагерники, — озверелые, грубые, в нашей интонации бесчеловечные нотки, бесшабашность какая-то. Один перед другим выхвалялся. А в таких старых зэков, как я, это въелось, стало второй натурой, по крайней мере, во внешних проявлениях. У него же был совершенно не наш голос. Он был человеком из другого мира. Таких людей я потом, по приезде на Запад, встретил в Риме. Мне он казался ангелоподобным. Князь Святополк-Мирский не скрывал, кто он. Подцепили его где-то в Польше. С белыми эмигрантами расправа была короткая, и хотя во время гражданской войны он был еще мальчиком и участия в ней не принимал, достаточно было одного его происхождения для отправки на Воркуту.

Князь оказался интереснейшим человеком. Мы добрых полночи не спали и слушали его как завороженные. Особенно мне понравился его рассказ об Америке. В двадцатые годы, еще совсем молодым, он отправляется туда, и его принимают очень приветливо. Американки по нему с ума сходят. Если ему верить, то каждая третья американка — привлекательна, каждая четвертая — просто хорошенькая, каждая пятая — красавица. Словом, это было яркое, здоровое, жизнерадостное

сказочное королевство. Он спел хвалу американской женщине.

Он поведал нам и о других своих похождениях. Для меня это было просто духовное пиршество, от которого мы уже все давно отвыкли.

Передо мной был принц из книг моего детства. Ему было лет тридцать пять. Роста он был хорошего. От природы бледноватое лицо было теперь мертвенным, истощенным, изможденным. Несмотря на короткую стрижку, можно было различить, что его волосы светло-русые. Его голубые большие глаза были прекрасны. Кажется, что-то у него было с ногой — то ли она у него болела, то ли он хромал.

Описал он и Польшу времен истребления евреев гитлеровцами. Он сумел кого-то спрятать и защитить, а когда пришли красные, его тоже укрыли оставшиеся в живых евреи. Одним словом, он был настоящий аристократ духа — по своей сущности, а не только благодаря титулу.

Я отнесся к нему с большим сочувствием. Сначала я не мог понять, почему он также потянулся ко мне и как-то меня пожалел. Оказывается, он, как и другие, решил, что я каторжник; его сбили с толку мои номера. Я объяснил ему, что номера банные. Мы посмеялись, а через несколько минут меня и еще нескольких заключенных выдернули на этап. Пока одевался, сообразил, что положить на свое место князя вполне реально: во-первых, «романист», во-вторых, нога больная. Обрядившись, я тут же безапелляционно предложил это сделать. Возражений не последовало. Помог князю перебраться, попрощался.

Жалость князя меня слегка развеселила. В набитой битком камере на меня ее следовало расточать в последнюю очередь. Я был «на коне»: огромный лагерный опыт, нужная в этих условиях специальность, умение работать в обстановке «доходиловки», возможная передышка впереди, а главное — крепкая вера в Бога и потому неисчерпаемая бодрость духа... Но я смотрел с какой-то скорбью на тех, кто, по-моему, не мог долго вытянуть в гиблых местах, куда они могли попасть, и в первую очередь с болью в сердце подумал о князе. Мир их праху!

«Григорий Грязной»

Из Кировской пересыльной тюрьмы нас привезли в «черном вороне» к железнодорожному составу и посадили в столыпинский вагон. Поток заключенных двигался в лагеря на север и восток страны. В обратном направлении к Москве везли лишь на переследствие для того, чтобы использовать по специальности или заменить лагерь тюрьмой... Поэтому в «купе» было всего человек десять. Мы ехали и блаженствовали, так как не сидели на голове друг у друга. Народ подобрался занятный, разговоров хватало.

Во всей нашей компании только один казак-кубанец, который без конца рассказывал о своих охотничьих и военных похождениях, вякал что-то в защиту власти. При содействии других, помогавших и вторивших мне, попутчиков я стремился докопаться до корня его настроений, приводил множество доводов. Он немедленно соглашался, но через пару часов его мозги возвращались в исходное состояние. Вскоре причина аномалии стала мне ясна. Он принадлежал к разряду расплодившихся в безбожном силовом поле людей, думающих только о себе и плюющих на всех остальных. Принадлежал он к семье казаков, которые поддерживали советскую власть во время гражданской войны и благодаря этому были оставлены на Кубани. Отец его был председателем показательного колхоза, и в целях пропаганды райком не обдирал их как липку, оставляя на трудодни достаточно для пропитания. Кроме того, так как сынку не обязательно было целый день вкалывать, он вовсю пользовался богатствами своего края: охотился в плавнях на кабанов, подстреливал фазанов, уезжал на рыбалку. Семья, в сравнении с другими, жила до какого-то времени в достатке, но раскулачивание и непрерывные репрессии не обошли и ее, и большая часть его родни погибла. Ему же важно было, что он сам уцелел...

Я понял, кто он, довольно быстро, и мне стало противно. «Ты живешь приятными воспоминаниями и пока что лагеря не вкусил, — сказал я ему, — так как из дому получаешь посылки с салом в пять пальцев толщиной. Сейчас ты едешь за новым, на сей раз двадцатипятилетним, сроком. Вот попробуешь других лагерей, тогда вспомнишь наши разговоры. А славословием ты занимаешься в надежде, что это тебе как-то поможет на новом

следствии. Мечты твои тщетны. Двадцать пять лет уже выписаны, и ты получишь их, невзирая на просоветские настроения. Трибуналу же будь благодарен: он делает все, чтоб ты поумнел».

Я был врагом ненавистного мне режима, поэтому непорядки и притеснения были для меня обязательными его атрибутами. В препирательства с лагерным начальством и конвоем я вступал в редких, из ряда вон выходящих случаях дикого произвола. Обычно же мы посмеивались, повторяя за Максом Бородянским: «Все нормально!» Но люди, считающие себя советскими, находили тысячу поводов для столкновений. Вскоре, во время вечерней оправки, наш кубанец «завелся», надерзил конвоиру и был посажен в карцер, где на него надели специальные наручники да хорошенько избили. Применяемые тогда наручники перещелкивались от малейшего движения, затрудняя кровообращение и вызывая сильную боль, и кубанец дико орал. Такая расправа служила лучшим лекарством и содействовала прозрению.

Во время путешествия я чувствовал себя крайне уверенно, держался воинственно, открыто верховодил, ибо понял, что этапы и пересылки — места безбоязненного обмена мнениями, где риск, что тебя продаст стукач, невелик, поскольку в такой обстановке последний лишен защиты и старается, чтобы никто не догадался об его тайной профессии.

В ходе наших разоблачительных речей бледный, чахоточного вида армянин, до той поры молчавший, вдруг как бы с цепи сорвался. С южной горячностью, быстро тараторя, он выплеснул, что среди чекистов есть замечательные люди. «После моего ареста на полное содержание мою жену и двух детей взял ее брат, крупный чекист, и она даже имеет возможноть высылать мне иногда посылки». Подобная ситуация была еще возможна в Армении или Грузии, у народов в прошлом крепко сплоченных.

«Но вы ведь знаете, что ваш случай исключительный, а на моей памяти единственный, — отпарировал я.— У нас одна цель — установление правды. Насилие, угнетение и террор нужны тем, кто идет против истины, разума и глубинных законов жизни. Мстить мы никому не собираемся и не будем. Я человек верующий и твердо знаю, что расправа за содеянное будет на том свете, где каждый получит по заслугам. Перевесит ли доброе дело

твоего зятя все зло, которое он вершил на «работе»? Сие нам неизвестно. Но в своей оценке ты должен учитывать обе стороны деятельности человека».

Запомнился и здоровенный, мордастый парень родом со Смоленщины. Он провоевал года два и, вернувшись, не пригласил на попойку районного прокурора, своего соседа. Вскоре он совершил ничтожный проступок, и, по злобе, сводя личные счеты, на него завели уголовное дело. Тогда он уехал на Воркуту, к брату, начальнику охраны лагеря. История последнего, в свою очередь, типична для людей такого рода. Он провоевал всю войну, дослужился до погон, был увешан орденами и пожил года полтора в Германии на правах оккупанта. Здесь он вкусил прелесть настоящих сигар, виски, французского шампанского и награбленное у немецкого населения отправлял домой в меру своих способностей и чина. К сожалению, подоспело время его демобилизации. На родине был голод, незыблемые колхозы, раздетые люди, многие из которых жили в землянках... Работать он отвык, да и профессии по возрасту приобрести до войны не успел. И пришлось принять предложение отправиться в Хановей, маленькую одинокую железнодорожную станцию, — ворота в бассейн Воркуты. Там были только лагерь, охрана да дули ветры, которыми славилось это место. В темное, непроглядное время оставалось одно — пить спирт. В простоте душевной наш спутник рассказывал, как его допившийся до чертиков братец в мороз и пургу выскакивал раздетый из избушки на двор, палил из автомата в северный сполох, ругал в крест, в мать свою проклятую рабью жизнь, бушевал дома, бил, что попадало под руку, и, обессиленный, сваливался в тяжелом пьяном сне.

Когда через пару месяцев парня нашли и прислали ордер на арест, то брат посадил брата в изолятор, а оттуда передал его конвою для препровождения в тюрьму по месту жительства, где должны были устроить судебную расправу.

Как бы высеченное из каменной глыбы, нерусское лицо крупного широкоплечего шведа, добровольца финской армии, притягивало к себе. После окончания второй мировой войны его арестовали на улице в Гельсингфорсе советские автоматчики, а финская полиция почему-то не вмешалась.

Он получал от родных из Швеции прекрасные посыл-

ки и поэтому имел справный вид в иноземной одежде военного образца. Ехал он во Владимирскую тюрьму из лагеря Инты, расположенной южнее Воркуты Он развязал свой мешок, вынул оттуда яства и преспокойно стал грызть вкусные вещи, после того как вместе с нами съел казенную пайку. Мы были поражены, так как хотя и не существует твердых правил на этот счет, но любой из нас на его месте раздал бы остальным по одному печеньицу или по галете на троих .. Все находились в состоянии вечных недостач, хотя голода в ту пору не было, и такой жест был бы воспринят с чувством живой благодарности, а авторитет его бы поднялся. А так — много косых взглядов было брошено в его сторону. Обидно было, что герой, доброволец, твердый мужественный человек, пример доблести для любого из нас, оставил тяжелое впечатление. Когда потом мы шли с ним рядом по улице до горьковской пересылки, я объяснил ему на русском языке, так как он без затруднений его понимал, что зря он так обидел своих спутников. «Если бы в купе были блатные, вы остались бы без мешка и хорошей одежды. В нашей компании вам было неплохо. Как же вы добровольно жертвовали жизнью, спасая других, а тут не догадались подарить людям десяток крохотных сластей?!»

Размышляя по этому поводу, я вспомнил и понял простую евангельскую истину:

— Будь ты безмерно хорош, но если нет в тебе любви к людям, то нет в том для тебя пользы истинной.

— Если ты пошел помогать людям из высоких побуждений долга и покрыл себя славой и доблестью, честь тебе и хвала.

— Но если ты сделал то же самое, движимый любовью и жалостью к людям, когда они в смертельной беде, да будет жертва твоя трижды благословенна во имя Господне. Ведь этим ты создаешь фундамент всемирного человеческого братства. И хотя ты не всегда будешь чувствовать любовь даже к достойным людям, встречающимся на твоем пути, но всегда сможешь отнестись к ним как если бы уже их полюбил. А из таких действий твоих иногда возникнут ростки любви — сначала односторонней, а потом, возможно, и обоюдной.

Выгрузили нас из вагона у моста через железнодорожные пути. Для конвоя хуже места не придумаешь:

бесконечный поток пешеходов, все глазеют. Какая-то тетушка в платке и допотопном салопе остановилась на ступеньках почти над нашими головами и давай причитать: «И куда ж их, касатиков, гонят! Да какие же все худые!..» Мы, как положено в таких случаях, сидели на своих вещичках, швед подле меня; на него особенно обращают внимание. Начальник конвоя, лейтенант, русский малый, нервничает, стыдится своей работенки. По-волжски окая, он гонит набожную старушку: «Иди, иди, проходи, здесь стоять нельзя. Зря не сажают. За хорошие дела сюда не попадают, значит, разбойничали». Мы посмеиваемся, из задних рядов доносится: «Смотри, завтра сам к нам попадешь. Не зарекайся». Лейтенант отлучился куда-то, все томятся. Наконец раздается: «По пятеркам разобраться. Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег. Конвой применяет оружие без предупреждения». Следуют другие угрозы и заключительное: «Марш!»... Время самое людное, улицы полны народу. Большинство проходит мимо, но кто-то останавливается и сочувственно смотрит на шествие. Нас ведут по мостовой конвоиры, все, как один, киргизы и узбеки. Они взяли наперевес карабины с примкнутыми штыками и злятся.

Вот мы поравнялись со светло-русым двадцатипятилетним парнем с открытым красивым лицом. Голубые глаза полны симпатии и жалости. «Не узнаю Григория Грязного», — поется в русской опере «Царская невеста», которую часто передавали по радио. Передо мной и впрямь был оживший удалый добрый молодец, символ великорусов. Не дойдя нескольких шагов до нас с шведом, он бросил в колонну заключенных пачку папирос. Конвоир кричит, ругается, трясет штыком перед его животом. «Григорий» и в ус не дует, зэки подымают пачку. Его рослая фигура закрывала собой такую же русую, как и он, голубоглазую прелестную девушку. Вслед за братом или мужем она кинула булочку четырнадцатилетнему мальчику в наших рядах. Опять переполох, замешательство: парнишка кинулся подбирать хлеб. Родными и близкими были мне юноша и девушка. Они принадлежали к породе, которую все годы этого кошмара безжалостно искореняли

В приемных камерах горьковской пересылки была страшная теснота. До нас уже там находились два этапа и мальчики от двенадцати до шестнадцати лет, собран-

ные из разных камер предварительного заключения всей Горьковской области в целях их водворения в какую-то колонию для малолетних преступников. У большинства ребятишек вид был смышленый и отнюдь не испуганный: видно, тюрьма для них стала чем-то привычным. Но некоторые из них были оглушены тем, что с ними произошло. Неподалеку от меня лежал бледный, как бумага, мальчонка с виду лет десяти, не больше. Его рвало, он тихонько стонал, иногда звал маму. «Вызовите врача!» — крикнул я тем, кто был ближе к выходу. За дверью что-то буркнули, но никто не появился. Тогда я пробрался через тела и стал барабанить. Женщина-надзиратель, которой перевалило за пятьдесят, отговаривалась тем, что уже поздно, врача нет. «В санчасть возьмите, хоть чем-то помочь сумеют, а здесь он умрет». В ответ — молчание, видимо, она ушла. Я снова требовать, пока она не подошла к волчку. И тогда — в голос, по-блатному, благо вид у меня был подходящий: «Слушай, тетя, что ж вы творите-то? Ладно, мы взрослые, но вы детей убиваете. Где только зверюг таких находят? Ты думаешь... с тобой ничего не случится?» Через пару минут нам крикнули: «Давайте больного!» — и мы его вытащили в коридор.

Дети, как и женщины в сталинских тюрьмах, были для меня живыми иллюстрациями к видениям из Апокалипсиса.

Наступило утро. Продрав глаза, осматриваюсь. В предварительной камере всех держали вместе. Под окном — человек пять блатных: молодые ребята с неприметными лицами из породы «сталинских воров», то есть дети раскулаченных, сироты после первых посадок родителей, беспризорные военных лет. Сбоку оказался малый лет тридцати, которого я сразу не приметил, со страшно знакомой внешностью. Мы встретились глазами, и он замахал мне рукой: «Эй, начальник!» Начало ничего хорошего не обещало. На пересылках принято «права качать» и сводить личные счеты, но я за собой ничего подлого против блатных не знал, враждовал с ними всегда не из-за угла, а открыто. Поэтому следовало не уклоняться, а выяснить, в чем тебя обвиняют, идти навстречу судебному разбирательству, коль скоро оно началось. Пробравшись поближе к окну, я узнал слесаря-инструментальщика из цеха Линдберга, первостатейного профессионального вора-рецидивиста. Мы мирно начали раз-

говаривать; я припомнил, как ему пришло «освобождение» с зачислением в армию и он долго прятался под нарами, но все же попал к Рокоссовскому. Он рассказал, как дезертировал, затем попал под амнистию, украл, оказался в тюрьме, бежал и теперь снова за решеткой. У «судей», приготовившихся к драке, интерес явно пропал, когда они увидели, что мы не ругаемся. Один из них спросил моего обвинителя, не обижал ли я воров, и так как тот его успокоил, то больше к этому не возвращались. В другой обстановке, при другом «составе суда», с преобладанием садистов и злобных выродков, те же самые обстоятельства могли привести к тяжелой тюремной драке и даже окончиться смертью.

Встреча с Копелевым

Наконец, я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму. Наша камера была заполнена людьми вроде меня, приехавшими для отправки на шарашки. Народ подходящий, все больше инженеры-механики, электрики, радисты, — попадались и химики. Были и недавно осужденные, которых ждал лагерь. Прошло только дней десять, но я уже успел перебраться к окну, так как народ быстро сменялся.

И вот глубокой ночью я вдруг просыпаюсь от какого-то шума. Вижу, стоит посреди прохода черноокий, черноволосый красивый мужчина в расцвете лет, гвардейского роста. Конечно, я имею в виду не теперешних советских гвардейцев, а представителей старой русской гвардии. Он шумел, волновался, что-то рассказывал. Я понял, что его только-только осудили и дали десять лет. Он кипятился, не признавал себя виновным, кричал, что будет добиваться освобождения. Такое возбуждение для новичка, в общем, понятно. Я снова заснул, хотя он продолжал еще довольно долго разоряться. Перед самым утром меня опять разбудили: кто-то лез на меня. А так как я был сторонником свежего воздуха, кислородником, то ринулся на виновника с лагерной бранью: «дескать, что тебе здесь нужно, зачем закрывать окно».

— Да нет, я просто прикурнуть... — ответил он.

— А, — говорю, — ну, это другое дело. Давай забирайся, ложись. Только ты уж очень много орешь.

Утром, когда продрал глаза, познакомились. Это был Лев Копелев. Здесь, на нарах, завязалась наша дружба, непрерывно пресекаемая враждебными стычками и дли-

тельными «военными действиями», происходившими из-за неизменной приверженности Льва к режиму. За все годы нашего знакомства его установка сводилась к следующей формуле: «Если что-то у нас сегодня плохо, значит, надо исправлять». В те годы в тюрьме и на шарашке он вообще не шел ни на какие уступки, все считал замечательным. Шарашку и наши споры описал позднее А. Солженицын в своем «В круге первом», где Лев Копелев — прототип Рубина.

Советский режим перманентно связан с голодом, он не может или не хочет накормить людей. Казалось бы, война кончилась, неужели и тут надо людей морить? Но все равно у них то недостачи, то «узкие места», то «трудности роста»... Нам раздали наши па́ечки, какой-то чай. Смотрю, Лева подходит к котомке и достает целый настоящий белый батон, да к тому же еще свежий, ломает его пополам и протягивает половину мне. За эти семь лет я не то что вкус, но даже и вид белого хлеба забыл, и меня пленило бы, если он отделил бы только маленький кусочек. А тут — целая половина батона! Его царственная щедрость произвела на меня то же впечатление, что и рассказ грузинского профессора, звучавший еще в ушах, или новеллы князя. Широта натуры и душевное благородство выделяли Льва. Я очень люблю таких людей, но по своим воззрениям мы были полной противоположностью. Лев защищал с пеной у рта все, что делалось в этой стране. Надо сказать, что в то время такое поведение в тюрьмах было уже редким. О режиме мало кто мог сказать положительное. Было ясно, что это — логово барсуков, которые понастроили норы и живут теперь за счет других. Он считал, что я — ископаемое, чему виной — вера в Бога, мои оценки «февральской и октябрьской революций» в России и резкая критика действительности. Для меня, наоборот, он был допотопным чудовищем, когда вдруг начинал убеждать нас, что все, наоборот, замечательно, а мы не понимаем, какие на воле прекрасные порядки, так как давно здесь сидим и ничего не знаем. Допустим, я семь лет сижу, но из остальных ведь многие тоже только что с воли. Мне нравится живой обмен мыслями, по натуре я спорщик, и рад был встретить подобного оппонента. Ведь я успел уже забыть, когда таких и видел. А если они и попадались, то сразу было видно, что это стукачи, которые надели на себя личину. Но сейчас передо мной был фанатичный человек, кото-

рый заблуждался как-то не противно; во всяком случае, старался отстоять свои убеждения, ища доводы...

В общем, я воспринимал все как какое-то безобидное чудачество, но за него он мог в лагере поплатиться головой. Настроение среди заключенных было очень определенным. Их состав к тому времени уже резко сменился. Это был не сороковой год, когда преобладали люди советского режима, которые пресмыкались перед оперуполномоченным и лагерным начальством. Тогда мы жили в царстве стукачей. Сейчас народ был другой: фронтовики, власовцы, настроенные очень воинственно и не считавшие себя побежденными. «Мы их с горчицей схáваем!» — кричал Лев о фронтовых победах прошлых лет. Выступления Льва в такой обстановке были не совсем безопасными. Но Лева был молодец, он не считался ни с чем. К концу дня он предложил устроить какой-то вечер, и на нем закатил два стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Надо сказать, что выбор был неудачен и несвоевременен, и декламация была встречена крайне холодно.

Тем не менее это не помешало мне, несмотря на его нарочитую приверженность к режиму, разглядеть в нем замечательного человека. Необычайно эрудированный филолог-германист, знавший уйму языков, он был всегда душой общества.

Поскольку меня уже вызывали представители четвертого главного и было известно, что отправляют на какую-то шарагу, я сказал Льву, что приложу все старания, чтобы его туда тоже выцарапать в качестве переводчика или, скажем, библиотекаря, раз к технике он никакого отношения не имел.

Попав на шарашку, я пошел, не теряя времени, к начальнику и стал доказывать, что надо вызвать заключенного Льва Копелева. В этом деятельное участие принял Александр Солженицын, невзирая на то, что тогда ведал библиотекой и мог по приезде Левы потерять место.

Матрос из Освенцима

В этой камере я обратил внимание на молодого человека лет тридцати с мало примечательной внешностью: нос пуговкой, белесый, крепкого телосложения. Над левым соском у него был вытатуирован шестизначный номер, который мне бросился в глаза в бане. Он объяснил, откуда такое украшение. Потом мы разговорились, и он

подробней рассказал о своих приключениях. Звали его Виктор Трушляков. В начале войны из матросов с потопленных кораблей составили морскую пехоту. Ребята подобрались молодец к молодцу. К тому времени тупоумие и зверства Гитлера проявились уже в полной мере, и поэтому они крепко дрались не то под Севастополем, не то под Керчью, ходили в рост в атаку, словом, сражались по-настоящему. Его ранили, в беспамятстве он попал в плен, раза два убегал и, наконец, угодил в Освенцим, оставивший клеймо на его груди. Одним словом, хлебнул невзгод сравнимо с тем, что выпало на нашу долю зэков военных лет.

Через день-другой я мельком услышал короткую фразу из его разговора с одним химиком, когда они прогуливались по центральному проходу бутырской камеры, длиной метров в двадцать. Я в это время стоял возле нар. Мысль показалась мне очень знакомой в своей основе, но гораздо глубже и дальше разработанной, чем мои предположения и модели 1933 года. К тому времени я уже научился молниеносно соображать в критических обстоятельствах. В обычной обстановке я не люблю такую быстроту из-за грубости и однолинейности получаемых решений. Но в данном случае стремительность, с которой я выхватил центральную идею из услышанной мною фразы, объясняется тем, что, томясь в бездействии в камере, я мысленно восстанавливал в памяти свою гипотезу тридцать третьего года. В ней я рассматривал вселенную как систему сгущений различного вида частиц, а их взаимодействия — как совокупность сгущений и разрежений *. Целомудренный трепет охватил меня, и я приказал себе ничего не спрашивать у Трушлякова, а дойти до всего самому, благо неожиданно я получил подтверждение справедливости своих тогдашних мыслей. С Виктором мы попали на одну шарашку. Он с самого начала понял, что ему тут делать нечего. Его голова была полна изобретений. Так, он возился с идеей управляемого по радио танка, для чего были необходимы коробки скоростей с огромными числами, и я помогал ему в подборе и расчете планетарного редуктора. У него были и другие научные идеи; я же для него сделал десяток переводов с французского и немецкого, которыми занимался в надежде как-

* Эта гипотеза легла в основу книги Д. Панина «Теория густот. Опыт христианской философии конца XX века» (Париж, 1982).— *Прим. ред.*

то восстановить свою память. Отношения между нами были хорошими, однако я поставил ему условие никогда не излагать мне эту концепцию.

Я не взялся тут же за разработку своей идеи, так как чувствовал себя еще недостаточно подготовленным. Уж очень много пробелов образовалось. Поэтому незадолго до отправки Виктора из шарашки у меня состоялся с ним краткий разговор. Я просил в самых общих чертах изложить его мысли. Он говорил крайне невразумительно, может быть, сознательно темнил. Тогда я задал ему вопрос о природе силы при соударении двух тел. Ответ был идентичен евангельскому определению (Марк 5:30). Обнаружил я это много лет позднее, так как, конечно, никакого Евангелия в ту пору у меня не было. Я предполагаю, что эти взгляды ему изложил перед смертью один из католических монахов или священников в Освенциме.

Глава 16

НА ШАРАШКЕ (1947—1950)

Встреча с Солженицыным

Шарашка, куда поздно вечером в октябре сорок седьмого привезли меня и Трушлякова, находилась на окраине Москвы рядом с Останкинским парком в помещении бывшей духовной семинарии. Это была та самая шарашка, — один из конструкторских и научно-исследовательских объектов, использующих труд заключенных, — которой посвящен роман Солженицына «В круге первом». Ее обитатели блестяще им описаны. Когда мы приехали на шарагу, она была в стадии организации, серьезные работы еще не начинались. Режим для заключенных был сравнительно легким: подъем в семь утра, отбой в десять вечера, выходить из помещения можно было в любое время.

Умывальник временно стоял внизу у входной двери. Статный мужчина в офицерской шинели спускался по лестнице, когда на следующее утро я вытирал лицо выданным мне казенным полотенцем. Мне сразу понравилось открытое лицо, смелые голубые глаза, чудесные русые волосы, нос с горбинкой. Это был Александр Солже-

ницын. После этапа и месяца в московской Бутырской тюрьме я изголодался по воздуху и через несколько минут тоже выскочил за ним. Всего несколько зэков гуляли под старыми редкими липами обширного двора, заросшего травой. С меня не успели снять еще бандитские доспехи, поэтому я сразу оказался окруженным старожилами. Солженицын гулял один поодаль, но когда любопытство остальных зэков было удовлетворено, подошел ко мне и предложил пройтись вместе. Первый краткий наш разговор запомнился. «Когда я глянул вниз, спускаясь с лестницы, — сказал мне Солженицын, — в темноте площадки я увидел лик нерукотворного Спаса». Об изумительном человеке Солженицыне теперь пишут книги. Мне хочется сказать только, что Солженицын изобразил самого себя исключительно правдиво и точно в главном персонаже романа — Глебе Нержине.

Восьмая заповедь зэка

К тому времени, когда Лева Копелев прибыл на шарашку, мы были с Саней Солженицыным уже в дружеских отношениях. Лев тоже коротко сошелся с Саней, так как у них было много общего: оба воевали на одном фронте, учились в одном институте, имели ярко выраженную склонность к изящной словесности... Лев — кладезь литературной эрудиции, был необыкновенно осведомлен также в вопросах истории, политической жизни страны; их дружба вполне понятна и оправдана. Труднее объяснить, как я затесался в их компанию, тем более что со Львом мы расходились по всем главным вопросам современности и прошлого. Я думаю, что в то время вошел в их единство как антитеза и возмущающая сила. Не в упрек автору «Круга», который вовсе не обязан был дать фотографию действительности, следует сказать, что описанные там споры Рубина и Сологдина — лишь бледная тень того, что было на самом деле. Как нападающая сторона, Сологдин вынужден был называть вещи своими именами и громить сталинский режим совершенно бескомпромиссно. Это вызывало ярость и резкие возражения Рубина, так как невозможно было защитить эту систему по существу. За любой спор один мог заработать срок в двадцать пять лет за «клевету», а другой — десять лет за недоносительство. Вряд ли следовало описывать эти споры в романе, написанном для московского журнала «Новый

мир», и в «Круге» они даны в очень смягченном варианте.

Кроме того, несдержанность Льва объяснялась тем, что по сравнению со мной, старым, испытанным дуэлянтом, он спорить не умел. Впервые здесь, на шарашке, он узнал, что́ представляет собой обмен мнениями внутренне свободных людей. До этого в своей среде он встречался лишь с теми, кто был со всем согласен или помалкивал, поскольку откровенный разговор в партийных компаниях был чрезвычайно рискованным. Более того, я убедился, что борьба мнений, как средство отстоять истину, была незнакома Льву. Ему казалось достаточным одержать временный тактический успех, поэтому, постоянно чувствуя, как почва уходит из-под ног, он начинал горячиться, кричать и даже ругаться. Порой мне казалось, что он готов меня убить, но через день-два все входило в норму, и вскоре при первом удобном случае споры возобновлялись. Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру.

Первые полгода, когда работа шарашки только налаживалась, мы провели много прекрасных вечеров в помещении библиотеки. Лев рассказывал о своих фронтовых похождениях и делился богатыми наблюдениями о немцах, с которыми встречался как переводчик. До сих пор мне жаль, что только несколько вечеров были посвящены чтению стихов. Оба — Лев и Солженицын — декламировали изумительно. Однажды я упросил их почитать раннего Маяковского. Лев выбрал отрывки из поэмы «Облако в штанах», а Саня — «Флейту-позвоночник». Оба не жаловали поэта, но читали всё равно его стихи с большим пониманием. На мой взгляд, пальма первенства принадлежала Сане, так как, обладая артистическим талантом, он мимикой дополнял звучание и смысл стихов.

В двадцатые годы я не разделял переживаний моих сверстников, увлекавшихся Есениным, Маяковским, Пастернаком. Первый казался мне простоватым и непоследовательным; второй был ненавистен ярой советской политической направленностью; третий вызывал зевоту. До «Доктора Живаго» ему предстояло тогда еще повариться в советском котле лет тридцать. Однако в лагере я впервые взял как следует в руки Маяковского, и в ту веху жизни он затронул струны моей души грубой силой и на-

глостью, гармонируя с окружающим нас лагерным зверством. Впоследствии, в ссылке, я основательно разобрался в его творчестве и неразрывно связанной с ним личности, но на шарашке нас забавляли его ранние стихи периода увлечения футуризмом и хождения в желтой кофте.

Солженицын — человек уникальной энергии, и сама природа создала его так, что он не знал усталости. Он частенько терпел из вежливости наше общество, про себя жалея часы, пропавшие из-за такого времяпрепровождения, но зато, когда был в ударе или разрешал себе развлечься, — мы получали истинное наслаждение от его шуток, острот и выдумок. В таких случаях румянец Сани усиливался, нос белел и становился как бы вылепленным из алебастра. Не часто выходило наружу и другое его качество — присущий ему юмор. Он умел подметить тончайшие, ускользающие обычно от окружающих, штрихи, жесты, интонации и артистически воспроизводил их комизм, так что слушатели буквально катались от хохота. Но разрешал он себе это, увы, крайне редко, в самом узком кругу и только тогда, когда видел, что это не идет в ущерб его занятиям.

После шарашки нам пришлось просидеть в Бутырках тридцать пять дней, ожидая отправки в спецлагерь, и бóльшую часть времени мы провели только вдвоем. По вечерам Саня по свежим следам разыгрывал импровизированные сценки, имитировал различных собеседников, чаще всего — диалоги между начальством и зэками. Коронным номером была передача телефонного разговора начальника акустической лаборатории и оперуполномоченного Шикина, и я часто упрашивал Саню повторить их беседу в его интерпретации.

В свои произведения, принадлежащие мировой литературе, Солженицын сумел вложить тонкий юмор в великолепной дозировке; как жемчуг, он рассыпан и в романе «В круге первом». В русской литературе почти отсутствует мягкий смех, так как бичующая сатира — иной природы, и для меня по этой причине Солженицын занимает, бесспорно, первое место.

Гораздо чаще организатором вечеров был Лев, и первые месяцы прошли преимущественно под его знаком зодиака. Как-то я поведал своим литературным друзьям, что не очень люблю русские стихи, поскольку не нахожу в них призывов к рыцарству, благородству, подвигам...

и привел строфу скаутского гимна: «Не страшись работы и опасности, помни, что ты молод и силен». «Это не поэзия!» — разом воскликнули они. Тогда я попросил указать мне поэта, где подобные мысли отражались бы в подлинно поэтической форме. За обветшалостью мы не стали трогать восемнадцатый век. В девятнадцатом самые известные поэты насмехались, издевались, низводили, но не воспевали рыцарства: переводные баллады Жуковского были лишены динамизма и выглядели пресными, остальных эта сторона вообще не трогала. В двадцатом веке Лев обнаружил не совсем то, что мне хотелось, но по духу близкое и созвучное: на память он читал Гумилева, которого любил и почитал. Расстрелянный Лениным в 1921 году поэт не только не был издан при советской власти, но всячески замалчивался, и для нас его стихи были очередным открытием. Саня в ту пору любил Есенина, прочел нам как-то несколько лучших его стихотворений, но поклонников в нас не нашел.

С годами я несколько изменил свою оценку: я стал считать, что удачно подобранный сборник стихов Есенина сможет возжечь любовь к земле и нормальной крестьянской доле в тех, у кого эти чувства специально вытравливались в колхозные десятилетия. Лев пробовал приучить нас к Багрицкому, но не преуспел: не пленила ни форма, ни содержание. Зато Лева покорил нас исполнением романсов Вертинского. Он не только с большим чувством воспроизводил мелодию и слова, но удачно копировал характерные жесты, и, глядя на него, я охотно извинял все его увлечения марксизмом-ленинизмом-сталинизмом.

Друзья всюду были моей семьей. Так было и на шарашке: восьмая заповедь зэка подтверждала свою правильность.

Язык предельной ясности

Язык, на котором мы говорили, я прозвал птичьим. Он содержал в себе множество иностранных заимствований, непонятных или малопонятных большинству на нем говорящих, и мои обличения сопровождались восхвалением «языка предельной ясности», на котором я будто бы уже разговаривал. Реализация моей гипотезы вносила в нашу жизнь оживление, шутки, смех. Лев был великолепный филолог и лингвист. Саня уступал ему в знании

иностранных языков, но по глубине понимания русского он уже тогда не имел себе равных. Поэтому мои нападки и утверждения встречали доводы блестящих оппонентов. Я приводил следующие доказательства:

— Огромное число слов в современном русском языке иностранного происхождения. Они инородны, непонятны, со славянскими корнями не связаны. Употребляя их, мы жертвуем точностью как в передаче своих, так и в восприятии чужих мыслей и создаем мираж кажущейся ясности. Поэтому нас захлестывают волны неточности, двусмысленности, скрытой неразберихи. Наше мышление и деловой обмен мыслями напоминают телеграфную связь, которая превращает слова в точки и тире, но допускает при этом постоянные промахи. В нашем разговорном обыденном «птичьем» языке мы себя затрудняем еще менее в точности выбора слов, быстро их выговаривая и часто ошибочно вкладывая в них не совсем тот смысл, который имеем в виду. В результате — открывается дополнительная возможность подмен, подтасовок, искажений, обманов.

— Язык «предельной ясности», по моему замыслу, должен состоять из нескольких сот элементарных слов, ясных еще с детства. Несколько тысяч более сложных понятий возникает из них, поэтому должны быть переданы многослоговыми составными словами или целыми фразами. На первых порах понадобятся словари, но поскольку корни обжитые и знакомые, символы запомнятся быстро.

— В научной сфере язык предельной ясности незаменим, так как дает возможность наиболее точных определений применяемых понятий. Но для рабочих манипуляций и связи с другими языками он допускает и даже рекомендует международные термины, объединяющие многословные выражения.

— Такой язык создать возможно. Я, не будучи лингвистом, один, кустарным путем слепил его живую модель. Конечно, это было лишь жалким подобием настоящего языка предельной ясности, который должны были разработать знатоки и специалисты своего дела.

Много раз я предлагал Льву заняться разработкой этой проблемы, и, на мой взгляд, он напрасно отказывался. При его громадных познаниях, великолепной памяти, работоспособности, живости ума он один вчерне за несколько лет справился бы с этой задачей и на воле мог бы продолжить свои изыскания. Много людей сказали бы

ему спасибо. Используя изложенные принципы, тщательно разработав свою терминологию и непрерывно ее уточняя, мне удалось приподнять завесу над загадочными величинами физического мира — пространством и временем, что нашло отражение в книге, которую я надеюсь вскоре опубликовать на Западе*.

От моих предложений Лев, конечно, открещивался, поскольку они исходили от человека с чуждой ему идеологией, и напоминал мне, в этом отношении, коммунистов первых годов захвата власти. У этих темных и малоразвитых людей ничего в арсенале, кроме «классового чутья», не было: население они делили на тех, кого надо поставить к стенке немедленно, и тех, кого следует только ограбить. Естественно, к «чуждым» у них никакого доверия не было, и то, что им говорили и предлагали, рассматривалось как вражеская буржуазная вылазка. Все становилось, таким образом, предельно простым; думать не требовалось. Не мог Лев также примириться и с тем, что рекомендация исходила не от профессора или равного ему доцента, а от безвестного человека без ученой степени и звания. Кроме того, Льву, всю жизнь утопавшему в пучине кажущейся ясности, в силу направленности самой задачи, надо было бы перебороть в себе многолетние привычки и перейти к точному мышлению. Конечно, это принесло бы ему огромную пользу, но одновременно пришлось бы поступиться частичкой своей гордости и самолюбия, а главное — расстаться с грудой заблуждений относительно коммунизма и способов его достижения. Но Лев, наоборот, питал фанатическое доверие к постулатам марксизма и лишь из его цитатника ожидал направляющих идей для своих будущих работ.

Этому настроению, наверное, содействовало также бурное наступление мичуринцев на «буржуазную» генетику, открытия Лепешинской — предложение создать живые клетки из гидр, перемолотых в ступе, — объяснение происхождения мира Опариным... Марксистские открытия, которые полностью вдохновлялись цитатами из Энгельса, вызывавшими смех и издевку умных людей, оказались, как и следовало ожидать, вопиюще безграмотным шарлатанством и очковтирательством. Но тогда это еще не обнаружилось, в открытом, понятном для рядовых

---

* Речь идет о «Теории густот». Дополненное ее издание вышло в ноябре 1990 года на французском языке. *(Прим. ред.)*

людей виде, и Лев, со свойственным ему увлечением, принялся разрабатывать знаменитую по своему верхоглядству мысль Энгельса, в которой утверждается, что человек произошел от обезьяны, коль скоро она начала своими лапами производить осмысленный труд. Лев схватился за это место и стал нас заранее уверять, что все языки мира произошли от слова «рука». Много смеха принесли нам его изыскания и открытия. Карманы Льва разбухли от самых разнообразных иностранных словарей, и всюду он находил подтверждение гениальной идеи Энгельса, ставшей теперь как бы его собственной. Но замыслы Льва претерпели удар судьбы. Солженицын правильно отметил в «Круге», что добрые чувства испытывали ко Льву только его идейные враги, а от единомышленников он получал лишь пинки и неприятности. Так произошло и в данном случае. Корифей наук, генералиссимус всех учений Сталин своей сверхгениальной работой в области языкознания ниспроверг учение Марра о классовой природе языков. Тем самым уничтожался и замысел Льва, поелику Марр тоже питался схожими цитатами из Энгельса и преследовал цель доказать их справедливость.

Мы были благодарны Льву за веселые минуты, которые он нам доставил своими «открытиями». Язык предельной ясности забавлял нас дольше, так как я в нем упражнялся все два с половиной года нашего совместного пребывания. Рациональное его зерно нашло применение в служебных работах того же Льва, когда в разрабатываемой им теории артикуляции появились обозначения новых терминов, выраженные понятными, родными словами, как, например, «звуковиды», «стержень», «видимая речь»...

В годы, когда мы ломали копья в спорах, а я из кожи лез, чтобы подтвердить важность языка предельной ясности, в Риме умирал необыкновенный поэт-мыслитель Вячеслав Иванов. По приезде на Запад я познакомился с его повестью о Светомире Царевиче и был очарован не только глубиной и силой этой вещи, но в первую очередь ее языком. Это был для меня праязык предельной ясности, созданный из истоков мудрости и всеобъемлющего взгляда на жизнь. Мой язык мог бы рассматриваться как один из лучей его сияния.

Реабилитация Сологдина *

Первое время на шарашке мне поручили разобраться в станочном оборудовании, вывезенном, главным образом, с предприятий немецкой фирмы Лоренц. Я был предоставлен самому себе, свободного времени хватало. Сначала я сделал попытку вернуть память, разучивая правила немецкой грамматики, потом занялся переводами из технических немецких и французских журналов. В результате я понял, что механическая память утеряна мною безвозвратно: мне надо было сто раз повторить слово, чтобы его запомнить, вскоре оно все равно забывалось. Но то, на чем сильно концентрировалось внимание или заставляли бессознательно сосредоточиться события жизни, оставалось накрепко в памяти, и эта особенность дает мне возможность составить эти Записки. Я утешал себя тем, что если у слепых обостряется осязание, то при отсутствии памяти у меня усилится интуиция. К тому времени главная моя цель — сделать свой скромный вклад в общее дело людей доброй воли — начала отливаться в определенную форму. Я должен был:

— способствовать выполнению людьми воли Бога;

— защитить в первую очередь рядовых тружеников от обрушиваемых на них злодейских козней.

В технике я привык использовать законы механики и физики. Вступая на зыбкую почву истории, социологии, философии, я понял, что не смогу сделать ничего полезного, если не сумею опереться на универсальные законы, действующие не только в физическом, но и примыкающем к нему трансфизическом мире, формирующем души людей и связанные с ними закономерности в жизни общества. На исполнение этой задачи я затратил, правда, с большими вынужденными перерывами, десять лет жизни, с 1948 по 1958 гг. **

В начале сорок восьмого я начал обдумывать вопрос, давно занимавший мое воображение. Со студенческих лет у меня создалось двойственное отношение к законам диалектики Гегеля, над которой Маркс произвел, как он считал, операцию переворачивания с головы на ноги. Занимаясь техникой, я не имел возможности разобраться в этом раньше. Но ошибка Маркса для меня была

* Панин — прототип Сологдина в романе Солженицына «В круге первом». *(Прим. ред.)*

** Панин Д. «О законах развития» (рукопись) и «Теория густот». *(Прим. ред.)*.

очевидной, поскольку на основании одного и того же закона он устанавливал одновременно два взаимоисключающих положения. Он утверждал, что антагонизм между классами капиталистов и пролетариев представляет собой движущую силу общества, то есть признал, что в нем действует закон развития единства как борьбы противоположностей. Но, по Марксу, эта борьба заканчивалась безраздельной победой пролетариата: оставался один класс. То есть он, видимо, считал, что капиталисты истреблялись, а крестьяне, ученые, инженеры и прочие исчезали или сливались с пролетариями. При этом развитие должно прекратиться, а общество — развалиться, коль скоро для образования единства требуются борющиеся противоположности, следовательно, минимум две вместо одной оставшейся. Иначе остается признать, что законы диалектики — придуманный вздор, не имеющий реальных корней в жизни общества. Пятнадцать лет я прожил с этой загадкой и, наконец, решил выяснить ценность этих законов. Мне было ясно, что они должны управлять явлениями в технике и в точных науках, если являются универсальными законами природы. Если они там не приложимы, то место им — в мусорном ящике. Я стал на точных примерах изучать методы приложения трех законов диалектики Гегеля. Начал я с процессов термодинамики: изотермическое расширение-сжатие, цикл Дизеля...

Главная ценность законов развития, как я их величал на языке предельной ясности, — их применение в сферах, где еще слабо изучено действие законов природы: в социологии, биологии, науке о мироздании, в богословии...

Во время споров со Львом я переходил к процессам обыденной жизни, таким, как мытье кастрюли, изготовление стола, покраска пола... Я считал, что когда просто подымаешь руку, то все универсальные законы должны сказываться на этом действии, и, при желании, они могут быть описаны. Лев бушевал, клеймил презрением мои столь низменные примеры, кричал, что это профанация, что законы диалектики приложимы к центральным явлениям бытия... В силу такого настроя, верней, полной неподготовленности к их инженерной трактовке он не извлек из наших споров той большой пользы, которая помогла бы ему разобраться в его мировоззрении.

Я не поклонник философии Гегеля, так как его общая схема ошибочна в центральном своем положении: абсо-

лютный дух познает себя в своем развитии. Такой слепорожденный дух не может существовать даже в аду. У меня не вызывало сомнений, что Бог творит в полную силу Своего сверхвеликого гения, создает развивающиеся миры, наблюдает их становление, корректирует, исследует объекты со свободной волей... Бог — это любовь, истина, свобода, а они требуют ясного сознания с самого начала творчества.

С другой стороны, открытые гением Гегеля законы развития делают его равным Ньютону и Эйнштейну, и удивительно, что он их извлек в метафизических высотах и лишь впоследствии наметил их приложимость также к соотношениям земной жизни.

Мои упражнения в освоении законов развития нашли отражение в разговорах Нержина с Сологдиным и в спорах последнего с Рубиным в романе «В круге первом».

Весной сорок восьмого шарашку передали в распоряжение министерства государственной безопасности (МГБ). Я попал в конструкторское бюро, Саня и Лев — в акустическую лабораторию. Я постарался занять место, дававшее мне наибольшую самостоятельность и наименьшую занятость. В то время у меня возник план объяснения мира из одного истока, и я поставил себе цель — понять физические основы механики *. Иными словами, я хотел выяснить мучившие меня несообразности, как, например, почему время, помноженное на силу, равно массе, помноженной на скорость, или почему сила равна массе, помноженной на ускорение. Ведь с детства еще остались правила недопустимости умножения пудов на аршины... В механике все это оказалось возможным, а главное — совершенно правильным, и для меня начали проясняться некие единые первичные образования. Для поисков требовались время и спокойствие. Первое было в моем распоряжении, так как я широко применил седьмую заповедь зэка: «мораль рабов — чекистам»; второе я черпал в молитве, а впоследствии, частично, и в йогине.

В бюро было два вида работ: нужные чертежи панелей с комплектованием их в стенды и разработка механических шифраторов. Вторая работа была недопустима, так как я ее осудил как укрепляющую режим стали-

---

* Природа явлений классической и релятивистской механики рассмотрена в работе Д. Панина «Механика на квантовом уровне» (Париж, 1988). — *Прим. ред.*

низма. На первых порах она нам казалась все же чисто гражданской, и я не сопротивлялся, когда мне поручили разработать один из вариантов шифратора. Я смастерил примитивную конструкцию, чтобы поскорей отвязаться. Профессор-математик несколько раз подходил ко мне во время работы и расспрашивал о моем первенце. Опытному дешифровщику была очевидна слабость моего решения, но он не подал вида, не предупредил меня, хотя, как порядочный зэк, обязан был это сделать. На защите моего проекта коварный математик без труда доказал, что раз все устройство представляет систему колес, то применение гармонического анализа позволяет без труда снять шифрующие помехи, и время на это требуется небольшое... Разгром был сокрушительным. За такую неудачу меня могли сразу отправить в лагерь, но, видимо, к этому времени администрация взяла в толк, что нельзя без необходимой подготовки немедленно требовать результатов. Я решил сыграть ва-банк и заявил о своем несогласии заниматься шифраторами, пока не будет возможности отказаться от колес, как их основы, а тем временем предложил выполнять расчеты и составлять расчетные методики. Подумав, начальство согласилось, и таким образом у меня образовались все возможности для реализации задуманного плана.

В мастерской производился ремонт какого-то механизма. Как обычно, в таких элементах связи мощность привода была ничтожной — измерялась в ваттах, а зубья колес были сильно сработаны. Я заинтересовался этим явлением и высказал предположение, что износ определяется множеством микроударов, возникающих от неточности изготовления зубчатых колес. Наиболее подходящим оказался способ расчета Бекенгейма, который мне удалось переработать для передачи ничтожно малых мощностей с помощью зубчатых зацеплений различного типа. Получаемые в ходе расчетов размеры колес — модули — отвечали нормам, нащупанным вслепую в ходе эксплуатации схожих систем. Эти соображения в какой-то мере компенсировали мой провал с шифратором. В бюро мой небольшой и малозаметный авторитет был установлен достаточно прочно, но внутренне я, конечно, был собой страшно недоволен. Зная наперед, что никакого решения от меня чекисты не получат, я исподволь принялся обдумывать схему механического шифратора с единственной целью — восстановить нарушенное к са-

мому себе доверие. Позже, ознакомившись с йоговским учением, я понял, что интуитивно нащупал основной прием раджа-йоги: приближаешься к теме, формулируешь задачу и, начав над ней работать, отстраняешься; тогда продолжает ее решать надсознание; при новом приближении что-то еще проясняется, ты опять отстраняешься, и этот прием используешь много раз — до полной победы. Проблема оказалась достаточно сложной, и, применяя свой метод поиска, я через год нашел решение, которым, кроме меня, остался доволен высший авторитет в области дешифрации профессор Тимофеев, прекрасно выведенный Солженицыным под именем Челнова. Совсем без колес обойтись, конечно, не удалось, но я спроектировал механизм, воспроизводящий шатунные кривые высших порядков. При этой схеме сложнейшая кривая, вычерчиваемая тремя последовательно связанными шатунами, может повториться только через десятки тысяч лет. Механизм, конечно, не воспроизводил хаотического движения, но при том состоянии техники расшифровка потребовала бы многих лет работы. По моей просьбе, удалось провести экспертизу в полной тайне, поэтому никаких объяснений с начальством у меня не было. Профессор предложил совместное оформление моей идеи, рассматривая это как шанс досрочного освобождения. Я изложил ему свою точку зрения о недопустимости вооружать этот режим, и в один из дней, когда производили периодическое уничтожение черновиков и ненужных бумаг, сжег все материалы, связанные с шифратором.

Однако ни шифратор, ни текущие работы не отрывали меня от основной задачи в области понимания существа механических явлений. В 1933 году мне показалось правильным рассматривать вселенную как совокупность сгущений-разрежений различного вида веществ и силовых полей. На основе этой гипотезы я довольно удачно находил объяснение явлений в электрических и гидравлических машинах. Мне следовало бы перейти на физический факультет университета, если бы не любовь к технике. Так или иначе, но через пятнадцать лет мне снова пришлось вернуться к моей старой гипотезе. Помог и разговор с Трушляковым*. Результаты не заставили себя ждать, и уже к концу сорок девятого я вчерне сформулировал «Закон движения вещей», который позже изложил в работе «Механика на квантовом уровне».

---

* См. гл. 15,

Я спокойно и успешно продолжал работать на шарашке вдали от авралов и штурмовщины. В семь был подъем, после зарядки я пилил и колол под открытым небом дрова, с девяти до часу и с двух до восьми работал, причем, в основном, не на «органы», а с девяти до половины одиннадцатого устраивал ежедневное вечернее бдение опять — на себя. Для укрепления здоровья спал всегда под открытым окном, в воскресенье, кроме дров, никакой работой не занимался. Питание я получал по низшей категории, кроме того, выдавали на теперешние деньги три рубля в месяц; отношение начальства ко мне было, в лучшем случае, прохладное, и на досрочное освобождение никаких надежд не было. Но зато, занимаясь гимнастикой, я распределял свое время таким образом, что мог читать несколько книг в месяц и беседовать с друзьями.

Внезапно четвертого ноября нормальный ритм был нарушен, и человек двадцать зэков, в том числе профессора Тимофеева, Льва и меня, отвезли в Бутырки, где мы просидели целую неделю. Строго говоря, обижаться было не на что: мы жили, по сравнению с лагерниками, в свое удовольствие и ничего страшного не было в том, чтобы недели две в году провести в закрытке. Я легко переломил бы в себе обиду, если бы не досадовал так на стукачей, которых расплодили в невозможных количествах при полной безнаказанности. В атмосфере усиливающегося психоза бдительности постоянные стычки на чужих людях со Львом и мое пребывание после десяти лет отсидки на явной заметке у оперуполномоченного показывали, что держаться за шарашку резона не было. К тому же я стремился закончить лагерное образование пребыванием в спецлагерях, о которых мы, со слов очевидцев, составили к тому времени достаточно верное представление, и для меня это было не последним соображением.

Несколько месяцев я уединялся от друзей на дневных прогулках, взвешивал все «за» и «против», молился, просил Бога меня надоумить. В спецлагерях, в которые я потом попал, мне было отнюдь не сладко, но я ни разу не пожалел, что не остался на шарашке. Я получил под конец тот опыт, которым не в состоянии была меня снабдить нынешняя жизнь, и, в свою очередь, мне предоставилась возможность отдать многолетние накопленные знания и размышления зэковскому братству, что в условиях шарашки делать не имело смысла.

Придя к такому решению, я с марта месяца приступил к его осуществлению: демонстративно не желал работать, задания всячески затягивал и сдавал только после нескольких напоминаний, часто огрызался, вечером иногда не выходил на работу. Когда весной на поверке вызывали желающих на уборку двора, обращаясь, естественно, только к работягам, я нагло изъявлял желание и целые дни загорал на весеннем солнце. Никто из инженеров, дорожащих своим положением, о таком времяпрепровождении не смел и помыслить.

У Солженицына были свои соображения, чтобы уехать, и он раза два присоединялся к моим вылазкам. 19 мая мы мирно беседовали, сгребая листья, как вдруг к нам подошел знакомый читателю «Круга» младшина и извиняющимся тоном сообщил: «Панин и Солженицын, собирайтесь с вещами!» В тот же день нас отправили в Бутырки, откуда через тридцать пять дней этапировали в Казахстан, в Экибастуз. Когда я подошел к окошечку, чтобы сдать записанный на меня измерительный инструмент, секретарь парторганизации, числящийся конструктором, а потому хорошо меня знавший, предложил мне написать заявление, чтобы меня оставили. Я поблагодарил и ответил, что в этом не нуждаюсь. Скорей всего это была злая шутка чекистов в инженерных погонах, которых мой независимый вид и слишком самостоятельное поведение раздражали, и они решили посмотреть, как я стану хвататься за соломинку, а затем просто посмеяться над обнадеженным человеком. Возможно, что постаралась дама, выведенная в «Круге» под именем Еминой, с которой у нас были шутливо-влюбленные, но абсолютно платонические отношения.

Следует реабилитировать Сологдина и за его чудачества. Колка дров была в высшей степени разумна и необходима для здоровья, так же как приоткрытое окно ночью, дававшее приток свежего воздуха в камеру; некоторые фразы в спорах могли быть сказаны Сологдиным только в шутку.

В интервью, данном американским корреспондентам в 1972 году, Солженицын объяснил, что существует вторая подлинная версия романа «В круге первом». Я надеюсь, что, когда она будет издана, Сологдин будет реабилитирован самим автором и превратится из бабника и карьериста в нечто более достойное и близкое своему прообразу.

Глава 17

НА ШАРАШКЕ

(Продолжение)

Чистые сердцем

«Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят».
(Мф. 5 : 8)

Давным-давно внешние признаки перестали для меня иметь значение. Нет для меня ни эллина, ни иудея; я не отбрасывал людей за принадлежность к коммунистической партии, на безбожников научился смотреть как на братьев, требующих скорой помощи... Я старался заменять эти названия оценками по существу, проверять человека по тому, удовлетворяет ли он следующим признакам:

— одних слов мало, нужны дела;

— доказывай, отстаивай свои убеждения, но умей признать себя побежденным и отойти от ошибочного, тогда только двинешься вперед...;

— люби ближнего и помогай ему сегодня, а не в расчете на будущие поколения. Спроси его, что нужно, а не навязывай свое;

— не разжигай злобы, зависти; гаси мстительные чувства. Помни, что люди — братья и многое можно решить мирным путем. Когда же потребуется, умей заступиться за обиженных и сражаться средствами, не уступающими нападающей стороне.

Для некоторых людей достаточно одного признака, и они пленят тебя сильнее, чем те, у которых много других качеств. На моей родине остались единицы людей зрелого возраста из чудесной породы чистых сердцем, и режим подавления поставил на них высокую пробу и гарантию крепости.

Таким был Копелев. Как-то раз, в один из периодов наших мирных с Львом отношений, сидели мы вечером после ужина на койках. Задумчивая улыбка блуждала на его губах, и, скинув на мгновение панцирь партийности, он прочитал задушевно на память из апостола Павла:

— «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или ким-

вал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы». Как хорошо сказано, — проронил он. — Не будь марксизма, стоял бы я за это горой.

— Лев, — ответил я. — Вот сейчас ты настоящий. Брось упираться, мусор не защитишь. На пиру мужей ты останешься смешным и жалким. Если же возьмешь на вооружение истину, то будет мало тебе равных. В моем сердце славянский Перун свил гнездо; христианство для меня — обитель спасения, источник чистоты и великих поучений... Только, увы, часто, как и большинство людей, я бывал далек от требований Спасителя... Я трачу много сил на преодоление соблазнов, на то, чтобы скрыть свои недостатки, быть отзывчивым, побороть высокомерие, насмешливость, ибо обязан себя исправлять. Ты, наоборот, сознательно себя портишь, но чуть высунешься из своей скорлупы, как добро из тебя так и лезет. Ведь ты христианин в душе, и тебе можно только позавидовать.

Десять минут расслабления перед звонком на вечернюю смену помогли прогнать усталость, и Лев снова стал убежденным сторонником коммунизма.

Второй такой человек — самая близкая мне в последние годы женщина — моя жена перед Богом. Она родилась в 1922 году, и своей матерью-идеалисткой была воспитана в лояльности к режиму. Училась она в знаменитой московской 25-й образцовой школе, где были дети высокопоставленных кремлевских сановников, в том числе Светлана и Василий Сталины. Студенткой в патриотическом порыве ушла добровольцем на фронт, где была в армейской разведке и получила контузию. По тогдашней традиции, во время боевых операций вступила там в партию, в которой состояла тридцать лет. За эти долгие годы несчетное число раз отсиживала на партийных собраниях, но грязные партийные поручения обходили ее стороной, так как всем было ясно, что с дерзновенной смелостью она от них откажется. В 1943 году ее таскают к следователю по делу Аркадия Белинкова*

* Талантливый критик и писатель, осужденный на 10 лет за рукопись романа. Умер в 1971 г. в США.

и других арестованных молодых людей, но ничего от нее добиться не могут. В годы усиления диктатуры, перед смертью Сталина, она безбоязненно выступает в защиту человека *, объявленного врагом народа, после чего начинаются гонения, увольнение с работы. В семьдесят первом, после двух инфарктов, эта нежная хрупкая женщина, перед нашим отъездом на Запад, проводит одна сражение со сворой партийных чинуш. Ей удалось втайне от них сделать магнитофонную запись, являющуюся документом эпохи; в ее голосе звучит металл полководца. Я никогда не поверил бы, если бы не знал ее жизни, что она хоть неделю могла находиться в партии, — столь чиста она, отзывчива и бесхитростна. Дом этой женщины был приютом обиженных и гонимых, им принадлежало ее свободное время, и нуждающимся оказывалась помощь. От дурных поступков ее всегда сохраняла чистота сердца, а добрые дела укрепляли душу.

Потаповы

С инженером, который в романе «В круге первом» назван Потаповым, я не сказал на шарашке, пожалуй, ни одного слова. Я испытывал к нему резкую антипатию, хотя ни мне, ни другим товарищам он не сделал ничего плохого. Достаточно о нем вспомнить, как я мгновенно заряжаюсь презрением, как будто по мне пробегает искра от индуктора. Но я воспринимаю этот персонаж Солженицына иначе, чем он.

Для меня Потапов — символ людей доброй воли, которые забыли свой долг, высшие обязательства перед людьми и полезли на брюхе прислуживать, а по существу, подпирать и спасать режим террора и угнетения. Он понимал все не хуже нас, но никогда не высказывал своих потаенных мыслей, а беседовал только на нейтральные темы с такими же, как он, умниками. Смертельно боялся он не угодить начальству и попасть на заметку оперуполномоченному. Он был человек незаурядных способностей, хороший инженер и лез из кожи вон, чтобы прослыть незаменимым специалистом. В этом он вполне преуспел, удержался дольше всех на шарашке, хотя не был специалистом по телефонии, а обслуживал только технику измерения. Солженицын назвал его недоуменным роботом. Под робота он действительно маскировал-

* Л. Е. Пинский, преподаватель филологического факультета МГУ. *(Прим. ред.)*

ся, но недоуменности, то есть сомнения, колебания вследствие непонимания — в нем не было ни на грош. С природным трудолюбием роботом быть легко, и такое положение дает много преимуществ: безопасность, хорошее отношение начальства, повышенное питание, предельный в тех условиях заработок, свидания с женой. Большинство заключенных относилось к нему благожелательно, так как он отвечал двум главным требованиям: не был стукачом и вором. В общем восприятии он был человеком положительным, умел расточать улыбки и пересыпал свою речь цитатами из пушкинского «Евгения Онегина». Я видел его нутро, и его двойная, по существу, игра была мне отвратительна. Когда распропагандированный с детства человек, испорченный и разложившийся, думает только о себе и плюет на остальных — это понятно, и ко множеству встречавшихся на моем пути я зачастую испытывал чувство горечи и жалости, видя, как их страшно изуродовали. С Потаповым дело обстояло иначе. До 1917 года он успел еще поучиться в реальном училище, изучал Закон Божий, воспитывался в христианской семье, знал, как многие из его родни и окружения были посажены, расстреляны, высланы... и предпочел забраться в скорлупу благополучия, надев личину управляемого робота. До войны ему—ведущему инженеру Днепровской электростанции — удалось избежать ареста в 1937 году. Оказавшись во время войны в плену, он думал только о том, как уцелеть и по возвращении не испортить отношений со сталинской деспотией, но просчитался. Исключений для военнопленных не делали; органы его не пощадили и дали десятку. В заключении он побивал рекорды трудолюбия и лакейской старательности, после шарашки, на воле, быстро приобрел квартиру, обстановку, машину, дачу... Ему всегда были безразличны те, кто борется, недоволен, кого мучают, лишь бы самому хорошо, а там — хоть трава не расти. Таких, как Потапов, много, и в их среде он был хорошо принят. О тех, кто действовал, прислушиваясь к голосу совести, он рассуждал как о неудачниках, чудаках, лишенных чувства реальности. Случайно мы встретились у общего знакомого в середине шестидесятых годов. Потапов был высокомерен, самодоволен, как и ранее, не проронил ни слова в разговорах, которые велись о политических событиях, и оставил во мне гадкое впечатление.

Потаповы, только постарше нашего героя на десять,

пятнадцать, двадцать, тридцать лет, явились истинными виновниками катастрофы, начавшейся в 1917 году.

Потаповы — офицеры в Петрограде и в Москве — отсиживались в октябрьские деньки семнадцатого года по квартирам, играли в преферанс и пили кофе. Они держали, как любили тогда говорить, нейтралитет, иными словами, — не вмешивались в события всемирной важности. Если они не понимали общего смысла происходящего, то обязаны были хоть позаботиться о своей судьбе. Одним мешали интеллигентские бредни, другим — нерешительность и робость, но большинство не хотело жертвовать собой. Такая позиция привела к поражению Временного правительства, разгрому юнкеров в Москве, разгону Учредительного собрания. Потаповы надеялись, что кто-то за них справится с горсткой сагитированных матросов и солдат из запасных полков, даже не обстрелянных или не успевших еще побывать на фронте. Но этого не случилось, а наоборот, их потащили в Чека, поставили к стенке или записали в Красную армию. Мобилизованные решили служить верой и правдой, иначе комиссар мог пристрелить или отправить в Чека, и таким образом на стороне красных добросовестно воевали офицеры, внутренне с отвращением и ненавистью относившиеся к своим хозяевам. В создавшейся ситуации о нейтралитете быстро забыли. Генеральный штаб российской императорской армии почти весь состоял из потаповых, и они перешли в генштаб Красной армии.

Огромной была прослойка потаповых среди деловых людей — банковских и прочих служащих. Не было бы их помощи — полный паралич охватил бы страну через несколько месяцев.

В последующие годы, когда страна ковала свою мощь, стремясь до зубов вооружиться, в специальных конструкторских бюро, состоящих из заключенных, разрабатывались лучшие образцы пушек, танков, самолетов, стрелкового оружия... Штурмом брали изобретатели бюрократические твердыни, пробивая дорогу своим бомбардировщикам, истребителям, ракетам, газам, бактериям... Их жалкие отговорки о том, что они вооружают родину и тем спасают ее от Гитлера, после войны заменились погудками о капиталистическом окружении и американском империализме. Но кто же они, эти помощники режима? Быть может, это исчадия ада, вампиры, демоны?.. О нет! В большинстве своем — это потаповы безбожного

производства, расплодившиеся в огромном количестве. Ими набиты номерные засекреченные институты, специальные военные опытные заводы, работающие на военную промышленность. За ничтожную премию они стремятся родить рационализаторские предложения, сделать открытия военного значения. Они думают о диссертациях и научных степенях со всеми вытекающими материальными благами. И ради этого готовы продать душу черту.

Все, кто обеспечивает современные деспотии атомными и сверхводородными бомбами, баллистическими ракетами, а также прочим, пока неизвестным оружием массового уничтожения, должны осознать, что если они участвуют в разработке таких идей, то являются людоедами или потаповыми. В первом случае их не смущает перспектива уничтожения неповинных людей. Во втором случае им все ясно, но они занимаются подготовкой массовых убийств из шкурнических интересов.

Но у потаповых огромное преимущество: по своей натуре они люди доброй воли, поэтому способны все прекрасно понять и исправить свое поведение. Для этого покуда их страна — агрессор, захватчик и поработитель как своего, так и других народов, прежде всего, для ее же блага, надо перестать ее вооружать, а тем более — оружием массового уничтожения.

Стар и млад

Среди нас был двадцатидвухлетний американец — мулат, рожденный от брака еврея и негритянки. В Москве он что-то делал в американском посольстве, успел жениться, начал, кажется, предпринимать шаги для перемены гражданства, но в это время его «запутали» и дали двадцать пять лет. Специальности у него не было, и держали его в отделе оформления, где он что-то научился клеить. Лицо у Мориса было темноватое, волосы курчавые, черные, под ногтями была заметна синева. О последней особенности мы до этого только читали, и нам было интересно увидеть это воочию.

С двадцатых годов нам вколачивали в головы, что негры в Америке существуют для того, чтобы их линчевали; потом оказалось, что этим занимаются только в южных штатах, а в лагере удалось познакомиться со статистикой, по которой в СССР количество блатных самосудов и убийств «проигранных в карты» за один ме-

сяц превышало жертвы Ку-клукс-клана за десять лет. Так или иначе, но все сходились на том, что негры еще не пользуются полностью свободами и правами американских граждан. Таким образом, сочувствие Морису было обеспечено, и тем не менее он его как-то нарушал своим поведением и выходками, несколько выделяясь из нашей среды: например, нам казалось, что он слишком развязно и шумно вел себя за обеденным столом.

Прославился он на всю шарашку, когда подал начальнику тюрьмы заявление в стихах с просьбой о новой паре ботинок. Замысел Мориса был приведен в исполнение Львом: в издевательском тоне презренный зэк Морис писал, что ему нужны не простые ботинки, а лишь такие, которые он не сумеет износить за свой пустяковый срок в двадцать пять лет. Он надеялся, что его сыновья и внуки тоже поносят эти замечательные ботинки. Даже на шарашке пары ботинок едва хватало на год, на общих работах срок носки исчислялся неделями — гротескность ситуации была вызывающей. Поэма заканчивалась так: «подписался удрученный Морис Гершман — заключенный». Недели две Морис был героем дня, вызывал улыбки, и как-то это сошло ему с рук.

В следующий раз свое свободолюбие он выразил совершенно невероятным образом. На ужин нам дали подгоревшую кашу. Я даже не обратил на это внимания, съел запросто полагающуюся порцию; зэки побогаче молча отодвинули еду. Морис схватил тарелку и пустил ее вдоль пола по коридору между столами в сторону шедшего навстречу офицера надзора. В колледжах США, возможно, это было бы в порядке вещей, но на первом лагпункте МГБ, как именовалась наша шарага, такая шуточка была равносильна брошенной бомбе. Опешивший чин хотел сделать какое-то замечание, но Морис его опередил и накричал на него первый. Смысл сказанного сводился к тому, что он — не свинья, жрать всякие отбросы не обязан, жить в этой стране не желает и требует, чтобы его выслали в Штаты... Эффект был необычен: чин старался его успокоить и прекратить крик. Любого из нас тотчас посадили бы в комендатуру и увезли бы в Бутырки, хорошо, если просто в карцер, а не на переследствие... Но с Морисом все произошло иначе: его вызвали, пообещали отправить в лагерь, он еще раз надерзил, и, когда наконец его увезли, часть зэков решила, что это — на пересуд, с целью отправить в Америку. Если

прогноз оправдался, то посылаю ему запоздалое, но горячее поздравление старого зэка.

С сотрудником Резерфорда профессором Светницким я встретился три раза. В сорок первом он провел недели две в этапной бутырской камере. Тогда он был крепким здоровым мужчиной лет шестидесяти. Я думаю, что этот крупный ученый оставил бы по себе заметный след, если бы не его опрометчивое возвращение в тридцать седьмом «на родину». Кроме физики и химии, он был великолепным знатоком персидских поэтов и, по нашей просьбе, читал наизусть Саади, Фирдоуси... Он охотно рассказывал также о своих путешествиях и жизни на Западе. К тому времени мы слышали уже много блестящих повествований и были достаточно избалованными, но внимали его описаниям с большим интересом и без тени скуки.

В сорок восьмом профессор появился на шарашке в качестве вольнонаемного в одной из секретных лабораторий. Он обрюзг, черты лица его деформировались, зубы выпали. Меня он не узнал, и я, чтобы его не смутить, тоже не подал виду. Однажды я отважился спросить у него, каково его мнение о принципе Ле Шаталье, о котором я читал в учебнике физической химии в тридцать пятом. Он отреагировал немедленно: «Правило считается теперь устаревшим, и я не советую вам им пользоваться».

Через несколько месяцев профессора снова арестовали, и его фотографию сняли с доски почета, на которой теперь зияло пустое место, об этом рассказывает и Солженицын в «Круге». Весть разнеслась немедленно среди заключенных, и проклятия посыпались в адрес мучителей, взявшихся за новые истязания семидесятилетнего маститого ученого.

В третий раз наша встреча произошла заочно. Мой хороший знакомый, бывший зэк с Колымы, сидевший с ним в одной камере в пятидесятые годы во время преследования, побывал у него в конце шестидесятых в гостях в Москве. Девяностолетний старец сохранил живость ума и прочел ему свой стишок: «И голод, и холод — я все пережил, но я еще молод и ... на них положил».

Афанасьев был ни юн, ни стар, а в расцвете сил. Он был самородок: обладал изумительной одаренностью и богатейшими способностями в различных областях, но не имел законченного высшего образования. Все горело

в его руках, и он становился профессионалом в любой области. На шарашке он занимался телевидением и в сорок девятом построил телевизор с самым крупным тогда в СССР экраном (600×600 мм). Афанасьев обладал также музыкальной одаренностью и играл на скрипке. Он был хорошим христианином, но нрава гордого, независимого и, обладая высоким чувством собственного достоинства, не признавал пятую заповедь зэка: «Не задирайся!», что приносило ему много неприятностей в заключении. На следствии он вел себя тоже страшно вызывающе, отказывался давать показания, запирался, обличал следователей в преступной фабрикации дел. Своим характером он восстановил против себя многих, и чекисты постарались заставить однодельцев наговорить на него как можно больше. Факт непризнания не играл тогда существенной роли, следователи его перекрыли массой враждебных показаний, и суд вынес высшую меру наказания. Кассационной жалобы он писать не стал, но в этот период расстрелами не увлекались, так как нужна была даровая рабочая сила, и юрист при тюрьме написал ее за него. В час казни его вызвали из камеры смертников с вещами, и «комендант смерти», как тогда в политических тюрьмах величали палачей, приказал ему заложить руки назад и, наставив на него сзади пистолет, повел его по коридорам, залам, лестницам огромного подземелья. Хождение окончилось у первой двери, где ему дали расписаться под заменой смертной казни десятью годами заключения. Произведенная операция была актом бессильной адской злобы чекистов, так как в советской тюрьме установилось правило — давать бумагу о помиловании смертнику сразу после выхода из камеры. Экзекуция оставила на затылке Афанасьева две проплешинки сантиметра полтора в диаметре, так как в ожидании смерти в его сознании протекали нервные процессы, запечатлевшие картину неминуемых двух чекистских выстрелов в затылок. Особенно резко проплешинки бросились в глаза, когда его вернули на шарашку после пятисуточного карцера, где его остригли наголо. Кстати, в карцер он попал тоже за то, что крепко надерзил высшему начальнику: другого списали бы с шарашки, но его, как прекрасного работника, подвергли лишь наказанию.

Я к нему питал живейшую симпатию, и мы два раза в общей компании праздновали Рождество и Пасху, хо-

тя по натуре он был одиночкой и друзей у него не было. В день отъезда я зашел попрощаться в его лабораторию, благо она не считалась секретной, и провел несколько минут с ним и с хорошенькой вольнонаемной сотрудницей отдела. Я подумал, что не миновать Афанасьеву вскоре очередного карцера за эту неположенную связь, так как, видимо, сам того не желая, этот великолепный человек вызвал в ней сильное чувство.

Фауст двадцатого века

Почти все персонажи романа «В круге первом» Солженицына имеют своих прототипов. Нержин, Рубин, Кондрашев, Прянишников, Спиридонов списаны как бы с натуры. Агния, Бобынин, Иннокентий, Руська слеплены из разных людей. Яконов, Ройтман, Шикин, Герасимович, Абакумов, Сталин и другие подверглись творческой обработке автора. С одним из персонажей — художником Кондрашевым* — я много встречался в московский период, с 1959 по 1967 годы, вплоть до момента нашей ссоры.

Кондрашев был далек от политических и общественных интересов, влюблен в свое искусство. По образованию математик, он был знатоком изящной словесности, любителем античной и классической западной философии. Бога он не отрицал, но относился к Нему как к некой надмирной величине, не обязывающей его к конфессиональным проявлениям. В московской жизни, где многие книги были недоступны, необходим был — гораздо больше, чем на Западе, — активный обмен мнениями, без которого жизнь для меня теряет смысл. Я в нем видел не только одного из художников, к которым меня всегда тянуло, но и серьезного человека, с которым можно поспорить. Полагаю, что меня он воспринимал также не как критика искусства. Я обычно воздерживался от обсуждения его картин, но однажды посчитал для себя невозможным не вникнуть в его творчество.

Он принадлежал скорей к художникам-реалистам девятнадцатого века: люди были похожи на людей, чашка чая была объемной и реальной, дерево было деревом, а не схемой. Но иногда он мог сделать ухо несоразмерной с лицом длины, когда лепил из пластилина голову

---

* С. М. Ивашов-Мусатов. *(Прим. ред.)*

человека. Ему была свойственна яркость красок, которые он мастерски умел применять. Следовало бы отбирать у него картины, так как он никогда не мог успокоиться и большинство из них портил бесконечными подрисовками и усовершенствованиями. Десять лет писал он картину «Отелло, Дездемона, Яго». Начал он, как всегда, с головы, и в пятьдесят девятом, то есть через два года, картина, на мой взгляд, была окончена. Дездемона стояла у балюстрады лестницы, как бы предчувствуя нависшую угрозу смерти: лицо было пепельно-бледным, глаза опущены. На ступеньку выше стоял Отелло, склонив к ней массивную голову. Крупные черты, искаженные ненавистью и мукой, были схвачены прекрасно, волосы казались глыбами камней. Видно было, как гнев борется с любовью, подозрение с надеждой... Краски одеяния гармонировали со смятенным состоянием души, багрово-красный плащ напоминал откинутое крыло... Мне хотелось убрать только Яго с авансцены, а в остальном картина была полностью закончена. Кондрашев придерживался иного мнения и считал, что сделанное — лишь промежуточная ступень.

Этот вариант 1959 года вместе со мной видел и Солженицын. Довольно долго он стоял в раздумье перед полотном. Картина ему нравилась. Он тоже считал, что она окончена. Вдруг, со свойственной ему энергией, он как отчеканил:

— Мне понятна работа великих художников над вечными образами Священного Писания. Я охотно могу согласиться, что можно черпать вдохновение также из творчества Шекспира. Но непонятен мне дух художника, который привязан к образам столь далекой от нас эпохи после того, как сам был свидетелем страданий своих близких. Верность, ревность, предательство наших дней у ног творца, в его окружении.

Кондрашев работал еще восемь лет, ревниво охранял свое детище и решил показать мне его только после окончательной доработки. Наконец летом шестьдесят седьмого наступил этот день. Перед моим изумленным взором предстало нечто чудовищное: шея Отелло удлинилась и напоминала тело крупного питона, зато голова уменьшилась в размерах и стала как бы змеиной, веки напоминали чешую аллигатора. Дездемона превратилась в самодовольную дьяволицу, лукаво из-под полуопущенных век поглядывающую в сторону Яго

и довольную тем, что сумела вызвать ревность Отелло. На первой картине Яго был искусным интриганом, на второй — демоном, носителем лукавства, развала, мстительности... Я остолбенел: это было какое-то наваждение. Я потребовал первый вариант и после сравнения убедился в характере искажений. Тогда я обратился к художнику со следующими словами:

— Вы отдали душу черту. Вы — Фауст двадцатого века. Но старый Фауст совершил сделку сознательно и на определенных условиях, вы же бессознательно попали в когтистые лапы. Вы — бескорыстный, чистый человек, и потому ваш опыт имеет огромное, потрясающее значение. Ваше окончательное произведение — расплата за недомыслие и небрежность в религиозных вопросах. Вы загасили свое стремление ввысь, к Богу. Отделяя и тем самым уничтожая форму, вы убили содержание. Ваш высокий замысел о рыцарях, охраняющих чашу святого Грааля, все время откладывается, и, наверное, картина никогда не будет написана. Для этого нужен особый строй души, который вы не просто утеряли. Вы до него не доросли. Недостойным интеллигентским словоблудием вы оправдали свой отход от Церкви, забывая, что жизнь наша — сплошной капкан, в котором мы запутаны и завязаны. Вы превратились в инструмент, воспринимающий дьявольские инспирации, и картина служит тому ярким доказательством.

Кондрашев обиделся, и наши отношения с тех пор резко охладились. На прощание я попросил его не уничтожать оба варианта — сохранить их для современников и потомства.

Глава 18
НА КАТОРГЕ (1950—1953)

Сталинская каторга

В 1943 году Сталин перешел к наступлению на фронтах и ознаменовал его двумя новшествами:

— введением смертной казни через повешение для особо провинившихся, оставляя, естественно, в силе при этом расстрелы для остальных;

— открытием каторги.

Генералиссимус Сталин нацепил на плечи военнослужащих Красной армии старые императорские погоны. Тот же ход мысли подсказал гениальному стратегу и полководцу обратиться к царским архивам и извлечь оттуда сведения о содержании каторжан в царское время. Но режим каторги в смысле строгостей не смог удовлетворить лучшего друга чекистов. Царская каторга была малиной: норм выработки, конечно, не было, в девятисотые годы каторжные работы становились тоже не обязательными. Самое возмутительное было с кормежкой. У лучшего друга всех родов советских войск так не кормили даже старших офицеров: хлеб от пуза, то есть вволю, к нему гречневая каша с пережаренными свиными шкварками и отдельно к этому рациону выдавался на палочке с весов ровно фунт мяса.

Универсальный гений Сталина в заимствованную идею внес, как всегда, безапелляционные коррективы. Каторжан ставили на исключительно тяжелые работы; для них были выделены отдельные лагпункты, где бараки запирали на ночь; на лагерную одежду нашили по четыре номера — на шапке, спине, груди, над коленом. Десятники, особенно в первое время, беспощадно вычеркивали туфту из нарядов. В столовую каторжников водили строем побригадно, за малейшую провинность сажали в карцер, на работах не смешивали с обычными заключенными. Чекистами были пущены слухи, что в число каторжан попадают только самые матерые изменники, гестаповцы, палачи.

Однажды, когда я еще работал на заводе, меня послали на один из каторжных объектов, существовавших на Воркуте параллельно с обычными, к каторжнику Боброву, гениальному инженеру, которого, нарушая инструкцию, использовали в качестве консультанта по самым сложным вопросам. На объекте его изымали из остальной массы каторжан, и он работал в отдельном помещении конторского типа с несколькими вольнонаемными. На меня он произвел огромное впечатление. Он был рослый, спокойный, с правильным, но грубо вычерченным профилем. Сразу бросалась в глаза его огромная сила ума и воли. У немцев он работал главным инженером на одном из заводов Мессершмитта и рассказывал мне о стычке с маршалом Герингом, из которой вышел победителем. Инженер Бобынин на шарашке «Круга» не имел прототипа, и Солженицын создал

этот образ, в какой-то мере увлекшись моими воспоминаниями об этом прекрасном человеке. Инженер Бобров иронически усмехнулся, когда однажды я спросил, кто остальные каторжники, и дал мне понять, что в основном это безвредные украинские крестьяне, посаженные по доносам. Позже, в спецлагах, мы убедились в справедливости такой оценки: опасных и крупных военных преступников, пойманных на оккупированных территориях, посылали на виселицу или расстреливали, а мелочь кидали на каторгу.

Встречи в пути

В последние дни нашего заточения в Бутырках к нам привезли с шарашки Руську*. Тот, кто прочел роман Солженицына «В круге первом», наверняка запомнил необычайно предприимчивого, изобретательного и смелого юношу, влюбленного в Клару. Его отправили на Воркуту, и мы с Саней жалели, что наши пути с ним разошлись.

Куйбышевская пересылка, куда мы попали, по сравнению с другими, была домом отдыха. Кормили лучше, чем в других местах. Находились мы в бывших конюшнях, и хотя народу было много, но проходы между нарами оставались свободными, так что вполне можно было прогуливаться.

Однажды, когда уже смеркалось, в нашу камеру впустили людей с нового московского этапа. В первых рядах был рослый викинг в военной форме иностранного покроя без знаков различия. У него было открытое лицо, пепельные вьющиеся волосы, смелые голубые глаза. Он с интересом осматривал все вокруг себя. При знакомстве выяснилось, что это был Арвид Андерсон, шведский граф и сын миллионера. Он добровольно вступил в трудное для Англии время в ее армию и воевал до конца войны, в частности, участвовал в рукопашном бою с немецкой дивизией СС в Арденнах. После войны он окончил академию генерального штаба в Стокгольме и находился в составе миссии в Западном Берлине. В послевоенные годы попал под влияние марксистской идеологии и написал пару статеек, используя ее фразео-

---

* Основным источником образа Руськи был Перец Герценберг; в 70-е годы он уехал в Израиль, где и умер.

логию. В сорок седьмом в составе делегации шведского генштаба он был в Москве, где его охаживали, как могли, и даже возили в подмосковное правительственное «княжество», упрятанное за высокими заборами, где разве птичьего молока не хватало. В восточном Берлине, когда он заехал к знакомой певичке, его выследили советские чекисты, схватили и отвезли в Москву. Там он был под своего рода домашним арестом на отдельной загородной даче, охраняемой автоматчиками. Ему послали учителей, обучавших русскому языку и политграмоте. От него потребовали написать статью с проклятьями капитализму и восхвалением сталинской системы и предлагали за это работу в советском генеральном штабе и все необходимое. Он с презрением и негодованием от всего отказался. Одно дело — легкий флирт с марксизмом на страницах журнала, другое — измена своим принципам. Он считал, что фельдмаршалу Паулюсу «европейское дворянство никогда не простит измены», и к себе прилагал те же императивы.

После многочисленных уговоров наступила очередь угроз. Его перевели в знаменитую московскую Лубянку, во внутреннюю тюрьму, правда, в отдельную шикарно обставленную камеру на верхнем этаже. С ним разговаривали министр иностранных дел Вышинский и главный чин государственной безопасности Абакумов. Арвид угрожал, требовал освобождения, кричал на Вышинского так, что тот был бледен, как полотно. Но Абакумов хладнокровно и мирно объяснил ему положение: «Раз отказались выполнить наши предложения, придется сидеть в тюрьме» — и предложил расписаться под идиотской формулировкой срока в двадцать лет. При этом, ввиду исключительного положения, предоставлялись льготы: разрешалось не стричь волосы наголо и десять рублей в месяц на теперешние советские деньги. На дорогу пока что денег не дали, и мы делились с ним побратски теми грошами, которые у нас остались от шарашки. Этапировали его в отдельном купе и, несмотря на тесноту в других клетках, не нарушали его одиночества. На пересылке произошел временный затор тюремной машины: то ли не было одиночки, то ли в сопроводительной бумаге забыли отметить недопустимость его соприкосновения с простыми смертными. И Арвид попал на две недели в общий поток заключенных.

К тому времени я встречал на пересылках уже мно-

гих русских и других аристократов, но Арвид выделялся королевским достоинством и уверенностью в своих силах. Незадолго до моего отъезда на Запад дочь одного профессора рассказала мне, что ее отец в 1956 году сидел в Красноуральской тюрьме с Арвидом, который продолжал незыблемо стоять на своих исходных позициях. Уже на Западе я пытался навести справки через шведское посольство, но мне сказали, что о пропаже такого человека ничего не известно. Мой долг сообщить шведам, желающим восстановить истину, засевшую в мозгу подробность, достаточную для продолжения поисков: его мать была англичанкой и близкой родственницей, а может быть и сестрой, начальника английского штаба. В СССР с Арвидом были знакомы лично несколько десятков человек, а слышали о нем сотни. Шведы должны знать своих героических сынов.

На этой же пересылке я и Саня подружились с Павликом. Он был украинец и попал в заключение как бандеровец. Внешне он ассоциировался у меня с древнеримским легионером: грудная клетка и бока были как будто отлиты из меди, соразмерные руки и ноги оплетены железными мускулами, широкие плечи привлекали к себе внимание. Но овал лица, нос с горбинкой, выдающийся вперед подбородок напоминали греческие античные скульптуры, обрамленные черными гладкими волосами. По живости и внутренней энергии он был похож на мушкетера-гасконца, воспетого Дюма. Среди моих друзей было немало смелых людей, но Павлику была присуща львиная отвага. Первый раз я увидел его в действии, когда блатные обозвали Володю Гершуни «господином фашистом». Слабенький, худенький мальчик задрожал от такого оскорбления и схватился врукопашную, не зная еще от нас о пятой заповеди зэка: «Не задирайся». На взаимные обзывания реагировать было необязательным, ругань была в норме, оскорбление как понятие не существовало, только насилие считалось достойным отпора. Появившийся вовремя Павлик подоспел на помощь и без труда раскидал нападавших. Блатари выхватили ножи, но Павлик успел схватить за кисть ближайшего из них, резко скрутил ему руки и поднял выпавший нож. Вооружившись, он ощетинился. На обладателя ножа блатари, конечно, не полезли; победа была одержана. За нами, в который раз, закрепилась кличка «злых фраеров».

Павлик легко попадал под влияние других. В компании бандеровцев был бандеровцем, с Саней и другими бывшими офицерами — бывшим лейтенантом Советской армии. Со мной держался как сын всадника из «волчьей сотни» генерала Шкуро времен гражданской войны. При этом каждый раз он был искренен и на всю железку входил в роль.

Володя Гершуни был племянником эсера-террориста Гершуни. Он с маниакальной настойчивостью постоянно доказывал, что все евреи — смелые и отважные люди, и считал своим долгом в данной обстановке это делать. Так как он входил в нашу компанию, мы несколько раз вынуждены были расхлебывать заваренную им кашу. В спецлаге, сразу же по приезде, верный себе Володя на разводе завелся и обозвал начальника конвоя фашистом и гадом. Тот рассвирепел, сбил его ударом с ног и стал топтать... Мало того, Володе выписали десять суток карцера. Это произошло в самые первые дни приезда на каторгу, когда мы еще не освоились и не осмотрелись. О происшествии нам рассказывали очевидцы. Вскоре с группой больных Володю отправили в Карагандинские лагеря, посчитав его невменяемым.

Володя никогда не был мрачным ипохондриком. В подземной камере знаменитой Омской тюрьмы мы устроили вечер шуток, чтобы развеселить многих новичков с Западной Украины, влившихся в нашу этапную группу после Куйбышевской и Челябинской пересылок. Тон задал Саня, но сразу же отошел. Он не любил терять время зря. Уже тогда он сосредоточенно накапливал материалы для будущих книг и размышлял над ними. Вечер продолжили мастера клоунады и юмористических рассказов. Петя Пигалов брал мимикой и невообразимыми телодвижениями. Володя Гершуни без тени улыбки, следуя заветам всемирно известного комика Бастера Китона, смешил нас короткими рассказами Зощенко и В. Шкловского, и за ним прочно укрепилась репутация компанейского малого.

С Павликом я сошелся близко и поделился с ним своими установками. Я не терял времени, старался подготовить ехавшую с нами молодежь к тому, с чем ей придется встретиться, и, руководствуясь первой, девятой и десятой заповедями зэков, сформировать воинов, сплоченных и не поддающихся на провокации чекистов. В лагере я продолжал ту же линию, и благодаря прой-

денной школе, многие оказались способными принять участие в ряде грозных событий, участниками которых мы оказались впоследствии. У нас — заправил — преобладало отличное настроение. Приятно было находиться среди обстрелянных вояк — людей, посаженных не за выдуманные с помощью следователя преступления, а за действительно осязаемую борьбу. Нынешние зэки были способны тайно подготовить и нанести удар.

Основная масса зэков предвоенных лет была тоже здоровой, неразложившейся и при определенных условиях готовой к действию, хотя партийная слякоть тридцать седьмого года провалила бы любое начинание и продала бы их. В тех условиях толчком для них могла явиться только война.

Благословение

По дороге на каторгу наш передний вагон остановился как раз у переезда небольшой станции. Мы с Саней лежали на верхних нарах и о чем-то беседовали. На остановке посмотрели в окно. У шлагбаума стояла маленькая женщина неопределенного возраста; на вид ей было лет сорок. Скуластое сморщенное лицо, характерный косой разрез глаз указывали, что она из Мордовии или Чувашии. Одежонка на ней была бедняцкая, да вдобавок латаная и черного цвета. На ногах — разбитые сношенные ботинки и грубые драные носки самодельной пряжи. Под подбородком по-крестьянски был завязан выцветший старый платочек. Все укладывалось в стандарт общей нищеты населения и давно перестало вызывать у нас интерес. Но вдруг мы оба напряглись, как струна, так как заметили, что из ее глаз текут крупные слезы. Она разглядывала силуэты в глубине арестантского вагона и маленькой рукой, заскорузлой от грубых работ, крестила нас, крестила... Слезы замочили ее личико. Мы смотрели на нее как завороженные и не могли оторваться... Поезд тронулся, но она продолжала крестить нас вдогонку, провожая своим знамением. Через несколько секунд она исчезла из поля зрения, так как от наружных окон мы были отделены еще общим проходом.

Кто была эта бедная женщина? Сколько родственников и близких ей людей погубили чекисты? Сколько мук выпало на ее долю? Благословила нас страдалица на

продолжение нелегкого пути, и мы оба унесли в своем сердце ее чудный образ в рубище.

Много раз в своей жизни получал я благословение священников. Но благословение этой маленькой замученной женщины на неизвестном затерянном полустанке сравнимо для меня по значению и силе с благословением самого папы Римского*, которое снизошло на меня во время пребывания в Вечном городе.

Песчанлаг — Степлаг

Подготовку к третьей мировой войне Сталин, по своему обыкновению, проводил под лозунгом «укрепления тыла». К усиленным посадкам по старым спискам прибавились массовые аресты евреев, проводимые под лозунгом борьбы с «безродным космополитизмом», биологов, именовавшихся «вейсманистами-морганистами», бывших зэков, которые к тому времени уже вышли из заключения, тех, кто имел хоть отдаленное отношение к оппозициям... Всех заключенных, кто мог вызывать опасения, в первую очередь бывших вояк, по замыслу параноика, боявшегося своей тени, сосредоточили в спецлагерях, или, как их иначе называли, особлагах. В них проводился режим, утвержденный в сорок третьем для каторжан. Поэтому всех каторжан передали в особлаги. Власть лишний раз доказала свое беззаконие и произвол, поскольку осужденных к содержанию в исправительно-трудовых лагерях (итл) запросто перевели в разряд каторжников. Особлаги были организованы в 1948 году, и им были присвоены кодовые клички: на Воркуте — Речлаг, на Колыме — Берлаг, в Тайшете — Озерлаг, в Мордовии — Дубровлаг, в Казахстане — Песчанлаг и Степлаг. Экибастуз, куда нас привезли, входил попеременно в последние два особлага.

В конце августа 1950 года наш этап из Павлодарской тюрьмы был передан в руки конвоя Песчаного лагеря. Много конвоиров видел я до этого, но о таких бандитах приходилось только слышать. Правда, состав заключенных тоже был боевой и за ответом в карман не лезли. Среди западников, как мы называли украинцев из западных областей, многие носили кресты на шее, и мы заранее договорились, как отвечать конвою. Обыскива-

---

* Павла VI. *(Прим. ред.)*

ющий меня схватился лапой за шнурок, на котором висел нательный крестик, но не рванул, а вопросительно глянул мне в глаза. Я был в его власти больше, чем кто-либо, так как он мог отобрать мои записки. Поэтому без крика, но очень твердо, я заявил, что не сдвинусь с места. Наученный прежними этапами, он не осмелился доставить себе садистского удовольствия сорвать с меня крест.

Нас погрузили по двадцать пять человек с вещами на трехтонные грузовики, передняя часть которых была отгорожена для трех-четырех конвоиров с автоматами. Грузовики мчались по бездорожью степи. В сумерках и ночью конвой палил в небо из ракетниц. В пути нас выгрузили на оправку: представилась полная возможность разоружить конвой и на машинах доехать обратно до города. Но люди не были подготовлены к такой возможности, а те, кто верховодили, на побег ставку не делали.

Ночью добрались до Экибастуза. Вопреки нашим разъяснениям, многие надеялись, что везут не на каторгу, но убедились в своей ошибке, увидев нарядчиков и прочих придурков, украшенных номерами на всех положенных местах. Из расспросов поняли, что кормежка достаточная, доходяг нет, посылки разрешены, режим очень строгий, каторжный, гарантийная пайка — семьсот граммов хлеба, блатных почти нет, естественно, и женщин, на работу по специальности с общих работ вырваться тяжело. Кроме лагерной тюрьмы был в зоне барак с намордниками и решетками на окнах, отгороженный колючей проволокой, — бур (барак усиленного режима). Впрочем, и в остальных бараках на окнах были решетки и на ночь двери запирались. Все это не было новостью: так как об этом рассказывали привезенные на шарашку особлаговцы.

За два дня нас обмундировали, выдали тряпки, и художник каждому из нас написал краской его номера. После этого нас разбили на бригады и вывели на общие работы — рытье траншей под финские домики. Недели через две мы перешли к каменной кладке. Посылок я не получал, следовательно, расходовать энергию надо было экономно и задерживаться на общих работах было недопустимо, тем более что по десятой заповеди зэка я был обязан не быть никому в тягость. Я пробовал помочь бригадиру в описании нарядов и на первых порах вклю-

чал все вспомогательные действительно выполненные работы, вроде переноски деталей домиков, и составлял акты на время простоя по вине производства... Вольный десятник все, что я делал, вычеркивал. Я понял, что полезным при таком отношении быть не могу, и посоветовал бригадиру требовать от зэков выработки норм до момента, когда еще выдается гарантийка, и не превышать этот минимум; кажется, полагалось для этого выполнить работу на тридцать процентов. Большинство «западников» начало получать уже посылки из дома, и уменьшение пайки их не страшило.

Вскоре мне и еще одному инженеру повезло — удалось устроиться на деревообделочный комбинат. Нас числили за маленькой мехмастерской, но на нас лежала задача пустить в ход установку для получения жидкого кислорода, которая в полуразрушенном состоянии стояла в наскоро слепленном вокруг нее помещении каркасного типа. До этого оборудование держали целый год под брезентом на улице. Зеркала цилиндров компрессора поржавели, приборы разворовали, много трубок исчезло, документацию пустили на курево. Во всеоружии седьмой заповеди и вспомнив, как Тиль Уленшпигель писал портреты знатных сеньоров, я с непоколебимым апломбом заявил, что берусь наладить и пустить установку. Расчет был исключительно прост. Зная советское снабжение, не говоря уж о лагерном, я был уверен, что пока будут доставать необходимые материалы, приборы, лабораторные устройства, кончится мой срок заключения.

Не боги горшки обжигают, и месяца за три я вполне разобрался в действии этого агрегата, составил чертежи на необходимые части и написал заявку в отдел снабжения на недостающее для пуска и эксплуатации снаряжение. В тресте «Иртышуглестрой» поняли, что гораздо проще получить новую установку, чем достать десятую часть того, что мною было указано, и прекратили дальнейшие работы. К тому времени я уже свел знакомство с инженерами, руководившими главной механической мастерской. В особлаге перевод на другой объект не поощрялся, так же как использование инженеров по специальности. Тогда возник план, по которому я должен был занять место переброшенного на другой участок бригадира. Пришлось согласиться и два месяца выводить бригаду на работу. Целый день был у меня совершенно свободен. По собственному почину,

я выполнял работу конструктора и завоевал быстро признание со стороны вольнонаемного начальника мастерской, который сумел меня отвоевать у лагеря. На мое место бригадиром удалось поставить Солженицына, который всю осень и зиму пробыл на общих работах. Я считал себя обязанным устроить другу временную передышку, которая позволяла ему отдаться творчеству.

С наступлением тепла Солженицын начать читать наизусть свое первое произведение — поэму «Дорога». Мы собирались под вечер, рассаживались на телогрейках, на подсохшей земле и с восторгом слушали. Память у Солженицына была гигантской, так как по объему его произведение было в два с лишним раза больше «Евгения Онегина», в котором около 5400 стихотворных строчек. Чтобы не сбиться и ничего не пропустить, Саня откладывал каждый стих на четках, которые ему подарил кто-то из западных пареньков.

Лет через семь уже после ссылки, когда Саня проездом был в Москве, я спросил его о судьбе первого детища. Он ответил, что далеко ушел вперед, видит в поэме ряд недостатков, в частности растянутость, повторы, и собирается ее переделать. Я горячо уговаривал его оставить все как есть, не трогать экибастузский вариант и создать, если у него есть потребность, другую поэму по канонам книжной поэзии пятидесятых годов нашего века. Я крайне огорчен, если он не внял моему совету и уничтожил подлинник уникального и неповторимого памятника тех каторжных лет, переливающегося для меня красками молодости, силы и душевной чистоты.

Солженицыну при жизни следовало бы поставить памятник. Изобразить его в темном бушлате и офицерской ушанке каменщиком в момент передыха на кладке стены из черного мрамора. Шея замотана вафельным полотенцем, лицо сосредоточено, взгляд устремлен вдаль, губы шепчут стихи, в руках четки. Так читал он нам каждую неделю новые строфы все возраставшей поэмы.

Потрясающим было то, что слагал он ее сразу в уме, почти никогда не прибегая к бумаге, так как риск был огромным. Однажды вечером он потерял листок, на котором все же что-то записал, и не обнаружил его в бараке. Всю ночь он проворочался на жестком ложе, с первым ударом подъема был уже у двери и, выскочив, проделал наиболее вероятный маршрут, который восстановил в памяти. О диво! Листок, исписанный его столь

характерным почерком, попал в расщелину между камнями на дороге. Саня занимался творчеством в обстановке слежки и регулярного надзора, и попадись этот клочок бумаги в лапы надзирателя, было бы создано лагерное дело. В это время Саня выходил еще ежедневно на работу в качестве каменщика. Мы были горды, что в нашей среде формируется писатель огромного калибра, так как это уже тогда было ясно.

Перевод целой бригады с одного объекта на другой осуществить было гораздо проще, чем перемещение из бригады в бригаду, связанное с использованием по специальности. Нам удалось заполучить в мехмастерскую три бригады с подходящим составом людей, в том числе и Павлика.

Страх и недоверие Сталина к людям достигли в то время своего апогея. Достаточно перечислить количество выслеживающих друг друга чекистских инстанций, таких как надзорсостав, оперуполномоченный министерства внутренних дел (МВД), оперуполномоченный министерства государственной безопасности (МГБ), таинственный оперуполномоченный отдела «К» или «М», который, по слухам, докладывал чинам дворцовой охраны Сталина и надзирал над всеми. Специальные помещения были отведены под штаб надзорслужбы и кабинеты оперуполномоченных.

Ограды вокруг лагеря были столь же чудовищны, как и пирамиды надзора. Колючей проволокой были опутаны зона и предзонники, надолбы из бревен с заостренными концами были врыты наклонно под углом в сорок пять градусов и направлены внутрь жилого пространства. Между двумя заборами была натянута проволока и продета в ошейники свободно бегающих специально выдрессированных овчарок. Одно из колец, опоясывающих лагерь, постоянно распахивали, дабы след беглеца мог отпечататься на свежей земле.

В самой зоне был построен каменный изолятор — лагерная тюрьма — с сырыми неотапливаемыми карцерами, и отгорожен колючей проволокой барак усиленного режима. Внешние атрибуты терроризма давили на слабые души.

Буревестник

За малейшие провинности можно было угодить из общей зоны сразу в бур. В буревестнике, как мы его называли, содержались беглецы, молитвенники-богомольцы, отказчики от работ, на которых пришлось махнуть рукой, жертвы стукачей. До бура они отсидели положенное в изоляторе. Одним из постоянных обитателей этого невеселого места был Герой Советского Союза майор Воробьев — эталон беглецов особлага. Еще человек десять следовали его примеру и большую часть времени проводили в изоляторе. Когда из бура их выводили в каменоломни на особо тяжелые работы, беглецы действовали всегда по одной и той же схеме. С самосвала снимали шофера, приехавшего за камнями, три человека забирались в кабину, остальные желающие — в кузов, разогнав машину, таранили ворота и на предельной скорости мчались по дороге. С вышек, окружающих карьер, начинали бить из пулеметов по колесам, конвоиры с вахт строчили из автоматов и пробивали шины, а на помощь из штаба уже мчались на «джипах» автоматчики. Беглецов снимали с самосвала и били — не очень сильно, так как никаких особых поисков предпринять не пришлось: все разыгрывалось на глазах и без сопротивления со стороны заранее обреченных. Конвой даже радовался: представлялся случай без особых усилий получить поощрение. Беглецов снова запирали в изолятор, и цикл возобновлялся. Я пытался узнать у Воробьева о мотивах применения столь безнадежного способа. Он объяснил, что хочет добраться до Москвы и рассказать Верховному Совету о том, что здесь творится. Во мне это вызывало лишь усмешку. Я сам был неудавшимся беглецом, и ошибки других поэтому видел отчетливо. Тот, кто решился на побег с целью вырваться на волю, должен быть готов на все. Если такое состояние не обеспечено, то происходит только игра с самим собой и с лагерным начальством. Несопротивляющихся беглецов, без оружия, при поимке обязательно ловят. Когда беглецы раздобывают автомат и по их повадкам видно, что живыми они не сдадутся, у конвоя и оперативников создается иное настроение и даже лов может вестись так, чтобы оказаться безрезультатным. Многие считали героями беглецов из каменоломни, и действительно, требовалось присутствие духа, чтобы совершить прогулку

под дождем пуль. Поэтому для подъема самочувствия заключенных мы использовали эти факты, и свое мнение я высказывал лишь самым близким, без передачи остальным.

По мере того как бур пополнялся людьми делового образа мыслей, формы побега менялись и становились более разумными и менее безнадежными. Громадный моряк-эстонец Тенно и его маленький напарник вскоре после нашего приезда, ночью, после отбоя, удачно нырнули под проволоку, благо собак тогда еще не было, и выскочили из общей зоны. Им удалось переплыть Иртыш и проникнуть за Омск, где они пали жертвами собственной мягкотелости.

Толковые попытки побегов производились с помощью подкопов, которые велись из самого бура, и по такому внутреннему коридору, выводящему за зону, однажды чуть не убежал весь состав буревестника.

Наиболее удачным и остроумным был побег двух зэков во время сильного бурана. За день намело валы спрессованного снега, колючая проволока оказалась занесенной, и зэки прошли по ней как по мосту. Ветер дул им в спины: они расстегнули бушлаты и натягивали их руками, как паруса. Влажный снег образует прочную дорогу: за время бурана им удалось проделать больше двухсот километров и выйти к поселку. Там они спороли тряпки с номерами и смешались с местным населением. Им повезло: то были чеченцы; они оказали им гостеприимство.

Чеченцы и ингуши — близкородственные друг другу кавказские народности магометанской религии. Их представители в огромном большинстве — люди решительные и смелые. Гитлера они рассматривали как освободителя от кандалов сталинизма, и, когда немцев прогнали с Кавказа, Сталин произвел выселение этих и других меньшинств в Казахстан и Среднюю Азию. Гибли дети, пожилые и слабые люди, но большая цепкость и жизненная сметка позволили чеченцам устоять во время варварского переселения. Главной силой была верность своей религии. Селиться они старались кучно, и в каждом поселке наиболее образованный из них брал на себя обязанности муллы. Споры и ссоры старались разрешать между собой, не доводя до советского суда; девочек в школу не пускали, мальчики ходили в нее год или два, чтобы научиться только писать и читать, а после

этого никакие штрафы не помогали. Простейший деловой протест помог чеченцам выиграть битву за свой народ. Дети воспитывались в религиозных представлениях, пусть крайне упрощенных, в уважении к родителям, к своему народу, к его обычаям и в ненависти к безбожному котлу, в котором им не хотелось вариться ни за какие приманки. При этом неизменно возникали стычки, выражались протесты. Мелкие советские сатрапы вершили грязное дело, и много чеченцев попало за колючую проволоку. С нами тоже были надежные, смелые, решительные чеченцы. Стукачей среди них не было, а если таковые появлялись, то оказывались недолговечными.

В верности магометан я не раз имел возможность убедиться. В мою бытность бригадиром я выбрал себе помощником ингуша Индриса и был всегда спокоен, зная, что тыл надежно защищен и каждое распоряжение будет выполнено бригадой. В ссылке я был в Казахстане в разгар освоения целины, когда, получив по пятьсот рублей подъемных, туда хлынули представители преступного мира. Парторг совхоза, испугавшись за свою жизнь, за большие деньги нанял трех чеченцев своими телохранителями. Всем тамошним чеченцам он своими действиями был отвратителен, но раз обещав, они держали слово, и, благодаря их защите, парторг остался целым и невредимым.

Позже, на воле, я много раз ставил в пример знакомым чеченцев и предлагал поучиться у них искусству отстаивать своих детей, охранять их от тлетворного влияния безбожной, беспринципной власти. То, что так просто и естественно получалось у малограмотных магометан, разбивалось о стремление образованных и полуобразованных советских россиян обязательно дать высшее образование своему, как правило, единственному ребенку. Простым людям при вколачиваемом безбожии и обескровленной, разгромленной, почти повсюду закрытой Церкви невозможно было в одиночку отстоять своих детей. Дело кончилось бы обязательной посадкой.

Безвылазно находился в буре подвижник Твердохлебов. Принадлежал он к представителям ушедшей в подполье православной Церкви, называемой на Западе катакомбной. С ним прибыли в лагерь еще несколько представителей тайного братства с каким-то длинным названием, которое начисто отрицало официальную советскую Церковь во главе с патриархом Алексием. О мерзостях,

творимых продажными князьями Церкви, они были чрезвычайно осведомлены, громили их как представителей антихриста, слуг безбожных властей, и считали себя истинными православными христианами, не признающими никаких новшеств и соблазнов века. Во главе их братства стояли женщина и два ее сына, получившие по двадцать пять лет тюремного заключения. Все они были из рабочих — механики, слесари, шоферы, шахтеры, и до ареста жили в шахтерском Донбассе. На Куйбышевской пересылке их было человек пятнадцать, и я уже там с ними познакомился. Только трое из них попало в наш лагерь. Твердохлебов был высококвалифицированным механиком-монтажником по компрессорам, дизелям, насосам. По ряду его ответов на интересующие меня технические вопросы я понял, что передо мной профессор своего дела.

По приезде в лагерь он категорически отказался:

— нацепить номера, считая их печатью сатаны, оскорбительной для христианина;

— выполнять какие бы то ни было работы, не желая поддерживать власть сатаны;

— принимать пищу с лагерной кухни из-за возможности содержания в ней животных жиров, которые он не употреблял.

Соглашался он брать только сахар и хлеб, а по средам и пятницам хлеб тоже отдавал соседям по бараку. Весь день и часть ночи он проводил в молитве и в размышлениях на духовные темы. Религиозного образования у него не было почти никакого, но поразительной была ясность в понимании и толковании истин христианского вероучения.

Он выдержал несчетное число суток в карцере, достаточных, чтобы свалить быка, и каждый раз выходил оттуда только более сухоньким. К сроку его добавить было нечего, так как он имел уже двадцать пять лет, и, перепробовав весь арсенал принуждения, который разбивался о его могучее упорство, начальство сдалось, и он завоевал право выполнять свои скромные требования. Тогда издеваться над ним и еще несколькими молитвенниками, скорей всего, по наущению начальства, начал латыш — дневальный бура. С ним мы справились своими силами, предложив ему уйти с лагпункта, если он не хочет, чтобы его «маранули», и он добровольно попросил-

ся в изолятор. Самопосадки в тюрьму тогда начинали входить в моду.

С другим стойким молитвенником бура я познакомился тоже на Куйбышевской пересылке. Он был в подряснике послушника и резко отличался от всех остальных. Расположился он возле двери по соседству с парашей. Мы тотчас предложили ему хорошее место на нарах, но вскоре он вернулся обратно. Днем несколько часов он лежал на своих вещичках, свернувшись калачиком, остальное время и почти всю ночь молился. Видя его молитвенное усердие, отдельные надзиратели предлагали, в знак уважения, вывести его отдельно на оправку и умывание — случай невероятный, но я слышал это ночью своими ушами. Видимо, он принадлежал к другому ответвлению катакомбной церкви, хотя взгляды его совпадали со взглядами Твердохлебова. Приверженцы последнего не признавали его своим за то, что он самовольно присвоил себе монашеский чин. На его слабенькое, худенькое тело обрушили град тех же пыток и измывательств, но он тоже все выдержал и вышел победителем.

Какой громадной силой должна обладать молитва! Другие — крепкие молодые парни — за десять суток в карцере наживали чахотку, а богомольцев сломить ничем не удалось.

Многие попадали в карцер изолятора по доносам стукачей. Всю осень просидел там по навету ни за что ни про что наш большой друг Юрий Карбе, обвиняемый в попытке к бегству.

Сверхподозрительность Сталина привела к системе чекистских отделов, каждый из которых стремился охватить общее поле наблюдения и сыска своей отдельной агентурой, то есть стукачами. Ненависть, возмущение, протесты в лагерях можно уподобить пару в котле. В военное время чекистскому отделу МВД удавалось обеспечить подавление заключенных, так как, создавая искусственные лагерные «дела», вымаривали голодом и болезнями лучших, наиболее активных и опасных. Выпуск паров производился непрерывно, и до взрыва дело не доходило.

Очевидцы рассказывали, что в особлагах тоже попробовали заняться фабрикацией выдуманных дел, но из этой затеи ничего не получилось: у большинства уже и так было по двадцать пять, добавлять было не к чему, почувствовать и оценить добавку не могли, а по при-

чине резкого изменения состава следствие превращалось в издевательство над следователями. Кроме того, на остальных такие пробы устрашающего действия не возымели. Выпуск пара был прекращен, а давление в котле чекисты искусственно повышали. Это могло кончиться взрывом. Тогда придумали «буревестники» и начали нажимать на лагерные наказания. Но наказанный мужчина в расцвете лет и сил, с фронтовым прошлым, которое не снилось чекистской своре и ее охране, быстро поправлялся, выйдя из изолятора, да и в нем питание было сносное. Устроить милую сердцу чекистов доходиловку было невозможно, ибо опытные зэки сразу же резко снизили бы выработку и сорвали бы план треста, добывающего уголь в бассейне Экибастуза. Так поступили в моей бригаде: в ответ на вычеркнутые десятником вписанные работы мы скрытно начали итальянскую забастовку — почти никто ничего не делал. Прораб всполошился—план стройки затрещал по всем швам. И когда ему пожаловались на десятника, тот получил новую установку: за свой умеренный труд люди начали получать вскоре наибо́льший паек. Я понял, что в этом с виду страшном лагере у заключенных большая сила.

До весны пятьдесят первого обстановка не изменилась. Чекистские отделы нажимали на стукачей, те выслеживали мелкие нарушения, но крупных поклепов не совершали, так как боялись страшного возмездия. Все же они достаточно портили жизнь, и многие сидельцы изолятора и бура лелеяли мечту по выходе оттуда разделаться на лагпункте с иудами. Давление в котле непрерывно повышалось, состояние явно становилось неустойчивым, и вполне можно было предсказать, пока еще в неясной форме, возникновение вспышек резкого протеста. В воздухе чувствовалось приближение грозы.

Экибастуз в этом состоянии описан Солженицыным в его повести «Один день Ивана Денисовича» сквозь призму воображаемого работяги. Конечно, чтобы полностью описать особлаг, не хватит места даже в книге из десяти глав. И каждая будет посвящена только одному характерному слою населения лагеря, которое можно сгруппировать следующим образом:

— советские вояки: власовцы и пленники;

— партизаны;

— инженеры, а также другие интеллектуалы — люди мысли, искусства;

— молитвенники — протестанты и ярые отказчики— и другие сыны катакомбной церкви, а также сектанты;

— рядовые работяги;

— беглецы;

— чеченцы, ингуши, крымские татары, кабардинцы, балкары, калмыки, выселенные из родных мест и попавшие в лагеря;

— бандиты и уркаганы с политическими статьями (58^{14});

— легионеры и солдаты дивизий СС, немецких и национальных;

— придурки;

— советские и партийные работники;

— стукачи;

— гады: начальство, чекисты, надзиратели, конвой;

— вольнонаемные работники треста;

— активные борцы с чекистским произволом — организаторы центров возмущения.

В 1972 году в Женеве я посмотрел английский фильм «Один день Ивана Денисовича». Мне очень жаль, что я не был консультантом и не смог помочь кинофирме в осуществлении ее прекрасного замысла. Актеры хорошие, режиссер добросовестный, сценарист чересчур старательный. Вот эта старательность и подвела: фильм является робкой иллюстрацией повести, а этого как раз делать не следовало.

В 1962 году повесть явилась прорывом лагерной тематики в советской литературе. Но чтобы ее опубликовать в советском журнале, взяли соответствующую плату: описание слаженной и быстрой работы бригады каменщиков. Это была первая уступка. Такая работа была возможной и, может, даже имела место, но она была нетипичной, нехарактерной для особлага и в какой-то мере даже обидной. В особлаге работали с прохладцей и за процентами выработки не гнались. Первое время усердные работяги прихватывали часть обеденного перерыва, но мы покончили с таким положением насмешками и угрозами. Особлаговец быстро начинал себя чувствовать членом большой зэковской семьи, в которой хоть и не без урода, но замечательных людей тоже хватает, у них есть чему поучиться, их можно и следует послушать.

Второй уступкой было изображение бывшего коммуниста, морского офицера Буйновского в качестве героя-

протестанта. Дружную работу перед самым концом смены еще иногда можно было наблюдать, особенно когда деловой цикл требовал завершения, но выходка Буйновского на разводе, где он протестует как коммунист, исключалась в обстановке особлага, ибо означала саморазоблачение — она могла исходить только от сторонника сталинского режима, следовательно, от пособника чекистов. Немногие бывшие коммунисты боялись этого как огня. О своих коммунистических идеалах, если у кого они и остались, они могли говорить беспрепятственно только в кабинете чекиста, и при этом от них требовали немедленного доказательства на деле искренности их заявлений, то есть превращения в стукачей. В особлаге на это шли далеко не все, а некоторые даже проклинали свое коммунистическое прошлое. Прообразом Буйновского в лагере был капитан второго ранга Бурковский — человек крайне ограниченный, чтобы не сказать глупый. Наши объяснения в одно его ухо входили, а в другое выходили. Хорошо хоть, что он не превратился в стукача, ибо мы его не раз предупреждали. В его голове не могла родиться мысль ни о каком протесте: он был службист до мозга костей и добровольный раб сталинской деспотии.

Приходится слышать упрек, что Солженицын идеализировал Ивана Денисовича. Это неверно, и чтобы это понять, следует разобраться в обстановке. Времена, когда в России были патриархальные крестьянские и рабочие семьи, — в далеком прошлом. Пресс безбожного развала душ действовал на все слои населения, и в первую очередь — на горожан. Несмотря на это, немало горожан оказались более стойкими к пропаганде и направленному на них насилию, чем несчастные жители обезглавленной, исковерканной деревни. Стойкость определялась верой в Бога, умственным развитием, общением с более опытными и развитыми людьми.

Но и в деревне, благодаря ее более обособленному от коммунистического агитационного пресса существованию, имелось также немало хорошо разобравшихся в главном людей. Одним из них был Денисыч. Если Денисычу хватило ума со всеми другими сдаться в плен, когда немцев ждали как освободителей, и убежать от Гитлера, как только стало ясным, что он явился как захватчик, то он догадался бы не рассказывать свою одиссею армейским чекистам по прибытии в советский штаб.

Но там его запутали, сличили его показания с другими, дали очные ставки, и пришлось признаться.

Формула Денисыча: «Что не сработано честным трудом, то и не заработано» — несет в себе не только отголосок стародавних времен, но и требования, предъявляемые в любую эпоху к мастеру своего дела. Даже в лагерях, с туфтой и отвращением к рабскому труду, мастер отвечал головой за работу и одновременно кормил себя и подручных. С такой оговоркой эту формулу можно принять как рабочую установку, а не отжившую погремушку. Внутренний мир Ивана Денисовича дан Солженицыным правдиво и типичен для миллионов людей, исковерканных безбожной системой.

Глава 19

НА КАТОРГЕ

(Продолжение)

Отпор террору чекистов

Осенью пятидесятого я перешел на инженерную работу по восстановлению кислородной установки и одновременно занимался для себя объяснением механики на квантовом уровне. Я возобновил свои воркутинские бдения: на этот раз так же подымался в четыре утра и работал почти до семи над своими изысканиями, из зэковского десятичасового рабочего дня ухитрялся выхватывать тоже часа два, вечером спал до поверки, затем бодрствовал до двенадцати ночи. Я был поглощен своими поисками и для друзей оставлял только выходной и вечер накануне. От людей я окончательно не оторвался, но сильно ограничил свою активность и вмешательство в дела заключенных. За время этапа и первых двух месяцев на общих работах я постарался передать ближним свой опыт, установки и заповеди, особенно налегая на те, что требовали борьбы и преодоления сопротивления. Я договорился с товарищами, что в случае необходимости всегда постараюсь помочь, но просил не привлекать меня к обсуждению повседневных дел. Одновременно я добился, чтоб Солженицына вообще оставили в покое и не отвлекали от его творческих планов.

События подкрались удивительно незаметно. На этап из Долинки в первое время не обратили внимания. Лишь недели через две дошли слухи, что в Долинке, где было такое же, как наше, отделение Песчаглага, произошел какой-то шум и пожар, — скорей поджог. Разнесся слух, что среди долинцев нет ни одного стукача, и они имеют возможность разговаривать в бригаде громко о том, что мы только вполголоса поверяли хорошим знакомым. На работе они вели себя тоже как-то необычно: загорали, много сидели и разговаривали, курили. На замечания прикрепленного к объекту надзирателя, который обязан был в раз в день наведываться в разное время, чтобы пресекать нарушения, они вежливо отвечали, что не его дело вмешиваться в производственные дела бригады. Когда надзиратель угрожал записать номер отвечавшего зэка, ему вежливо, но твердо заявляли, что они все так говорят и пусть он записывает всех подряд... У вольнонаемных прорабов, десятников, представителей треста они потребовали, чтобы наряды были заранее выписаны и выданы им на руки. Затем нагло обсуждали каждую норму, объясняли ее нереальность, говорили, что она придумана идиотом, либо циркачом. Предлагали нормировщикам сначала показать своими руками возможность выполнения записанного в наряде, а они тем временем посидят, покурят и посмотрят. Торговля проходила в атмосфере шуток, подначек и приводила к максимально благоприятным нормам, в которых учитывались все необходимые подсобные, вспомогательные работы, и бригада шутя-играюче вырабатывала свой гарантийный паек. Вечером, когда надзиратель вызывал кого-либо для отправки в карцер или в бур, ему вежливо объясняли, что у Мыколы или Стасика живот сегодня разболелся и одного его не отпустят, но раз виноваты все — не отказываются вместе туда проследовать. Если надзиратель пробовал схватить за руку «Стасика», то перед ним вырастала стена из его собригадников. При этом все улыбались, разговаривали приветливо, предлагали закурить... Начальство поняло, что потеряло способность управлять этими людьми, а без стукачей невозможно было узнать, что зэки говорят, думают, намереваются делать, кто зачинщики... Было принято решение расформировать долинцев и раскидать их по остальным бригадам. Долинцы были в основном бандеровцами, власовцами, литовскими робингудами. Моло-

дые парни хорошо познакомились за время лесной партизанской войны с автоматами и пулеметами, но обзавестись гражданскими профессиями не успели, поэтому к нам в мехмастерскую никто из них не попал.

Вскоре в одной из соседних бригад на чердаке был обнаружен труп повесившегося самоубийцы. За тринадцать лет лагеря я помню считанное число достоверных самоубийц. У друзей счет был такой же, за исключением самоубийств подследственных. Пополз слух, и вскоре он подтвердился, что самоубийца был замеченным, провалившимся стукачом. Через две недели на объектах в один день были убиты два стукача.

Стукачи были самыми страшными и опасными врагами. Чекист без стукача бессилен. Количество заключенных, уничтоженных вследствие предательства, провокаций и клеветы, огромно и сравнимо лишь с погибшими от искусственно созданного в лагерях голода. Ни блатные, ни комендатура, ни надзорсостав, ни сами чекисты без помощи стукачей не смогли бы нанести и малой части того урона, который был обеспечен их деятельностью. Около лагерной больницы находился барак, заполненный чахоточными молодыми людьми, заработавшими болезнь в карцерах в основном зимой. Все они были жертвами стукачей. Из-за них были переполнены карцер, изолятор, бур. Чувство мести и ненависти против них накопилось и ждало лишь выхода. Разбросанные по бригадам зэки из Долинки охотно делились своим опытом.

Борьба со стукачами велась всегда, но в разное время по-разному. В военное время помогали силы природы и условия, в которые попали те, кто был на общих работах, поэтому отдельной расплаты не требовалось. На Воркуте стукачей ненавидело само начальство, и их списывали на шахты, где они уничтожались самими блатарями. На шарашке борьба с предателями была невозможна. В спецлагере появилась новая для всех форма истребления стукачей средь бела дня. Естественно, это вызвало живейшее обсуждение.

Всю жизнь я был против террора в любом виде и всегда был сторонником борьбы с ним. Чекисты осуществляли неослабевающий террор. Его проводниками в среде заключенных были стукачи. Следовательно, они были необходимейшим орудием террора и сами являлись террористами. При таких обстоятельствах уничтожение

крупного стукача, убившего нескольких заключенных и подорвавшего здоровье многих, было актом самообороны и защиты от терроризма. Спруту надо отрубать щупальца: ведь он сам избрал такое применение себе, вкрадывался в доверие, выпытывал, вызывал на откровенность, доносил, врал и клеветал. Есть ли что-нибудь более отвратительное на земле, чем служба таких иуд?.. Они хуже чекистов, палачей, прямых исполнителей актов террора...

Стукачей можно уподобить ленинской агентуре, действовавшей на германские деньги в 1917 году после свержения царя. Агенты обманывали простых людей, прикидывались радетелями за блага трудящихся, призывали открыть фронт, оставлять позиции, убивать своих офицеров и верных солдат, любой ценой кончать уже почти выигранную войну... Долг велел отдавать этих изменников под военно-полевой суд. Проявленная мягкотелость и безынициативность привели страну к гибели.

Стукачи непрерывно вели скрытую, тайную войну с заключенными и в любой момент могли ожидать — и многие дождались — расплаты. В нашем особлаге сами стукачи и их хозяева переусердствовали. Непомерный град репрессий валился на головы заключенных, которые несмотря на беззаконный их перевод в положение каторжан, неплохо работали и вели себя вполне сносно.

Расплата с пособниками чекистского террора — стукачами — велась систематически в течение восьми месяцев. Уничтожено было сорок пять человек. Операциями руководили из строго законспирированного центра, видимо, состоявшего из нескольких заключенных с долинского этапа. Мы были свидетелями того, как ряд заключенных, не выдерживая ожидания и стремясь избежать своей участи, убегали в лагерную тюрьму, куда их прятали от неминуемой, как им казалось, расправы. Беглые стукачи содержались все в одной камере, получившей прозвище «забоюсь».

Свирепая борьба со стукачами резко парализовала и крайне ослабила их деятельность. Без них чекисты ослепли и оглохли. С целью разрядить обстановку они устроили фарс: подготавливалось якобы снижение сроков наказания. Вызывали зэка и спрашивали, в какой город он хочет ехать после освобождения. Зэк отвечал, что у него еще двадцать три года впереди. «Нет. Вам сидеть столько не придется, идет пересмотр де-

ла», — говорили ему. Все это было шито белыми нитками, и скоро, после наших разъяснений, над такой болтовней стали открыто смеяться.

Несколько раз чекисты делали неуклюжие попытки вызвать взаимную резню между заключенными разных национальностей. Ставка делалась на распрю между бандеровцами и магометанами (чеченцами, ингушами, татарами, азербайджанцами). Но план сразу удалось разгадать и обезвредить. Особенно старался устроить такую Варфоломеевскую ночь начальник надзорслужбы лейтенант Мочеховский, чекист, прошедший школу у красных партизан Ковпака. Часто видели, как лейтенант что-то вынюхивает на лагпункте, но к нему и к другим вольным расправа не относилась, так как охота шла только на стукачей-зэков. После неудачи с взаимной резней Мочеховский сотворил жестокую провокацию и, сам того не желая, нанес ею удар в самое сердце особлагов.

Сила духа

Уже на Западе я прочел книгу Н. Краснова «Незабываемое». Он отбывал свой срок в Озерлаге в те же годы и сообщает о фактах, которые у нас благодаря сплоченности были невозможны. Разница колоссальна! Они были задавлены страхом, покорны, не помышляли о протесте, смотрели в рот каждому конвоиру. За это их расстреливали, мучили, изводили на нечеловеческих работах. Без хорошей закваски люди немногого стоили. Именно в ней была сила!

В гитлеровских лагерях заставляли заключенного стоять и кричать: «Я, марксистская свинья, продал Германию». Вздумали ввести такую практику в Спасском лагере, населенном инвалидами и умирающими от туберкулеза и силикоза, приобретенных на шахтах Джезказгана. Но ничего не получилось. В нашу бытность в Экибастузе не могли добиться, чтобы зэк здоровался или снимал шапку при встрече с надзирателем. Зэк обычно отворачивался в сторону и проходил мимо.

Весной пятьдесят первого произошло «гордое самоубийство», как мы его позже окрестили. В одной из строительных бригад был замкнутый суровый мужчина лет тридцати, бывший немецкий или венгерский офицер. Он держался обособленно и одиноко. В бригаде его

очень уважали. Однажды, когда зэков привели к месту работы, безо всякого внешнего повода, он молча вышел из последнего ряда и пошел прямо на конвоиров, которые замыкали шествие. Руки он спрятал в карманы бушлата, на окрики не отозвался и был сражен веером пуль, которые не могли задеть колонну — с таким расчетом он выбрал автоматчика, на которого шел. Так и осталось неизвестным, что он при этом думал. На всех нас его убийство произвело огромное впечатление, многие поняли, что среди нас есть истинно гордые люди. Своей великолепной смертью он как бы зажег факел нашего глухого восстания. Вероятно, где-нибудь были у него родные и близкие, но в холодном задуманном протесте он пренебрег всем. Так поступают только герои.

До последнего времени охранявшие нас солдаты, видимо, согласно уставу конвойной службы, держались от нас на почтительном расстоянии. Однако после «гордого самоубийства» отношение к нам резко изменилось. Атмосфера стала сгущаться; на разводах сыпались ругательства, зэков обзывали «фашистами», «контрой», «бендерой»... Видимо, на политзанятиях солдат накачивали крепче обычного. Как-то по прибытии в мастерскую недосчитались одного человека и приказали всем вернуться назад, за ворота вахты. Заключенные уже разошлись по своим цехам, бригадиры отказались выполнить команду конвоя, предлагая пересчитать людей на рабочих местах. Сопротивление было выдержано в стиле глухой борьбы, которую мы вели в то время. Громче всех из бригадиров разорялся наш Павлик. Начальник конвоя пригласил его, как представителя заключенных, пройти на вахту и дать там свои объяснения. Ловушка была слишком очевидной. Ведущих зэков поблизости не было, и Павлик, движимый отнюдь не благоразумием, а львиной отвагой и стремлением геройски отличиться, сделал то, на что не рассчитывали сами конвоиры, — решительными шагами отделился от кучки бригадиров и прошел на вахту. Бригадиры, поняв опасность, бросились врассыпную и стали созывать зэков. Через несколько минут, как по военной команде, перед вахтой столпились почти две сотни, остальные бегом спешили к воротам. Кто-то завопил: «Верните бригадира!» — сотни глоток подхватили. Через две-три минуты дверь вахты резко, как от пинка ногой, отворилась и на пороге появился красный как рак Павлик. Резким броском он

миновал критические десять метров, где его еще могли сзади застрелить, не задевая пулями толпу, и пошел к воротам быстро и уверенно. Кратко он поведал о происшедшем за закрытой дверью. Он безбоязненно стоял в центре вахты. Вопросы-ответы сразу перешли в ругань и угрозы. В ушах звучало: «контрреволюционный саботаж». Взбеленившись, но не показав виду, Павлик ответил примерно так:

«Мы революционеры, не вы. Мы борцы с вашим тюремным фашизмом. Хватит вам тридцать четыре года считать себя революционерами. Раз вы против нас, то вы — настоящая контра. Зарубите себе это на носу». Его слова произвели ошарашивающее впечатление на солдат. Такой взгляд на события был для них совершенно новым. Начальник опомнился и приказал солдатам скрутить обличителя. Выполнить его приказ оказалось не так просто. Крестьянских парней, видимо, не обучили боксу, ни дзю-до, да силенок было не ахти сколько, как говорится, «кишка тонка». Павлик расшвырял их, как котят, и выскочил в дверь.

Отвага, убежденность, готовность к борьбе остальных заключенных лишили палачей возможности применять их обычные методы. В толпе зэков, в лагере и на производстве, Павлик был в безопасности. Взять его можно было только применив вооруженную силу. Но в той атмосфере ввести в зону взвод автоматчиков было очень опасно: они рисковали остаться без автоматов. Одно дело — дать залп с безопасной позиции, другое — войти в толпу безоружного, но решительно настроенного врага.

Штурм тюрьмы

Выражаясь по-лагерному, начальство «попало в непонятное». Заключенные по-прежнему выходили на работу, подчинялись лагерному режиму, но сеть осведомителей была приведена в негодность. Лагерные придурки вдруг стали вежливыми — прекратились крики, ругань, требования бригадиров находили полное понимание; лагерный нормировщик начал оспаривать применение норм трестом. Все бригады получали повышенный паек, ни одного доходяги не было, больше того, заключенные каждые два дня без ущерба отдавали в изолятор часть своих запеканок... Жаловаться лагерное

начальство боялось — могли обвинить в неумелости. Каждый осведомительский чекистский отдел также дрожал за свою шкуру, боялся расследований и потому молчал. Возможно, что их донесения задерживались в соответствующих отделах Песчанлага, а может, и замораживались в недрах самих министерств, поскольку говорили не о достижениях чекистов, а о провалах.

Свыше пяти тысяч заключенных было сосредоточено в лагере. Начальство надумало разделить лагпункт пополам, выделив всех украинцев-бандеровцев. Так предполагали ослабить общий фронт и выследить руководителей.

В изоляторе томились зэки, подозреваемые в убийствах стукачей. Следствие ничего не дало, и под влиянием лагерного настроения их приходилось постепенно выпускать обратно на лагпункт. Тогда Мочеховский, вероятно, с разрешения чекистов, стал «бросать» отдельных подозреваемых в камеру, где прятались сбежавшие стукачи, для того, чтобы они снимали допрос своими силами, с применением пыток. Терроризм несет в себе зерно развала и уничтожения. В данном случае терроризм сработал против системы чекистов: этим актом чекисты сами взорвали фундамент особлагов.

Крики и стоны пытаемых доносились до остальных камер изолятора. Дня через два сообщения о пытках дошли до лагпункта. 21 января 1952 года бригады мехмастерской, как всегда, пришли в зону последними, так как у работавших под крышей смена была более продолжительной. Я услышал характерный звук отдираемых от забора досок, сопутствующий пожару, когда выходил из столовой и прятал ложку в валенок. Описанный Солженицыным в рассказе «Один день Ивана Денисовича» бывший узник Бухенвальда, тугой на ухо зэк и то всполошился. Мы с ним переглянулись и быстро пошли в направлении шума. У линейки — центральной дороги, разделяющей лагерь подобно оси симметрии, — мы заметили черные фигуры, которые бегали и что-то кричали. Изолятор был рядом с вахтой, справа от нее, и я припустился в этом направлении. Мой спутник Клекшин отстал и, видимо, повернул налево, к нашему бараку. Зэки выламывали доски у забора, окружающего каменный изолятор, и, как тараном, пытались сбить решетки с окон в камере стукачей. Решетка не

поддавалась, но тут подкатили бочку с горючим, которое употребляли для розжига печей (так как экибастузский уголь содержал до шестидесяти процентов золы и пользоваться им было крайне трудно). В камеру плеснули ведра три горючего. Поджечь не успели: заработали пулеметы на вышках, с линейки солдаты, вызванные из штаба, начали стрельбу из автоматов. Почти все участвующие в операции зэки, бывшие фронтовики, бросились врассыпную, пригнувшись, как во время перебежек в атаках. Через минуту уже никого не было. Положение зэков, проживавших в бараках слева, было рискованнее, так как надо было пересечь линейку, по которой строчили автоматчики. Поэтому мы короткими перебежками достигли дверей соседнего с изолятором барака, прозванного «Карабас» — по имени знаменитой казахстанской пересылки. Мы ворвались в барак и остановились у притолоки.

От разгоряченных участников я узнал о причине штурма тюрьмы. Все произошло стихийно и поэтому крайне необдуманно: хлебонос сообщил усталым людям, пришедшим в зону после работы, о криках пытаемых, и умы воспламенились, чувства взорвались... Плана никакого не было, и операция не принесла ощутимых результатов. Под прикрытием хлебоноса можно было войти в изолятор заранее через дверь, связать тюремщиков, выпустить узников и разделаться со стукачами соответственно с раскаленной атмосферой. Во время стрельбы я анализировал события и нащупал это решение. Внезапно стрельба прекратилась, и я бросился к своему бараку. «Стой, стрелять буду!» — раздался окрик. Быть пойманным в зоне означало смерть, и я надеялся только, что дверь в барак не будет закрыта изнутри. В это мгновение я совершенно выпустил из виду, что в тех лагерях ее запирали снаружи после отбоя. Пара пуль из пистолета вонзилась в притолоку над моей головой. Я рванул ручку: на полу коридора вплотную сидели спасавшиеся от выстрелов. Через несколько минут вбежали Володя Тимофеев, Богдан и еще несколько молодых ребят — явных участников штурма. Оправдываться было бесполезно — в наших бригадах стукачи уцелели, так как не подверглись избиению, и отметили меня в своих кондуитах. Стреляли больше для острастки, и пули не достигали живых мишеней из-за преград бараков. Поэтому убиты были немногие, но зато надзи-

ратели добили несколько раненых железными палками. Общее число убитых не превышало десятка.

Мы были неподготовлены к решительным событиям, и на следующий день бригады мехмастерской, наиболее советские по своему составу, не отдавая себе отчета в действиях, вышли на работу и задним умом поняли, что наделали. Было не до выполнения заданий: нас бесконечно посещали вольнонаемные, имевшие пропуск в мастерскую, и выпытывали подробности событий, которые кто-то назвал «ленинским расстрелом», коль скоро он произошел в годовщину смерти Ленина.

Вечером, к стыду своему, мы узнали, что были единственными. Остальные бригады в знак протеста отказались выйти на работу, и нас справедливо обругали штрейкбрехерами. Конечно, координации никакой не было, нас никто не предупредил, сами же не сообразили.

В последующие дни решили объявить забастовку и одновременно голодовку протеста. Стало ясно, что руководство находится в надежных руках. В бараках были зачитаны требования заключенных к администрации лагеря: вызов республиканского прокурора, прекращение непрерывных репрессий, наказание виновников пыток в изоляторе. Три тысячи зэков остались в бараках, не пошли в столовую и за хлебом, наотрез отказались работать. Надзиратели лебезили, уговаривали, но из задних рядов их обзывали палачами, убийцами, спрашивали, не устали ли они, добивая раненых. Ушли они несолоно хлебавши. Те, кто получали посылки, снесли остатки припасов в общую кучу, и побригадно было организовано по сути дела символическое питание, так как посылки обязаны были храниться в каптерке, а на руки выдавали лишь необходимое на несколько дней. В первый день повара и пекаря вышли на работу, но сваренную еду пришлось из котлов ведрами вынести на помойку. Связь между бараками поддерживали ребята, доставлявшие уголь. Они передали поварам требование больше не готовить. Трубы пищеблока перестали дымиться, лагпункт производил грозное впечатление. Дни были морозные, безветренные, дым из бараков образовывал подобие серых длинных свечей. В зоне ни души. Тишина!

На второй и третий день стали забегать начальники. Им повторяли требования заключенных и категорически

заявляли, что до приезда прокурора об окончании голодовки не может быть и речи. От связных мы узнали мрачную новость: бандеровцы на своем лагпункте, смежном с нашим, к забастовке не присоединились. Мы поняли, что центр смутьянов из Долинки разделился по лагпунктам, а связь между ними нарушена. К концу третьего дня из «Карабаса», где находились инвалиды и «слабосиловка», вышедшая из больницы, пришло тревожное сообщение о том, что их силы на исходе и они просят прекратить голодовку. Кое-как удалось уговорить. На четвертый день прилетели прокурор и высшее лагерное начальство. Они обходили бараки, выслушивали требования, ничего толком не обещали, но пригрозили, что если мы на работу завтра не выйдем, то будем отданы под суд за контрреволюционный саботаж (по статье 58[14]). Из задних рядов кричали: «Долой! Мало вам нашей крови! Прокурора!» Не верили утверждениям чина, что он и есть прокурор. «Прокурор должен наказать виновных, а вы нам только угрожаете!»

Прокурор со свитой удалился, но оказалось, что немало людей он сумел напугать. Поползли разговоры об окончании назавтра голодовки. Молодые хлопцы, в том числе Володя, Богдан, метались, уговаривали... Наконец, решили устроить общее собрание и обсудить положение. Но что могли сделать пылкие и чистые дети, когда опыт последних десятилетий, чекистская машина террора, полное бесправие рабов, страшный произвол людоедов были против них. Одного движения Сталина было достаточно, чтобы всех немедленно перестреляли. Привычными доводами оказалось крайне легко разбить их шаткие в своей новизне предложения. Мне было ясно, что советское нутро брало верх, и если не вмешаться, то вынесут позорное предложение о сдаче. За эти дни я отчетливо понял, что участь моя все равно давно решена: приму я участие или нет — безразлично, все видели, как я вбежал в барак, когда в меня стреляли. На шее все равно висела тяжелая гиря лагерного срока за подготовку восстания. Настал момент оправдать это обвинение.

С легким сердцем я взял слово и начал убеждать продолжить забастовку. Сильных доводов я выставить не мог, так как мне тоже была ясна неизбежная расправа и месть чекистов. Но все во мне говорило, что нельзя сдаваться — еще день-два, и мы одержим крупную мо-

ральную победу. Я говорил несвойственными мне туманными фразами, и не было ясности и логики мысли, к которым я всегда стремился. Но в этой аудитории интуитивно я выбрал самый верный путь. Мне удалось убедить не идеями, а всем своим существом. Конечно, не обошлось без веских аргументов. Мое выступление сводилось к следующему:

— Раньше всех бросит голодовку «Карабас». Позор его опередить. Мы и так «отличились» выходом на работу в день после расстрела. Пусть возьмут слово те, кто может доказать, что сытые, здоровые люди с большим числом посылок и возможностями приработка должны бросить раньше всех голодовку. Виновников измены памяти погибших мы будем рассматривать только как предателей общелагерной честной, справедливой борьбы с местным произволом и беззаконием. «Мы ждем и запоминаем».

— Кончить голодовку мы можем, только вырвав у прокурора и начальства согласие удовлетворить наши требования. Потом обещания, конечно, нарушат, но победа все равно будет одержана нами. Следует думать не только о завтра, но и о послезавтра. У людей громадные сроки. Репрессии можно пережить, но победа даст нам право добиваться улучшений и тогда сами репрессии будут слабее.

— Для нас пустяк поголодать еще пару дней, но для начальства любого ранга каждый день нашего протеста может обернуться трагедией всей их жизни. И это обстоятельство для них важнее.

Саня Солженицын считал, что это лучший день моей жизни. «Твой голос переливался и звенел, как серебро. В твоем облике были убеждения и вера в свою правоту», — сказал он мне. Так или иначе, но предложение кончить забастовку было провалено. В своей дальнейшей судьбе я тоже не сомневался: с рук это сойти не могло, хотя я плел все в рамках законности...

На следующий день прокурор и начальство совершенно изменили тон. Они уговаривали по-хорошему, обещали все исправить, репрессий не производить, виновных из лагерного начальства наказать. Нам было ясно, что это обман, и они обязательно возьмут реванш, но радостное сознание одержанной победы нас не покидало. Забастовка-голодовка длилась пять суток. Начальство отдало нам за эти дни весь хлеб, первые дни нам отпус-

кали двойные порции. Кроме того, разрешили кино, выдали постельные принадлежности. Вскоре начали устраивать совещания бригадиров, успокаивать, но одновременно выпытывали, приглашали высказаться... Это было предвестием репрессий.

Стукачей из камеры «забоюсь» немедленно вывезли. Жертвы их пыток были выпущены на лагпункт, а когда начались репрессии, их куда-то отправили.

Расправа

Расправа началась через две недели. Из Караганды приехала бригада следователей, начались допросы. Мы нагнали, видимо, страху, и первое время они не пытались арестовывать в зоне: знали, что ничего не получится, боялись новых эксцессов. Первый арест был произведен в поле. Во время шествия на работу колонну остановили, ее окружила со всех сторон вооруженная автоматами и ручными пулеметами рота солдат. Нам приказали сесть. Такую команду я услышал в первый и последний раз. Незнакомый офицер предупредил, что оружие находится на боевом взводе, в случае нарушения порядка стрельба начнется без предупреждения, и, кончив речь, плотоядно облизнулся. После этого он выкликнул пять фамилий из числа ребят-связистов во время голодовки, которых засекли надзиратели. Всем было ясно, что расправы не избежать, но сопротивляться недельку-другую еще было можно. Людей не надо было отдавать. Посидели бы пару часов, начали бы кричать, напугали бы конвой и отвели бы нас на работу. Моральное право было за нами: ведь нам обещали не производить репрессий. Центр руководства забастовкой решил иначе. Они считали, что расплаты не миновать, но надо пережить эту фазу и нести факел борьбы в другие места. В таком рассуждении был смысл — сталинская деспотия была в своем зените. Названные ребята поднялись, не желая, чтобы из-за них морозились остальные, и подошли к конвоирам. На них немедленно надели наручники. После этой акции стали вызывать на допросы в зоне. Большинство возвращалось обратно. Всем передавалась главная установка: пережить трудное время и разносить всюду пламя борьбы, так как было ясно, что в таком составе нас чекисты не оставят, сладят с нами не мытьем, так

катаньем, и обязательно развезут по другим лагпунктам.

При разделении нашего лагпункта тюремный изолятор остался на нашей половине, а больница — на другой. Оттуда под конвоем приводили врачей для осмотра больных, а на излечение переводили на украинский лагпункт. Солженицына уже несколько месяцев мучила опухоль. Время шло. Пока врачи колебались в диагнозе, разделили лагпункты и произошли грозные события. Наконец, Саня добился перевода в больницу и в начале февраля покинул нас. Наша четырехлетняя жизнь под общим кровом, в теснейшем общении, окончилась.

Тринадцатого февраля мне приказали не выходить на развод, а часов в десять утра привели на допрос. Я знал, что на лагпункт мне не вернуться, поэтому простился с друзьями и попросил их позаботиться о моих пожитках, в которых были мои записи по механике, диалектике и работа по кузнечному делу. Несколько следователей, половина которых были казахи, ждали меня. Они переговаривались на своем родном языке. На все вопросы я отвечал однотипно: «Нет, не знаю, не ведаю, не слышал, не видел...» Меня стали шантажировать остатком срока, но я отрубил: «Год или десять лет лагеря ничто по сравнению с вечной жизнью бессмертной души». Я давно понял, как с ними надо разговаривать, и поэтому держался крайне независимо и даже дерзко. Еще во время совещаний начальства с бригадирами мы с радостью отметили, что антисоветской политической подкладки под происшедшие события не подводят. Они считали, что это «волынка»[12], то есть своего рода массовое хулиганство. Начальнички заботились о целости своих голов, так как за политический провал их могли бы всех перестрелять. На вопрос о моем участии в сбытиях я ответил, что хулиганством не занимаюсь, с хулиганами не вожусь, а являюсь неудавшимся ученым, правда не по своей вине. На случай, если им придет фантазия запутать меня в политическое дельце, которое они смогут пожелать испечь, я объяснил, что хорошо понимаю, почему они выдумали слово «волынка», и сумею доказать их намерения, используя некоторые свои соображения для защиты. Наглостью и дерзостью к тому времени удивить их было невозможно: из общего уровня я не выделялся. Они погуторили на непонятном мне языке, и меня отвели в лагерную тюрьму.

Изолятор был построен год назад. Каменные стены еще не обсохли, в углах был иней, так как печи почти не топили; выбитые во время штурма стекла не вставили, а сами зэки заткнули их тряпками. Помещение отапливалось теплом человеческих тел. Потянулись тюремные будни. На допросы меня не вызывали, и я просидел так полтора месяца.

В тюрьме я сдружился с татарином Юсупом. Он был родом из Азербайджана, сын высокопоставленных партийных работников. В тридцать седьмом сталинский сатрап Багиров пересажал всех из своего партийного окружения, предъявив им обвинение в желании оторвать Азербайджан от СССР. Допросы главных деятелей вел сам Багиров. Восточная изощренность этого сатрапа не знала пределов. Он обрушил град страшнейших пыток на своих недавних сотрудников и близких людей. Юсуп тогда был еще юношей. Ему перебили нос, несколько раз завязывали в смирительную рубашку, он ослаб настолько, что заболел чахоткой... В его родительском доме было вытравлено понятие о религии, и в детстве он ничего не слыхал о магометанской вере, но под влиянием поучений друзей и всего пережитого вернулся к заветам предков. Человек он был прекрасной, необыкновенно чистой души, и на него, безусловно, можно было положиться.

Польский еврей, портной, ждал освобождения, а пока что рассказывал много интересного о движении сторонников Жаботинского в предвоенной Польше. Третьим обитателем камеры был громадный детина, по профессии — уголовник, по недавнему прошлому — власовец. Из его рассказов, впрочем, следовало, что в Германии тоже он промышлял воровством и грабежами; о своих ратных подвигах он умалчивал. Воров в особлаге не жаловали, и, возможно, он придумал про власовца, чтобы реабилитировать себя в глазах окружающих.

В первую неделю пребывания в тюрьме разнесся слух, что горит «новый док» (деревообделочный комбинат). Строения дока почти все были деревянными. Под знойным солнцем и ветрами Казахстана дерево высохло и горело, как порох. К вечеру от дока остались одни головешки. На его строительстве работали только бригады с бандеровского лагпункта. Всем нам было ясно, чьих рук это дело. Для себя я назвал эту операцию «похороны викинга», так как среди нас шумным успехом пользова-

лось произведение Персиваля Рена того же названия и с похожей фабулой. Викингами были для меня все борцы, сложившие голову в борьбе с террором. Много красочных, блестящих, сильных, несгибаемых разнообразных людей встретил я в особлаге. Жизнь там была чрезвычайно богата событиями. Можно бы вспомнить ряд интересных, содержательных эпизодов, из которых читатель почерпнул бы ценный материал. Об особлаге следует написать отдельную книгу, и в глубине души я надеюсь, что этот пробел будет восполнен кем-либо из молодых очевидцев.

Однажды ночью мы были разбужены и переведены в другую камеру. Начались сборы на этап. Тем, кому задержали посылки на время посадки в изолятор, раздали их перед отправкой. Началось дикое обжорство, но другим перепало мало, а обо мне и Юсупе вообще забыли. Мы были не в претензии: ребята из других камер не могли нас знать. Большой удачей было то, что Мочеховский, руководивший обыском и выдачей вещей, пропустил мои записки. С его на этот раз легкой руки, тюремщики и конвоиры на моем тяжелом пути штрафника один за другим пропускали эти рукописи. В пути у меня отобрали только в Спасске книжечку с напечатанными типографским способом двенадцатью евангелиями. Рядом отбирали куда менее подозрительные и крамольные вещи, мне же удалось провести мое сокровище через двенадцать обысков, свирепых и придирчивых, ибо нас везли как опасных бунтарей и смутьянов.

Наш этап прошел через Павлодар, Омск, Караганду и прибыл в Спасск, который был прозван лагерем смерти, так как в нем производили расстрелы и умирали тысячи инвалидов и неизлечимых больных. Нас встречали и провожали как штрафников, соответственно, держали в наиболее тяжелых тюремных условиях, главным образом в подвалах, казематах, штрафбараках. Мы всегда с радостью читали там, на стенах уборных: «Привет героям Экибастуза!» — или аналогичные надписи. Строго говоря, подлинно героического мы не совершили, но доказали то, что мне давным-давно было ясным, и что я старался внушать другим:

— борьба со сталинизмом даже в самых тяжелых условиях лагерей — возможна и необходима. Она увенчается успехом, если отбросить рабий страх и стряхнуть гипноз, нагнетаемый органами подавления;

— в целом сумма репрессий за активные, смелые, дружно проводимые действия гораздо меньше, чем когда начинается взаимная продажа даже при пустяковых нарушениях;

— чекисты наглы, кровожадны, беспощадны, когда их боятся. Достается гораздо меньше тем, кто понимает шаткость положения прислужников режима, умеет нащупать слабое звено в их рядах и взаимоотношениях и, главное, дает отпор. Под натиском людей доброй воли зло отступает.

Забастовка трех тысяч человек впервые доказала возможность открытой борьбы легальными средствами с произволом сталинских сатрапов, когда система подавления и террора была доведена до предела. Мы нанесли поражение чекистам, пронзили сердце особлагов, после чего началась вереница непрерывных уступок и смягчений, и показали дорогу всем, кто хотел вести борьбу с произволом и унижением человека. Эхо быстро разнеслось по империи ГУЛАГа, и стали возможны последующие возмущения в Джезказгане, на Воркуте и в других местах, окончательно добившие массовое рабовладение в стране.

Шестимесячное путешествие в качестве штрафника, пребывание в штрафизоляторе Спасска, столкновения со следователями, встречи с простыми тружениками, водворение в «спокойный» лагпункт Караганды, освобождение из лагеря и «вечная» ссылка в Северный Казахстан, оказавшаяся, к счастью, трехлетней, будут, если представится возможность и время, описаны во второй книге этих «Записок».

Глава 20

КОРНИ НАСТОЯЩЕГО В ПРОШЛОМ

Взявшись за гуж, не говори, что не дюж

Историки и писатели вскроют и опишут особенности жизни подсоветских поколений. Мне же хочется поделиться с читателем лишь некоторыми соображениями.

1. — Горстка офицеров-добровольцев организовала Белое движение; другие офицеры отсиживались или бы-

ли уничтожены; половина перешла к красным. Солдатский костяк составляли юнкера, кадеты, школьники. Под конец в эту добровольческую армию стали мобилизовывать пленных красноармейцев.

— Казаки примкнули не сразу, так как демагоги сеяли смуту в их среде*.

— Белые отступили накануне почти поголовных крестьянских восстаний.

— Помощь Запада белым войскам была слабой и нерегулярной. Интендантские запасы царской армии почти целиком оказались в руках красных.

— Террористическая деятельность чекистов решила для белых вопрос об их бегстве за границу.

В результате — разгром и поражение Белого движения.

II. Каждый великий народ обязан понимать задачи эпохи, верно учитывать и сознавать ее опасности. Горькие размышления о разгроме Белого движения заставляли предъявлять обвинение ведущим умам России того времени. В конце концов, офицеры сделали что могли: создали армию, сражались и одерживали победы, кровью и муками искупали допущенные ошибки. Нельзя было требовать, чтобы в ходе боевых операций они решали вопросы землеустройства в освобожденной России, выбирали будущую государственную систему, опровергали казуистику захватчиков, именовавших себя коммунистами, и отвечали на многие другие вопросы. Для всего этого были головы интеллектуалов. Если интеллигенция занималась разрушением основ, то люди с истинно высоким образованием и острым умом, прекрасно обеспеченные, бывавшие в Европе и встречавшиеся с тамошними светилами, в тиши своих кабинетов, обставленных переполненными книжными шкафами с великолепно подобранными книгами, — обязаны были предложить правильные, продуманные решения. В начале двадцатых годов светочи русской мысли, попав за границу, сумели сделать немалый вклад в понимание современности и вскрыть ряд ее пороков. Но в годы гражданской войны их влияние не было заметным, и они не обогатили конструктивными решениями Белое движение. В критичес-

* Об этом пишет в своих воспоминаниях генерал Белой армии Деникин.

кой острой фазе, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть, отсутствовала ясная единая цель, был разнобой мнений. Отсюда — пагубные результаты.

Странное поведение интеллектуалов вполне объяснимо. Они сразу попадали в положение ретроградов, как только осмеливались возражать интеллигенции. Это мешало их стремлению к популярности, поэтому верные поиски губились и творчество приостанавливалось. По каким-то таинственным причинам, тон задавала интеллигенция, то есть паразитическая, вредоносная разновидность узколобых горланов, под покровом трескучих фраз разрушавшая Россию.

III. В истории России не раз возникал вопрос: «Кто виноват?»; с середины девятнадцатого века добавили еще: «Что делать?». После того как на последний вопрос ответ нашли люди, обуреваемые патологическим безбожием, дикой, ни с чем не сравнимой ненавистью и презрением к России и ее народам, а также маниакально уверовавшие в людоедскую установку антагонистической классовой борьбы, не только наша страна, но и весь мир попал в исключительно тяжелое положение, когда вопрос — ЧТО ДЕЛАТЬ? — приобрел всемирное значение. Ломать и сокрушать несравненно проще, чем созидать и строить. Ловким демагогам и упорным агитаторам легко достичь возмущения умов. Можно быть очень далекими от истины, но умело разжигая зависть, жажду мести, грабежа, братоубийства, уничтожить хорошо налаженную, жизнеспособную, однако впавшую в беспечность систему.

На Воркуте по вечерам мы вели долгие споры, особенно когда набрались сил, о том, кто виноват в катастрофе 1917 года, в последующих катаклизмах и бедствиях. Все считали виновными Ленина, Троцкого, большевиков, венгерских и немецких военнопленных, латышей, евреев... Временное правительство, Керенского, матросов, социалистов... Внешне это звучало достаточно убедительно и согласовывалось с фактами истории. Но хотя первое время я не имел союзников, было ясно, что цвет нации оказался не на высоте положения и в его стане картина довольно безотрадная.

— Церковь. Когда пролито столько крови священнослужителей и ревностных христиан, упреки тем, кто совершил исторические ошибки, замирают на устах. Цер-

ковь плохим не помяну. Петровской реформой переломали ей крылья; как и другие министерства, управлялась она светским чиновником. С церковной реформой вышла большая задержка. В 1917 году после выбора Патриарха Церковь не успела окрепнуть, набраться уверенности и опыта; слишком укоренилась привычка быть управляемой.

— Офицеры. В русской армии было их двести тысяч, в Белом движении принимали участие без кадетов и юнкеров только сорок тысяч. Большую часть красные мобилизовали в свою армию. Генеральный штаб оказался почти целиком в их распоряжении.

— Казаки. Несмотря на то что коммунисты могли только ограбить казаков и лишить их всех вольностей, большое их число оказалось под влиянием красных и сражалось в коннице Буденного против своих братьев.

— Дворяне. Помещики были основными виновниками недовольства крестьян. Столыпинская реформа, давно желанная для народа, могла бы начаться на несколько десятилетий раньше, если бы не выплата крестьянами денег за землю. Помещики провалили Белое движение, так как многие из них крепко держались за свои поместья. Кроме того, из дворян вышли основные смутьяны и палачи народов — Желябов, Плеханов, Бакунин, Ленин, Дзержинский, Чичерин...

— Интеллигенты*. Основная сила, которая подготовила свержение самодержавия во время войны и весь дальнейший хаос.

— Инженеры, врачи, бухгалтеры, юрисконсульты, работники земств, учителя, деятели искусств, владельцы мелких предприятий проявили полную неподготовленность к событиям, непонимание, инертность, трусость.

— Заводчики, купцы, крупные предприниматели и домовладельцы потеряли все из-за коммунистического переворота. Многие тут же поплатились жизнью. Несмотря на это, Белое движение поддержать не сумели, а некоторые из них постарались даже на нем нажиться...

Сказанного достаточно, чтобы сделать общий вывод: коммунистический заговор и мятеж против законной власти оказались осуществленными благодаря растерянности, неподготовленности, непониманию событий, разрозненности, неумению договориться друг с другом

---

* Не путать с людьми умственного труда (интеллектуалами).

и остальным малопочтенным особенностям ведущих и основных слоев населения.

Сто восемьдесят миллионов выделили только горстку героев, наполовину юношей и подростков.

IV. Где же были люди доброй воли, существовали ли они вообще? Конечно, существовали, но в потенциальном, а многие даже в эмбриональном состоянии. Их развитию помешали интеллигенция и содержащаяся на чьи-то подозрительные средства левая печать. Поэтому в дни критических испытаний люди доброй воли не знали, что им делать, в их головах был розовый или красноватый туман. Тем временем решительные дни уходили, петля затягивалась, расползались слухи и страхи... «Жизнь кончалась тихим писком». Элита народа, который привык считать себя великим, вела себя подло, трусливо, глупо.

На вагонке в нашем вечернем «клубе» мы детально обсуждали все сословия, слои, известные нам факты... и подытоживая, приходили к одному и тому же выводу: виноваты во всем люди доброй воли. Коммунистический путч подавили бы в двадцать четыре часа, если бы ответственные за судьбы страны были в своем разуме и силе. Столичный гарнизон сразу сказал бы свое слово и не занял бы стороннюю позицию, не принимая участия в коммунистическом заговоре и не желая также заступаться за Керенского, как будто дело было в нем, а не в свободе, которую он крайне неудачно, но все же выражал.

В наших беседах касались мы и отдельных примеров под углом действенного и полноценного поведения людей доброй воли.

Дочь генерала, дворянка, окончившая Смольный институт благородных девиц, коммунистка Коллонтай запросто едет в Кронштадт, собирает митинги на кораблях, произносит речи, призывает уничтожить офицеров. После ее отъезда начинается охота за ними и мучительные убийства. Таковые факты. Но как могла такая партийная барынька проникнуть в военную крепость, в стоянку военного флота во время войны с немцами? Значит, кто-то ее привез, пропустил, подготовил митинги, подогрел настроение, позволил заниматься явным предательством, и кто-то всему этому не помешал, хотя

нельзя было не понять, что открыто и нагло совершается черная измена, нужная готовому на все врагу.

Люди доброй воли обязаны были хорошо подумать, понять свою ответственность перед народом и прихлопнуть одним ударом мятежников, отдав преступников под военно-полевой суд за путч, произведенный Лениным летом 1917 года.

Часто обвиняли евреев. Но что могла сделать горстка этих людей, говоривших часто с акцентом по-русски, не всегда достаточно образованных, слабо разбиравшихся в российских делах, если бы их не поддерживали, не внимали им как оракулам, разинув рты. Те, кто был уверен в своей силе и крепости, обязаны были им сказать: «Помогите покончить распри миром».

Организация Ленина после победы сумела скрутить страну только потому, что специалисты всех областей жизни бросились ей прислуживать. Три-четыре месяца общего саботажа взорвали бы власть захватчиков более действенно, чем гражданская война. Коммунисты умели в то время только одно: наладить и запустить машину террора. Одних она уничтожила сразу, других заставила бесплатно гнуть спину. Последние сдались без сопротивления, выполняли затем все от них требуемое и явились истинными и окончательными виновниками того, что этот режим закрепился. А так как среди них было большое число людей доброй воли, то именно они несут ответственность за все последующие ужасы...

Вредоносный слой

Познакомившись на своей шкуре с последствиями катастрофы 1917 года, я занялся, естественно, установлением ее вершителей. Инженеры и техники моего поколения оказались потрясающе невежественными. Никто из нас не читал ни «Вехи», ни хоть одну из многочисленных книг и статей на эту тему. Зато было много фактических наблюдений, бесед со старшими товарищами по несчастью, еще не изъятых русских художественных произведений, чтобы установить и описать признаки российской интеллигенции, столкнувшей, как мне тогда казалось, страну в пропасть *.

* В 1904 году Ян Михайский (А. Вольский) выпустил книгу «Умственный рабочий», в которой рекомендовал не связываться с интеллигенцией и не слушать ее призывов. Его идеи были осуждены революционными кругами и получили название «махаевщины».

Интеллигенция формировалась в течение более пятидесяти лет (1860-1917)* и состояла преимущественно из столичных и городских людей, немалое число которых подверглось безбожному перерождению, идейной порче и обладало следующими свойствами, качествами и признаками:

— поверхностной образованностью недоучек или, чаще, полуобразованностью студентов и других учащихся;

— как правило, отсутствием профессий, полезных и нужных для жизни страны, и вследствие этого — оторванностью от народа;

— в компенсацию за свою жизненную никчемность бойкими перьями, здоровыми глотками, способностью к любым обманам и грязной клевете на прекрасных людей, ответственно выполнявших свое нелегкое служение обществу;

— паразитическим образом жизни. Они обвиняли в этом ответственную и жизненно творческую часть населения, хотя сами жили за счет народа, организуя экспроприации, вымогательства, пожертвования;

— фанатичной верой или слепой уверенностью в торжество некоторых безжизненных схем, противоречащих нормальному развитию общества, сущности человека и законам природы, что как раз свидетельствовало о преобладании у них веры над разумом;

— отрицанием Бога и христианской морали. Тем самым они были носителями абсолютного аморализма и поэтому соглашались с террористическими методами подавления врагов и удержания власти;

— наглостью. Они считали себя выразителями чаяний народа, хотя имели с ним мало общего**;

---

* В 1861 году была проведена отмена крепостного права, и в царствование Александра Второго начались всеобъемлющие реформы, что вызвало, как это ни чудовищно звучит, ненависть интеллигенции. Для нее самым важным были не улучшения в жизни народа, а свержение царя.

** Это одно из самых отвратительных качеств — насильственным путем навязывать народу то, что казалось верным фанатикам-интеллигентам. Они утверждали, например, что свобода народу не требуется, так как это барские выдумки; крестьяне будто бы любят навязанную им общину, тогда как те от нее рады были избавиться и перейти на отрубное (фермерское) хозяйство. Они несли и прочий вздор, скажем, о том, что 180 миллионов обязаны сами себя принести в жертву «мировой революции»...

— умением разжигать низменные инстинкты и тем самым стадиально уничтожать руками обманутых всех, кто был для них неугодным и опасным. При этом они обещали приманку, а за пазухой держали отточенный топор террора;

— патологической жаждой власти любой ценой и любыми средствами, не останавливаясь перед истреблением миллионов. Полным презрением к крестьянам и другим сословиям.

В полном объеме всеми перечисленными качествами обладают российские коммунисты эпохи захвата ими власти, и в первую очередь их лидеры. Они были наиболее оголтелым и кровожадным крылом интеллигентов. Руководство остальных революционных партий могли составлять люди не столь крайних взглядов, не лишенные идеализма и человеколюбия. Однако было бы несправедливо взвалить всю ответственность на одних коммунистов. Интеллигентское нутро руководства всех революционных партий приводило к ряду недопустимых действий и создавало условия для крушения страны. Когда Ленина привезли в запломбированном вагоне, всем было известно, что своей предательской деятельностью он разрушал русскую армию, разваливал фронт, а в июле 1917 года поднял восстание в столице. Вместо того чтобы поступить с ним и его сообщниками как с изменниками, руководство социалистов и других революционных партий, сплошь составленное из интеллигентов, считало недопустимым арест этой шайки. Проявившие экстремизм большевики (коммунисты) не переставали оставаться для них революционной партией. Такая оценка не была ошибочной и случайной, поскольку эсеры сами занимались индивидуальным террором. Коммунисты, эсеры и анархисты проводили во множестве случаев экспроприацию частной собственности. Позднее левые эсеры сочли возможным образовать с коммунистами коалиционное правительство. Таким образом, российская интеллигенция, хотя отдельные ее представители и были прекрасными людьми, привела страну к поражению, анархии, хаосу, террору коммунистов и должна нести за все это полную ответственность.

Не следовало вторгаться в область, в которой никто из них ничего не смыслил, опыта не имел и не желал его набраться. Не надо было всеми средствами, да еще

в период войны, свергать законную традиционную власть в стране и совершать массу низких дел.

Часто делают упор на жертвенность и искренность интеллигентов, якобы образовавших некое подобие ордена бескорыстных борцов с самодержавием, забывая о том, к чему это привело.

— Хорошими качествами общественных деятелей следует считать те, от которых становится лучше рядовым труженикам. В данном случае результаты были настолько ужасны, что снимают саму постановку вопроса.

— Прежде чем проявлять свои замечательные свойства, следовало спросить простых людей и рядовых тружеников, согласны ли они с принятыми без их участия решениями. Уверен, что, если бы такие жертвенные господа осмелились и сумели объявить рабочим, а особенно крестьянам, что их ожидает после реализации таких благодетельных идей, — их тут же подняли бы на вилы.

— Семеро безответственных молодых людей убивают царя* — освободителя и крупного реформатора, — у которого лежала на подпись конституция Российского государства, а затем смеют уверять и убеждать всех, что это отвратительное преступление — подвиг во имя избавления народа от угнетения. Утверждаю, что, если бы они рассказали о своих планах, своем злодеянии в любой деревне, на любой фабрике, их тут же разорвали бы на части.

— Идея, ради которой люди идут добровольно на смерть, считается крайне важной и неоспоримой, и с этим нельзя не согласиться. Заблуждения гаснут, как залитая огнем головешка, а верная идея живет в веках. Ради чего же убивали достойных государственных деятелей? Чем оправдан столь ужасный способ доказательства своей правоты? Теперь, в семидесятые годы XX века, программы революционных партий начала столетия представляют лишь исторический интерес и не имеют никакого практического значения. Но две их наиболее отвратительные особенности — терроризм и безбожие, — нашедшие явное или скрытое отражение в этих документах, их пережили. Именно они погубили все хорошие замыслы революционеров, которые те вклады-

* Речь идет об убийстве императора Александра II в 1881 году так называемыми народниками.

вали в свою деятельность. В свое время им надо было понять простую и ясную мысль: если предлагаемое не нравится, вызывает сопротивление и для его осуществления требуется принуждение вплоть до террора, то это — не идея, а вздор. Значит, вкрались ошибки, непогрешимая «теория» — груда мусора, надо честно признать свой провал и начать с изучения своих критиков.

Российская интеллигенция не только создала все революционные партии и направляла их деятельность, но также формировала взгляды многих рядовых людей, не только мелких интеллигентов, но и простых тружеников. Последнее обстоятельство особенно омрачительно, ибо таким путем порча проникала в глубь населения.

Часто приходилось слышать, что российская интеллигенция была почти полностью уничтожена в коммунистической мясорубке. В те годы даже говорили: «За что боролась, на то и напоролась». Но худшие ее качества через партийных представителей удалось передать вновь формируемой ими интеллигенции. Новая смена отличалась по-прежнему безбожием и поголовно соглашалась с необходимостью применения террора. Положительные качества старой интеллигенции не смогли быть переданы по наследству, и потому трудно себе представить более отвратительных типов. Они оправдывали и старательно «обосновывали» любое преступление деспота и его сатрапов, из кожи лезли, выполняя очередные приказы партийной верхушки, старательно помогали чекистам и губили массу населения своими доносами, разоблачениями, клеветой.

Во время коллективизации, то есть в самые ужасные годы в истории России, они занимались наглым враньем, расписывали сказочные условия, в которые попали вновь сформированные крепостные-рабы. Под их славословие «великого, горячо любимого, родного Сталина» были отправлены на тот свет миллионы.

«Оно будет поражать тебя в голову»

В настоящее время психическая неполноценность Ленина не вызывает сомнений. Только в больном мозгу могли возникать дикие аномалии, которые соединяли взаимоисключающие понятия, такие как «демократический централизм», «демократическая диктатура», «террор как метод убеждения» и т. п. На его высказывания

ссылаться нельзя, так как каждое свое утверждение в другом месте он же опровергает. Вероятно, это проистекало из его абсолютной аморальности, уничтожившей для него возможность различать добро и зло, а заодно и другие противоположности. Но зато по той же причине он применял любые самые страшные средства и обладал огромной волей — в этом была его сила.

Впрочем, современникам не требовалось дожидаться вскрытия черепа диктатора, после того как он год перед смертью находился в состоянии безумия. Его действия говорили сами за себя.

— Невзирая на ураган ужасных преступлений, обрушенных на все слои населения, еще ни один строй не вызывал у очевидцев стольких издевок и насмешек, когда невежественные фанатики и глупцы ломали, корежили и уродовали жизнь, разрушая необходимые связи и отношения.

Один старичок профессор в самые первые годы разрухи и голода частенько повторял:

— «И сказал Господь Бог змию: за то, что сделал это, проклят ты...; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»*. Под «оно» подразумевался слой умных людей.

Ленинские нормы, то есть разрушение демократических свобод, которые вождь пролетариата презрительно называл «буржуазными», привели к тому, что действительно антинародная диктатура, рядящаяся в одежду коммунизма, в первую очередь уничтожает носителей разума, понимающих ложь и глупость этой системы, ибо она предчувствует свою гибель под натиском светлых идей. Двухсотмиллионное население оставило всего несколько произведений о наиболее трагичной полувековой эпохе огромной страны после разрухи: коллективизация, закабалившая крестьян, огромные жертвы молоху индустриализации, чистки тридцатых годов, вторая мировая война, приведшая к зениту сталинской деспотии... а в итоге — до читателей дошли только «Хождение по мукам», «Тихий Дон», «Капитальный ремонт», «Дни Турбиных», «Конармия»... Почти все стóящие книги безжалостно истреблялись чекистами. Многое не увидело свет, вследствие того, что сами авторы были уничтожены или преследовались. Кроме того, часто портили

* Быт. 3: 14, 15.

свои произведения те, кто стремился приспособиться и стать советскими писателями. Памятник советской системе — горы хлама: написанная по заказу халтура и бездарная стряпня.

Только за последнее время, благодаря «самиздату», появилась надежда, что увидят свет уцелевшие произведения, хранившиеся долгое время под спудом. Только благодаря подпольному распространению рукописей, напечатанных почти всегда на машинке, в стране знают опального Нобелевского лауреата Солженицына*.

Подарок крестьянам

В 1921 году страна была на грани поголовного крестьянского восстания и полного паралича хозяйства, вследствие «гениального водительства и руководства» Ленина. Крестьянство — главный враг и могильщик коммунистических диктаторов. Ленин украл у эсеров в семнадцатом году их земельную программу, а в восемнадцатом отменил ее декретом, отобрал землю в пользу государства и приступил немедленно к ограблению деревни продразверсткой. В стране был голод, грозные эпидемии. Ленин ни за что не расстался бы с чудовищной эксплуатацией населения, названной им «военным коммунизмом», если бы не перспектива быть растерзанным крестьянами. Коммунизм этого рода был ему крайне удобен, так как разрешал сосредоточить в его руках абсолютную власть над населением и давал возможность выкачивать средства для достижения мировой революции. Внутри страны Ленина поддерживала чернь, подонки общества и часть темных, обманутых им людей. Вне страны он рассчитывал на немедленную «мировую революцию», но пролетариат капиталистически развитых стран подвел гениального стратега: социал-демократы и рабочие смеялись над его бреднями. Поэтому пришлось пойти на уступки и перейти к «новой экономической политике» (нэп), как говорил Ленин, «всерьез и надолго», что в переводе с его лживого языка означало до первого удобного случая. Стране дали вздохнуть: деревню перестали открыто грабить продразверсткой, с крестьян стали взимать только налог, и теперь у них оставалось достаточно для собственных нужд. Но ум Ленина на этом не успокоился, и хищный дема-

* Так было в 1973 году, когда вышла в свет эта книга. *(Прим. ред.)*

гог решил закабалить деревню через сельскохозяйственные кооперативы. Для этой цели он продолжал натравливать крестьян друг на друга. План, созданный Лениным, проводил в жизнь Сталин, достойный его ученик, тоже гений, но еще более великий и разносторонний. К 1929 году он решил с «отступлением» покончить и начал проводить ликвидацию «кулачества как класса на основе сплошной коллективизации». Это означало превращение крестьян в рабов сталинской деспотии, уничтожение всех непокорных и несогласных и образование готовых на любой труд орд людей, которых бросали в прорву индустриализации. Все стало возможным вследствие непрекращающейся работы машины террора, позволившей изъять активных, смелых, способных к протесту людей, уничтожить духовенство и через щупальца коммунистической агентуры изнутри непрерывно разлагать деревню.

Эстафета ненависти

Борьба с религией развернулась при Ленине и все усиливалась.

В двадцатые годы церковников, то есть активных приверженцев Церкви, вызывали в Губчека* и вечером расстреливали под шум заведенных моторов; священников в глухих местах убивали толпами из пулемета; над монахинями творили непрерывные издевательства. Рядовой верующий был мишенью травли, доносов и внесудебной расправы...

Те, кто попал ранее в Церковь ради карьеры, организовали подчиненную чекистам «живую церковь». Высшая инстанция — местоблюститель митрополит Сергий забыл о своем высоком церковном сане и подписывал позорные обращения.

Русская Церковь фактически прекратила свое существование. Подлинное духовенство было уничтожено.

О таком опустошении не помышляли даже татары, совершавшие набеги на Древнюю Русь. Истинная Церковь ушла с поверхности вглубь. Удивительно правильно на Западе называют ее катакомбной. Монахини и монахи разогнанных монастырей и священнослужители, лишенные приходов, стали центрами этой подпольной

* Губернское отделение чрезвычайной комиссии (Чека) по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и т. д. Чека была организована 25 декабря 1917 года Лениным.

православной веры. Этот слой людей, подвергшихся жесточайшим гонениям и глумлению, был широко представлен в лагерях. Из 1600 церквей, соборов, часовен в Москве сейчас действуют 36, сотни полторы уцелели, но существуют в разгромленном виде, все остальные снесены; монастыри закрыты, и большая часть их зданий уничтожена или приведена в негодность.

Завещание Ленина — применять террор как метод убеждения — старательно выполнялось его наследниками.

В условиях, когда у населения отрезаны все пути, а жизнь не прекращается и требует продолжения, террор явился той бесчеловечной плетью, которой надсмотрщик-рабовладелец заставляет свои жертвы выполнять требуемые повинности, работы, навязывает ему слова и мысли. Но по принуждению все делается без любви, лишь бы поскорей отвязаться. Отсюда и позорные итоги за пятьдесят с лишним лет;

— до 1917 года страна была житницей, теперь она ввозит хлеб. Повсеместны периодический голод, бесконечная жизнь впроголодь, вечные недостачи даже в самые благополучные периоды;

— вывозится почти одно сырье, как будто живут при Василии Темном;

— из-за низкого качества почти никто не покупает советских машин. Дошло до того, что строительство автомобильных заводов отдают на концессию Италии, уровень промышленности которой в начале века был ниже, чем в России;

— но зато успешно разрабатывается оружие массового уничтожения людей: атомно-водородные бомбы, ракеты... На их создание направлено все внимание. Жесткий контроль, с одной стороны, поощрения и подачки, с другой — способствуют успеху. К тому же и в тоталитарном режиме есть люди, любящие свое дело и специальность. Они отдают все силы и не задумываются над принудительной природой данного общества, являясь штрейкбрехерами на фоне общего скрытого протеста. Однако, в оплату, по горькой иронии, терроризм, эта квинтэссенция злого начала, часто обрушивает на них подозрительность, конъюктурные обвинения и сводит с ними счеты. Поэтому за полувековую историю этой страны, где терроризм прочно заложен в основу управления и служит главным средством воздействия,

не раз разыгрывалась трагедия людей, отдавших стране все силы своего таланта и получивших пулю в затылок.

О тех, кто пока еще может обойтись без частицы «бы»

Прошлое иногда повторяется, по крайней мере, в каких-то внешних проявлениях. Роли меняются. Место России, не подготовленной к натиску адских сил в начале двадцатого века, занял Запад. В 1917 году, когда сокрушена была Россия, Запад легко мог ей помочь. Но он поступил наоборот, и это было началом общей катастрофы. Продолжением послужили ошибки, допущенные во время второй мировой войны. В настоящее время Запад балансирует на грани крушения. Так же, как у России тех лет, у Запада нет органических дефектов: экономика здоровая, необходимые реформы производятся, в его недрах таятся колоссальные творческие возможности.

От людей доброй воли на Западе зависит серьезно обсудить создавшееся положение, привлечь специалистов, взять на вооружение сильные позитивные идеи, с умением и напором начать их энергично осуществлять.

В этой книге не раз приходилось возвращаться к оценке прошлых событий, думать о необходимых в тех условиях действиях. Не раз приходилось начинать фразу с «бы», «если бы», «следовало бы». Хочется после того, как совершена уйма ошибок, не повторять их в настоящем и будущем. У Запада еще есть эта возможность — пока не поздно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Повествуя о прошлом, я стремился к возможно большей точности передачи, тщательно отцеживая все сомнительное и недостоверное. В каждом новом лагере я стремился сразу узнать все опасное, скверное, угрожающее.

Когда я попал на Запад, в новый для меня мир, моя душа раскрылась для восприятия свободы, и я хочу поделиться с читателем моими самыми первыми впечатлениями.

В феврале 1972 года случилось невероятное: мы с женой приехали в центр христинского мира — в Рим. Я воспринимал поначалу Италию только зрительно, не зная языка этой страны. Одновременно, как изголодавшийся путник, я набросился на изданные за границей русские книги и журналы. С подсоветским «самиздатом» я познакомился именно на Западе, так как мнение о его широком распространении в Советском Союзе сильно преувеличено. Новые друзья и знакомые, владевшие русским или французским, были носителями изысканной европейской культуры и вызывали в нас глубокое уважение.

Но главной достопримечательностью Рима, особенно в первое время, были для нас рядовые итальянцы и их быт. Не тянуло даже к храмам, музеям, древностям — хотелось просто ходить по улицам. Каждая лавочка воспринималась как произведение искусства: перед нами возникал маленький Лувр. Я подолгу останавливался у витрин и, насколько позволяло приличие, рассматривал внутреннее убранство маленьких магазинов, харчевен, табачных киосков. Сколько любви, стараний, размышлений вложили в них владельцы! Наверное, среди ночи просыпается хозяин и думает: «Надо бы эту баночку переставить, так будет красивее, привлекательнее» — и становится его заведение, как игрушка, ласкает взор.

Итальянцы очень милы, вежливы, рады помочь. Никого из нас — приехавших россиян, неловких, не знающих языка и обычаев, не обругали, не оговорили. Когда мы обращались, как дикари, с расспросами, они терпеливо вникали, старались помочь, объяснить. При этом мы чувствовали радушие, видели улыбки. Один из новых

юных эмигрантов, приехавший до нас, по неумелости жить самостоятельно, не смог в первый месяц распорядиться выданным ему пособием и остался без денег. Хозяин траттории, где обедал раз в день мальчик, увидев, как он заказывает воробьиные порции, оказал ему кредит и не взял с него впоследствии денег, сказав: «Господь с тобой, я вижу, что ты бедняк». У этого же юноши разболелся зуб, и врач вылечил его бесплатно. Владелец траттории и врач отнеслись к ближнему в беде как повелел Спаситель.

Более двух месяцев прожили мы на окраине Рима в новом доме. Нам он показался прекрасным и благоустроенным. Все время нашего пребывания мы наблюдали за двумя солидными мастеровыми. По моим представлениям, лестница была отделана отлично и в ремонте не нуждалась. С трудом я понял, что к стенам подгонялись мраморные плитки у каждой ступеньки. В разное время дня рабочие совершали ювелирную кропотливую работу без перекура, столь распространенного на стройках и предприятиях в СССР; каждый вечер лестница была чисто вымыта. Я с уважением раскланивался с мастерами и с удовольствием высказал бы им свое восхищение, если бы владел их языком. Мне также хотелось пожать руку домовладельцу, тратящему немалые деньги на изящество сдаваемых помещений. Как высоки были культура труда и уровень жизни по сравнению с отечественными! Я понял, почему после всех разорений бывший Санкт-Петербург до сих пор пленяет дворцами, особняками с лепными украшениями. До 1917 года в нем трудились около сорока тысяч итальянцев, среди которых преобладали мастера по камню, лепке, отделке, а также резчики и скульпторы...

Мне не удалось побывать в Италии ни на одном крупном заводе, хотя как конструктору-механику хотелось. Но пробел этот был восполнен еще в СССР рассказами знакомых инженеров, побывших в командировке в городе Ставрополе, где итальянская фирма «Фиат» взяла на концессию постройку автомобильного завода. Ценную повесть можно было написать по их впечатлениям об итальянских инженерах и мастерах. Позорная советская система, построенная на полурабстве, давно отучила работать как на Западе, где свободные люди заинтересованы в заработке. В СССР были крики, обман, лозунги, обещания, а в результате — пришлось че-

рез пятьдесят лет пойти на поклон в страну, которая в начале века была в техническом отношении более отсталой, чем тогдашняя царская Россия.

Поразила меня также выправка карабинеров. В первые дни мне казалось, что ожили древнеримские легионеры, а их интеллектуальные лица заставляли думать, что форму надели на аспирантов и доцентов. Большую роль, несомненно, играет наследственность, но не следует преуменьшать роли воспитания и выучки.

В тридцать шестом году, по окончании института, мы с товарищами частенько посещали рестораны в центре Москвы. Это был пир во время чумы. В то время официанты оставляли мерзкое впечатление. Все они практически были сексотами, к тому же обсчитывали посетителей и особым образом вымогали чаевые, «унижающие достоинство советского человека», как явствовало из плакатов, висящих обычно на стенах. По рассказам московских завсегдатаев, я знал, что с тех пор положение еще ухудшилось.

В Риме друзья несколько раз приглашали нас в ресторан, и с особым интересом я рассматривал официантов. Передо мной были свободные люди — вежливые, общительные, веселые или сдержанные, но никак не заискивающие и не грубые. Вознаграждение за обслуживание было известно заранее и исчислялось процентом от стоимости обеда.

У моих друзей был постоянный шофер, но иногда по вечерам прибегали к помощи соседа. Они сумели в чем-то ему содействовать по окончании войны. С тех пор дела его давно поправились, но в память о прошлом он не отказывал этим людям в своей помощи. Несколько раз он заезжал за нами, был изысканно любезен, мил, внимателен. Передо мною был сеньор, хранивший в благодарность подобие вассальной верности своим уже пожилым благожелателям. Такие отношения могут связывать истинно свободных людей. В тот же год, в ноябре ночью, мы поехали поездом в Базель, где должны были сделать пересадку на Женеву. Спутник средних лет еще в купе объяснил мне, что вокзал до четырех утра заперт, и предложил довезти до Лозанны в своей машине, которую он оставил на ближайшей улице. Я не знал, прощаясь, как его благодарить, но понял, что он был одним из людей доброй воли и предложенные мною деньги его обязательно обидят.

Я мог свободно присутствовать на мессах, заходить в переполненные по воскресеньям церкви. В первый день Пасхи был на богослужении на площади у собора Святого Петра. День был яркий, солнечный, небо голубое. Тысячи верующих запрудили даже прилегающие улицы. Я стоял на помосте недалеко от Папы, рядом с хором мальчиков, монахов, монахинь. Детские голоса звенели, как серебряные колокольчики. Хороший мужской хор отличается силой и глубиной. К женскому хору я относился с некоторым предубеждением, так как в русской церкви уже более четырех десятилетий не слышал его классических участников. В эту Пасху я понял, что раньше мне не привелось слышать настоящего женского церковного пения. У меня захватило дух: казалось, что звучат голоса ангелов. Певчие разных стран были разных рас и наций. В первом ряду стояла небольшого роста вьетнамка или кореянка. Две рослые монахини выделялись строгой красотой и как бы вырезанными из дуба лицами. Возможно, то были испанки, ирландки, шведки, немки... Мне они напомнили кержацких и уральских раскольниц-староверок, истовых, сильных, уверенных, непоколебимых. Подле них была небольшая монахиня, скорей всего, индианка из Южной Америки, смахивающая на нашу бурятку; она пела с самозабвением и подъемом. В богослужении принимали участие священники разных континентов и оттенков кожи, подчеркивая международность и универсальность Церкви. На многих языках обратился Папа с приветствием к пастве, в том числе на украинском и русском. После службы начался благовест, и мне казалось, что Святой Петр гудел на весь Рим. У портала колонны стояли, судя по шапочкам, два африканских епископа. Я поцеловал благословившую меня руку и сохранил в сердце их милые, застенчивые улыбки.

На протяжении веков мечтали о братстве людей, о единении и дружбе народов, изобретали утопии и дошли до кровавых химер. В центре христианского мира, веками, мать-Церковь зовет своих сынов, указывает дорогу единения и любви, устраняет расовые конфликты. Девушки-американки подходят к чернокожим священникам под благословение: у разных рас один Бог. Когда вера в Бога одна, то, на основе выполнения воли Божьей, международные проблемы решаются гораздо проще.

В своих размышлениях я не раз считал, что запад-

ный мир в основных вопросах подобен арсеналу, от отдельных хранилищ которого утеряны ключи. О его прекрасном оружии, легко поддающемся модернизации, забыли, или интерес к нему пропал. Я воочию убедился в правильности своих предположений на площади Ватикана.

Современный западный мир представлялся мне водоемом со здоровыми, хорошими рыбами. Но там же плавают останки разложившихся, попавших туда из глубин океана чудовищ. Они выделяют бактерии, которые заражают мальков и рыбешку послабее. С берега все кажется простым и ясным: надо устранить рассадник отравы и очистить воду.

Можно уподобить Запад также проходческой клети, которую опускают для бурения в шахту. Клеть снабжена и оборудована всем необходимым и при этом во время работы висит на канате. В клети давно заметили, что злоумышленник подпиливает канат, но активных мер не принимают, успокаивая себя надеждой, что перепилить сталь не так просто; а если это и произойдет, то когда клеть уже опустится и обрыв каната не будет связан с катастрофой, а чреват лишь неприятными переживаниями, как при падении с небольшой высоты.

В Швейцарии, Бельгии, Франции у меня не было языкового барьера, и я охотно беседовал с рядовыми тружениками, пытаясь получить ответ на несколько контрольных вопросов. В большинстве случаев я восхищался ясностью мысли простых свободных людей Запада:

— они относились с отвращением к терроризму и осуждали его;

— прекрасно понимали, кто во Вьетнаме — жертва, а кто — агрессор, инспиратор и виновник непрерывных бедствий;

— выражали недовольство односторонним освещением событий в газетах;

— не приветствовали поведение некоторой части молодежи.

Впечатление было крайне отрадным. Как правило, суждения выносились с незамутненных позиций и незаметно сложились в сознании людей благодаря многовековой христианской культуре.

С интеллектуалами обстояло сложнее. Среда и окружение давили на них. Несколько либеральных газет создавали общественное мнение.

Одна из первых встреч под Парижем была у меня с первоклассным хирургом, шефом больницы. Рослый сильный француз с выразительным живым лицом, отброшенными назад волосами напоминал мне мушкетера Атоса. Вместо шпаги он владел ножом хирурга, но видно было, что в случае необходимости сумеет постоять за правое дело. Его жена и две очаровательные дочки радушно встретили нас в загородном доме с традиционным камином, где все было просто, уютно, удобно оборудовано. Когда во время обеда мы заговорили о Южном Вьетнаме, у него на все были заранее готовы ответы. Не так относится он к своим больным, мысленно задавая себе сотни вопросов даже в ходе уже заранее продуманной операции. По нашей просьбе он показал нам свою больницу и попутно сообщил некоторые сведения. Условия были райские. Я мысленно качал головой и смеялся: «Какой еще нужен коммунизм?!..» Контингент пациентов моего хирурга был из рядовых рабочих, лечение им было по карману, основные расходы оплачивала касса социального обеспечения. В Советском Союзе в таких больницах имеют право лечиться только члены правительства и ответственные чины.

Советский врач — бледное замученное существо, очень низко оплачиваемое. У него нет возможности оказать подлинную помощь, и он теряет квалификацию. Советская бесплатная медицина — издевательство над больным, насилие над врачом. Один врач в Москве часто повторял: «Лечиться даром — даром лечиться». Правда, в СССР, как и всюду, существуют и выручают идеалисты, но режим не содействует их появлению, и они не многочисленны.

С детских лет я усвоил, что во Франции прирост населения равен нулю. В центре Парижа я попал в католическую семью крупного инженера, у которого было восемь детей. Мальчики были все как на подбор — рослые, здоровые. Сестра — красавица. Семья — дружная, веселая, работящая. Это был необыкновенный мир, исчезнувший у нас, когда началась коллективизация. Даже в Москве, находящейся на более привилегированном положении, обычно в семье растет один ребенок. Русский народ вымирает. Большая семья всегда развивает дружелюбие, братство, отзывчивость. Глава семьи немедленно предложил нам провести у него лето в горах —

в большой семье не бывает тесно. Счастье иметь таких верных друзей.

Познакомился я с видным профессором, человеком высокой культуры. Он и его обаятельная жена всегда готовы протянуть руку помощи. Меня пленила независимость взглядов профессора, сформировавшихся в ходе объективного изучения вопросов, которых мы касались. Конечно, у него есть союзники и противники. Полагаю, что он рассмеялся бы, если бы ему заявили о необходимости подчинить свою работу постановлениям партии и правительства, как это предлагают советским ученым. А живет он, по сравнению с теми из них, кто не занимается изготовлением смертоносного оружия, — сказочно. Пробным камнем в нашей беседе был снова Вьетнам. От ряда французских интеллектуалов я не слышал, что свободный мир в опасности, что в Южный Вьетнам в 1972 году вошли агрессоры и повторилось вторжение фашистских полчищ Гудериана во Францию. Ханой и Вьетконг оправдывали, забывая, что южане много лет были подвержены актам террора, нападениям под покровом ночи, из-за угла. Ни разу не слышал я ссылок на атлантическую хартию и Декларацию прав человека. Приводимые мне доводы были поверхностны, неубедительны, и создавалось впечатление, что такое мнение разделяют для успокоения совести. На предложение помочь людям, отстаивающим свою свободу от коммунистического рабства, я не получал естественного отклика.

Такое странное умонастроение, по-видимому, следствие исторически сложившихся обстоятельств, но не представляет органически неизбежного состояния. В моем представлении, это сыпь, изобличающая ненормальность, нарушение нужного состояния сил. Это — проявление отказа людей доброй воли от своих прямых обязанностей и долга.

Люди доброй воли должны были бы издавать вполне беспристрастные, правдивые бюллетени и вестники, отлично обеспеченные всесторонней, неискаженной информацией. Они могли бы существовать параллельно с газетами различных партий, проводящих свою линию. Факты — это воздух интеллектуалов и всех деловых людей, и беспристрастное изложение даст им возможность без посторонней помощи составить мнение по главным вопросам современности.

Люди доброй воли предпочитают не вмешиваться.

Они молчат, когда здоровых людей в СССР подвергают заточению в психбольницы. В 1971 году в Мехико был международный съезд психиатров. Все участники конгресса были в курсе дела, и тем не менее эта жгучая проблема не была подвергнута обсуждению. Делегаты боялись обидеть советских коллег. О позорных расправах, совершаемых советскими заслуженными психиатрами — снежневскими, лунцами и другими, — должен знать каждый. Можно еще понять, что люди доброй воли не хотели на съезде вмешиваться во внутренние дела Советского Союза, но, приехав на родину, они в своих медицинских журналах должны были опубликовать свои возражения. На первых порах они могут навлечь на себя неприятности, но одновременно вырастут в глазах рядовых людей, вокруг них начнет складываться положительное общественное мнение. Пациенты скорей выберут того, кто категорически против любых злоупотреблений, чем пойдут к врачу, поддерживающему преступную практику. Подобным образом люди доброй воли в разных областях отвоюют любые из сданных ими без боя позиций.

Дружное сплочение людей доброй воли любых верований, наций, цвета кожи, партийности, образования, сословного и имущественного положения, действующих не насилием, а убеждением, сумеет дать отпор обнаглевшему злу, когда оно нападает первым. Движение людей доброй воли без больших потерь выиграет битву за человечество и его великое будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 78. [1] Из множества организованных массовых голодовок достаточно напомнить о двух самых крупных, охвативших всю страну. Первая возникла во время гражданской войны вследствие продразверстки, когда продотряды под метелку выгребали из деревень все зерно. Особенно известен голод в Поволжье в 1921—23 годах.

Вторая волна голода прокатилась по всей стране в 1931—33 годах. Особенно пострадала тогда Украина, где власти выкачали все запасы зерна во время хлебопоставок, а потом обрекли население на жуткую голодную смерть.

С. 99. [2] Не знаю точно, как историки исчисляют погибших на войне. Думаю, что используют реляции, приказы, официальные сводки. В отдельных случаях, наверное, прибегают к опросу участников или очевидцев, а также к мемуарам и дневникам... Архивных данных о заключенных в сталинских лагерях найдено не будет. Их тщательно уничтожили в самом центре управления всеми лагерями (ГУЛАГ — НКВД) в Москве во время периодических «чисток» и по специальным указаниям Сталина, прятавшего концы в воду. Уничтожены были и люди, с ними соприкасавшиеся и знавшие слишком много подробностей. Быть может, посчастливится обнаружить случайно уцелевшие списки одного из областных управлений НКВД или отделения ГУЛАГа и по ним экстраполировать общие цифры. Попытаются, вероятно, провести особую перепись в одной из областей страны, чтобы получить сведения об исчезнувших и частично уцелевших семьях.

Мы, современники и жертвы, не собирались дожидаться историков. Мы сами обязаны были иметь представление о размерах постигшего бедствия, и добывали сведения следующими методами:

— опросом чекистов-ежовцев, самих попавших в тюрьмы в 1939—41 годах;

— опросом заключенных на пересылках о среднем их числе на лагпунктах, о количестве лагпунктов и погибших. Совместными усилиями определяли общую убыль по лагерю;

— изучением сообщений заключенных, работавших в управлениях крупных лагерей;

— зрительными оценками многочисленности лагерей во время этапов.

Самым трудным было решить, какие из цифр наиболее верные, и здесь нам приходило на помощь обостренное шестое чувство восприятия чудовищной гибели. В значительной мере этого было достаточно для верной оценки столь занимавшего наши мысли гигантского уничтожения людей.

Уже на Западе я увидел карту, составленную Исааком Дон Левиным*. На ней нанесены 310 лагерных управлений, указаны 14 миллионов заключенных и средний процент ежегодной смертности, равный двенадцати. Составитель правильно поясняет, что не учел многих других мест заключения. Действительно, отсутствуют трудовые колонии, тюрьмы, камеры предварительного заключения, колонии для малолетних преступников. Я совершенно уверен, что будущие историки, внося коррективы и уточнения в цифры потерь по отдельным периодам, смогут лишь увеличить общее число уничтоженных, установленное нашим приблизительным методом.

А пока что следует считать, что число заключенных в 1939, 1940 и 1941 годах было около двадцати миллионов. С 1942 года в лагерях содержалось около 14 миллионов. Непрерывный поток заключенных пополнял их убыль.

Приводимая таблица дает приблизительное количество гражданского населения в СССР, погибшего насильственным путем.

годы	*причины гибели и количество погибших*
1. 1917-1921:	расстреляно, замучено, уморено голодом, погибло от эпидемий 6-12 миллионов человек;
2. 1922-1923:	умерло от голода в Поволжье и других местах 7,5-13 миллионов человек;
3. 1922-1928:	уничтожение остатков сословий, церковников и духовенства — 2-3 миллиона;
4. 1929-1933:	ликвидация так называемых кулаков; искусственно организованный голод — 16 миллионов человек;
5. 1934-1941:	(до начала войны): расстрелы в тюрьмах, массовые расстрелы в лагерях, уморены в лагерях, погибли от искусственно созданных эпидемий — 7 миллионов человек;
6. 1941-1942:	(с начала войны): истребление заключенных — уморены голодом при непосильной работе — 7,5 миллионов человек;
7. 1943-1945:	смерть в сталинских лагерях военных лет — 5 миллионов человек;

* Isaac Don Levine «Gulag» — Slavery, inc. 1951.

8. 1946—1953: смерть в сталинских лагерях мирного времени — 6 миллионов человек.

Всего 60 миллионов погибших (по нижнему пределу цифр, который для каждого раздела обоснован ниже).

В таблице не учтены мирные граждане, убитые во время войн этого периода, эмигранты и невозвращенцы. Цифры в разделах № 1, 2, 3 взяты из сведений осторожных очевидцев и современников; приводятся по нижним пределам их оценок «от и до». К разделу № 2 относятся и советские свидетельства. На процессы 54 священнослужителей в 1922 году в Москве обвинитель огласил цифру 12-13 миллионов человек, обреченных на голодную смерть. Тогда же была указана и общая цифра голодающих в 30 миллионов («Вестник РСХД» № 103, с. 125—126). Ограбление Церкви (изъятие у нее ценностей якобы для помощи голодающим) было политическим маневром Ленина. На самом деле он преследовал лишь следующие цели: сокрушить Церковь и поддержать свою агентуру за границей («Вестник РСХД» № 98, с. 54—57). До голодающих из этих средств дошли лишь выставленные напоказ крохи. Тем не менее я привожу нижний предел цифр в разделах № 1, 2, 3, чтобы иметь резерв на случай, если в действительности число заключенных в 1939—41 годах не достигало 20 миллионов, а было несколько меньше, а также если процент смертности в лагерях в разное время был несколько преувеличен.

В разделе № 4 приведено число крестьян, уничтоженных во имя «ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации». Официально сообщалось, что кулаков было 5 %. Я оставляю этот процент только для погибших и считаю его минимальным, так как хотя и не все кулаки были уничтожены, но зато по политическим соображениям и по причине сведения личных счетов было захвачено немалое количество подводимых к кулакам несогласных середняков. Таких погибших «подкулачников» было значительно больше, чем оставшихся в живых кулаков. Таким образом, если помножить процент кулаков на 180 (число миллионов тогдашнего населения СССР), мы получим цифру в 9 миллионов погибших кулаков и подкулачников ($0{,}05 \times 180 = 9$).

После ликвидации кулаков была произведена не менее чудовищная акция искусственного вымаривания крестьян в ряде областей. Особенно пострадали Украина, Казахстан, Кубань, Дон. На одной Украине погибло более 7 миллионов человек. К сожалению, мне не удалось установить потери в остальных местностях. Всего погибло 16 миллионов человек ($9+7=16$). Сюда входят и погибшие в местах заключения с 1929 по 1933 годы. Вышеуказанные соображения показывают, что приводимая цифра преуменьшена.

В разделе № 5 исходное число заключенных в лагерях в 1934 году было не менее миллиона человек. К 1941 году оно выросло до 20 миллионов.

Среднее арифметическое, таким образом, за эти годы составляет (1+20) : 2=10,5 миллионов. Ежегодная смертность в лагерях в мирное время за эти 8 лет была не ниже 12 %, следовательно, 10,5×0,12×8=10 миллионов. Однако население лагерей увеличивалось неравномерно; оно сильно возросло с 1937 года. Поэтому я даю цифру 7 миллионов погибших, снимая около 30 %.

Для исчисления погибших за первый год войны (раздел № 6) от переживших это ужасное время получены следующие сведения:

— в лагерях на основных общих работах в самые страшные зимние и весенние месяцы смертность была почти повальной (90-100 %);

— в тех же лагерях и на тех же работах, но за период с июля и до половины октября 1941 года смертность была еще нормальной (примерно 12 %). Поэтому средний процент смертности можно считать равным пятидесяти [(90+12) : 2=50]. А это означает, что умирал каждый второй;

— число заключенных на общих работах не менее двадцати миллионов. Следовательно, количество умерших равно шести миллионам (12×0,50=6);

— остальные 8 миллионов заключенных находились в тюрьмах, трудколониях, колониях для малолетних преступников, сельскохозяйственных лагпунктах («сельхозах»), инвалидных отделениях лагерей, на работах по специальности (мастерские, лагерные железные дороги и заводы), лагпунктах при центральных управлениях лагерей, в лагерях для бытовиков в черте городов, а также были лагерной обслугой. Их смертность за этот год я считаю равной 20 %, то есть умирал один из пяти. Отсюда убыль этих категорий заключенных равна 1,6 миллиона (8×0,20=1,6);

— общее число умерших за первый год войны — примерно семь с половиной миллионов (6+1,6=7,6). В эту цифру не входит все гражданское население, погибшее от голода, и все расстрелянные в этот год на фронте.

В разделе № 7 смертность за военные годы (1943-45) колебалась в разных лагерях от 12 % до 20 %, то есть умирал один из десяти или один из пяти. Если свести только к первой цифре всю убыль заключенных, то она составит пять миллионов (14×0,12×3=5).

За 8 последних лет (раздел № 8) средний процент смертности (12 %), установленный по данным И. Дон Левина, представляется немного завышенным. Его следует снизить примерно на 30 % и считать равным 8 %, то есть погибло 14×0,08×8=9 миллионов.

В приводимой таблице с 1934 по 1953 годы даны только цифры

погибших заключенных в лагерях и тюрьмах. Уничтожалось и другое мирное население, например, отступавшее вслед за немцами. Поэтому цифра 60 миллионов не завышена. Другие авторы на Западе приводят цифры в пределах 45-80 миллионов.

С.118. [3] Карательные функции обычно выполняли специальные части, называвшиеся войсками НКВД. С немцами они не сражались, а использовались для расправы над населением и солдатами.

С. 119. [4] Организация царской армии резко отличалась от сталинской. В царской армии не было:

— заградительных отрядов,

— разложения солдат внутренним осведомительством (за порядком наблюдал солдат в чине фельдфебеля);

— политотделов, «Смерша», политических партий. (Революционные партии разлагали ее изнутри, проникая в нее нелегально.)

Но были:

— получившие достаточное образование офицеры, которые, как правило, любили солдат, болели за них душой;

— военный суд из нескольких человек в каждой крупной армейской группе (с председателем и прокурором и с правом иметь правозаступника-офицера или штатского).

Таким образом, царская армия была армией нормального европейского типа.

С. 125. [5] Кроме Василия, трехлетний срок был еще у Бориса и Дика. В мастерскую принимали в первую очередь малосрочников, а вообще такой маленький срок был в те годы исключением. Подавляющее число остальных заключенных имело по десять лет, за ними шли восьмилетники, пятилетники и в небольшом количестве двадцатилетники, оставшиеся с 1938 года, когда такими сроками стали в отдельных случаях заменять расстрелы.

С. 135. [6] Летом 1942 года с фронтовой полосы начали привозить в лагеря головы и копыта убитых лошадей. Этим удалось как-то сократить катастрофическую убыль рабсилы, достигшую максимума весной этого года. Через полтора года подоспела американская продовольственная помощь, которая способствовала выживанию тех, кто был еще в состоянии поправиться, и многих новых заключенных.

С. 175. [7] Зимой 1941/42 года от этапа в сто человек через несколько месяцев оставалось два-три человека. Та же пропорция, и даже более убийственная, существовала для тех, кто был в изоляторе. За этот период ни я, ни мои товарищи не встретили ни одного «политического», вышедшего оттуда.

С. 180. [8] От одного заключенного нам стало известно, что еще в начале 1942 года два вольнонаемных лагерных врача проделали эксперимент. Они изолировали молодого парня «пеллагрозника» и начали откармливать сливочным маслом, медом, молоком из резервов оперчекотдела, так как врачиха, участвовавшая в эксперименте, была женой какого-то видного чекиста. Кажется, результаты оказались положительными. Парня как будто спасли, хотя решающее значение имела дозировка, и, не зная ее, легко можно было погубить человека.

[9] Последняя фаза болезни в столь антисанитарных условиях почему-то сопровождается бешеным размножением вшей, которые заживо грызут умирающего. В нашей больничке этого ужаса не было.

С. 185. [10] От моего нормального веса в 78 кг осталось 48 кг. Потеря в 30 кг составляет 38 %, что является полной катастрофой для организма. При лечебном голодании предел уменьшения веса 20-25 %. Восстановление его в лечебных условиях — не простая задача для любого больного, не говоря уже о пеллагрознике.

С. 246. [11] Вначале я избрал для опубликования этой работы один из наиболее известных технических журналов «Вестник машиностроения». Моя работа вряд ли была хуже статей, появляющихся в нем, и получила требуемую рекомендацию солидного профессора. Получив отказ, я его навестил. С гаденькой улыбкой профессор посоветовал мне взять в соавторы одного деятеля из его окружения и был удивлен, когда я, нарушив традицию, ответил, что меня не сумели ограбить даже на одиннадцати пересылках. Все редакции советских журналов захвачены людьми, тесно друг с другом связанными, и в их лавочку нелегко проникнуть. С большим трудом я пристроил статью в незаметном ведомственном журнальчике и впоследствии был даже рад, что она там затерялась.

С. 341. [12] За организацию «волынки» судили человек пять, за избиение стукачей — примерно столько же. С нашего этапа было отправлено человек двести штрафников. Из них человек тридцать получили шесть месяцев штрафного барака, остальных распихали по лагпунктам. Расстрелов не было. Бандеровцы в «волынке» участия не принимали, но за свое вызывающее поведение, протесты и несомненное участие в избиении стукачей подверглись куда более суровому наказанию: семьсот человек отправили в Джезказган, и долгое время их выводили на работу в кандалах. Но наказание не подействовало, и через несколько лет они оказались снова возмутителями.

СЛОВАРЬ

Некоторые блатные и жаргонные выражения

Бахилы — стеганые ватные чулки для заключенных.

Блатной, блатарь — общее название уголовных преступников (уголовников).

Бобочка — мужская сорочка.

Бутырки, Бутюр — Бутырская тюрьма.

Бычок — окурок.

Вагон, вагонка — нары, рассчитанные на четырех человек.

Вертухай — лагерный конвоир или часовой на лагерной вышке.

Вкалывать — усиленно работать.

Вор в законе — представитель преступного мира, промышляющий главным образом кражей. Обязан исполнять требования «воровского закона» и владеть блатным языком. Воры величают только себя людьми.

Вохра — вооруженная охрана лагеря.

Вохровец — см. *вертухай.*

Вышка — высшая мера наказания: расстрел.

Гады — чекисты, тюремщики, лагерное начальство.

Деревянный бушлат — гроб. *Надеть деревянный бушлат* — умереть; зарыть в лагерях в яму (без гроба).

Дрын — дубина, палка.

Друзья режима — блатари и бытовики.

Загнуться — умереть.

Заигранный — вор, не отдавший карточный долг. Принадлежит к сукам.

Закрытка — лагерная тюрьма.

Замастырить — сделать себе мастырку, прививку, заразить себя.

Заложить — выдать чекистам.

Зарядить туфту — удачно составить наряд, то есть описать работу с изрядным включением туфты (несделанной работы).

Засыпаться — попасться с поличным.

Зеленый прокурор — лес; освободит зеленый прокурор — убежим в лес.

Зона — огороженный колючей проволокой участок лагеря.

Кабинка — отгороженный в бараке угол, обычно на две койки.

Колеса — сапоги.

Командировка — отделение лагерного пункта (лагпункта).

Контрреволюционер, контрик, контра — осужденные по статье 58 (пункты 1—14); считались политическими врагами системы.

Кореш — друг по тюрьме и лагерю.

Котел — питание с кухни. Каждая группа заключенных получала предназначенный ей котел, например, первый котел.

Кровный костыль — па́йка хлеба, основа ежедневного лагерного питания.

Кум — чекист, следователь на лагпункте.

Курочить, раскурочивать — отнимать пожитки.

Лепила — лагерный фельдшер.

Лететь без па́йки — остаться без хлеба, лишить хлеба.

Линейка — центральная дорога на лагпункте, на которой строятся бригады на разводе.

Малосрочник — заключенный, которому осталось отбыть срок менее трех лет. Цифра условна: пяти-восьмилетники по сравнению с двадцатипятилетниками считаются тоже малосрочниками.

Морж — зимний купальщик в открытых водоемах при температуре воды в ноль градусов.

Маруха — любовница.

Мастырка — искусственное растравление глаз, горла, кожи до язв; нанесение себе ссадин.

Мужики — заключенные не из воров, очень привязанные к своему скарбу и не помышляющие о дружном отпоре.

На гражданке — на воле.

На крючке — в зависимости от кого-то, обычно вследствие шантажа.

Намордник — постоянный щит на окне тюрьмы.

Намек оглоблей — грубый намек.

Нарядчик — заключенный (придурок), выгоняющий других заключенных на работу.

Наседка — специальный стукач в следственной камере.

Обжимать — отнимать (главным образом, пищу).

Общие работы — работы с применением физического труда. Механизация почти отсутствует, существующие республиканские нормы убийственны.

Оказачить — отнять пожитки.

Оперативник — вохровец, занимающийся борьбой с побегами,

Оперативно-чекистский отдел — отдел при лагере из чекистов, насаждающий террор (то же, что оперчекотдел, третий отдел).
Оперуполномоченный, опер — чекист, следователь на лагпункте.
Органы — министерство внутренних дел или министерство государственной безопасности. Так их называют сами чекисты.
ОСО — «особое совещание». Внесудебные органы, выносящие приговор заключенным заглазно.
Отказчик — уклоняющийся от выхода на работу или больной, не получивший освобождения от санчасти.
Оттянуть — отругать, напугать.

Пайка — кусок хлеба, полагающийся для каждодневного пропитания заключенного.
Пахан — главарь воровской или бандитской шайки.
Пересылка — пересыльная тюрьма.
Повторник — рецидивист, отбывающий новый срок заключения.
Подначивать — дразнить, провоцировать.
Подкомандировка — см. *командировка.*
Половинить — отнять половину пожиток.
Права качать — добиваться восстановления справедливости.
Проигранный в карты — человек, которого должен убить вор, так как его проиграли (на него играли в карты).
Премвознаграждение — небольшая сумма денег, выдаваемая в виде премии раз в квартал (в три месяца).
Пришить — зарезать.
Продать — см. *заложить.*
Пропускник — обладатель пропуска на бесконвойное хождение за лагерной зоной.

Развод — вывод бригад заключенных из ворот на объекты.
Расколоться — признаться (колоться — признаваться).
Рвануть когти — убежать из заключения.
Раскурочивать — см. *курочить.*
Расписаться — разрезать кожу на животе.
Рацпредложение — рационализаторское предложение, нововведение по работе.
Режимная бригада — бригада для провинившихся заключенных.

Сактировать — освободить из заключения по состоянию здоровья; на осужденных по пятьдесят восьмой не распространялось.
Сделать — убить.
Сексот — сокращение от «секретный сотрудник». Тайный агент, провоцирующий высказывания и доносящий чекистам.
Сидоры поликарповичи — см. *мужики.*

«Смерш» — отдел, состоящий из чекистов в сталинской армии, созданный для борьбы со шпионами. Главная его функция — терроризировать солдат и офицеров.

Срок — количество лет, которые по приговору надлежит пробыть в заключении.

Стукач — см. *сексот.*

Сука, ссученный вор — вор, нарушивший воровской закон.

Толковище — разговоры, обсуждение.

Травить баланду — болтать.

Трехсотка — штрафная пайка в триста граммов хлеба.

«Тройка» — внесудебный орган, выносивший приговор противникам режима заглазно. В 1937 году тройки работали по плану: 40 % приговаривали к расстрелу; 60 % — к десяти годам заключения.

Уголовник — мошенник, вор, грабитель, убийца, бандит.

Уркаган, уркач — бандит.

Урка — мелкий вор.

Формуляр — лагерное дело на каждого заключенного с его фотографией и особыми отметками.

Фраер — любой заключенный, не принадлежащий к ворам.

Фраера злые — заключенные, дающие слаженный отпор блатарям.

Хáвать — есть.

Чекист — работник органов, то же самое, что гебист.

Шарашка, шарага — конструкторское бюро в тюрьме, в котором работали заключенные-специалисты.

Шкары — брюки.

Шмон — обыск.

Штатное расписание — заранее регламентированное ограниченное число людей умственного труда на каждом объекте работы.

Этап — партия заключенных, отправляемых до места назначения.

СОДЕРЖАНИЕ

ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАНИН

ЛУБЯНКА — ЭКИБАСТУЗ

Лагерные записки

Редактор
Н. Солнцева
Оформление художника
В. Медведева
Художественный редактор
А. Томилин
Корректоры
С. Михайлина, А. Муравьева
Технический редактор
И. Павлова

Сдано в набор 10.07.90. Подписано к печати 4.01.91. Формат 84×108 1/32. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 21,1. Уч.-изд. л. 20,8. Тираж 100 000 экз. Заказ № 628 Цена 10 р. 20 к.
Общество с ограниченной ответственностью «Скифы»
121069, Москва, ул. Воровского, 52

Владимирская типография Госкомпечати СССР
600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 7

Выходят в свет десять выпусков о похождениях знаменитого русского сыщика «Гений русского сыска И. Д. Путилин. Рассказы о его похождениях». Иван Дмитриевич Путилин был начальником С.-Петербургской сыскной полиции. Рассказы о раскрытых им уголовных преступлениях написаны известным русским писателем Романом Лукичом Антроповым (Романом Добрым) со слов доктора Z., друга И. Д. Путилина и участника его розысков. В русском обществе считалось, что эти детективные истории не уступали, а во многом и превосходили те, героями которых был Шерлок Холмс.

Вниманию читателей предложены следующие выпуски:

Квазимодо церкви Спаса на Сенной
Гроб с двойным дном
Белые голуби и сизые горлицы
Огненный крест
Ритуальное убийство девочки
Одиннадцать трупов без головы
Петербургские вампиры-кровопийцы
Тайны Охтенского кладбища
Калиостро XIX века
Отравление миллионерши-наследницы

Вышла в свет книга Н. А. Соколова **«Убийство Царской Семьи».**

Шестьдесят пять лет шла она к русскому читателю.

Документы судебного следствия об убийстве русского Государя и членов его семьи, собранные судебным следователем по особо важным делам омского окружного суда Николаем Алексеевичем Соколовым, дают возможность узнать правду о событиях, происшедших в ночь на семнадцатое июля 1918 года в Екатеринбурге.

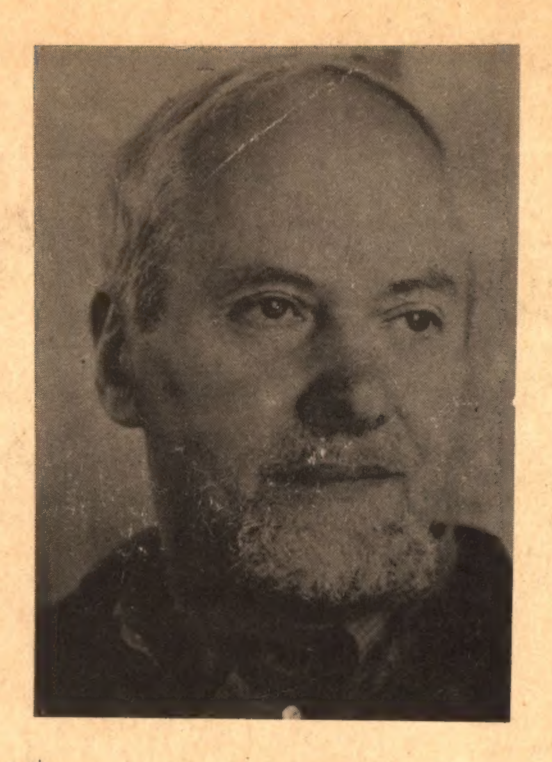
Убийство Царской Семьи было задумано не в Екатеринбурге, а в Москве — к такому выводу после долгих лет исследовательской работы пришел Н. А. Соколов.

Вашего ребенка подстерегает опасность: встреча с насильником, вором, убийцей, просто скверным человеком. Книга детского писателя Владимира Волкова **«ДВЕ БЕДЫ»** — это попытка в игровой, занимательной форме предотвратить трагедию, познакомить Вашего ребенка с типичными ситуациями, в которых он лицом к лицу может столкнуться с преступником.

Книга богато иллюстрирована.

«ДВЕ БЕДЫ» — первое в СССР издание такого рода.

10 р. 20 к.



Дмитрий Панин — потомок древнего дворянского рода, христианский философ, инженер, писатель. Его книги — это исследования об энергетических ресурсах вселенной и размышления о гибели Святой Руси, о Царстве Божием на земле.

В своем отечестве Дмитрий Панин пережил великие трагедии: арест, шестнадцать лет в тюрьмах и лагерях.

«Лубянка — Экибастуз» — феномен русской литературы, равный «Запискам из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. В семидесятые годы книга была издана в Западной Европе и США.

В настоящее издание включены не публиковавшиеся ранее главки, внесены текстологические коррективы.

